

МИШИ
БАХШИЕВ

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ



Светлой памяти Асаила
Бинаева — верного сына
Ленинской партии
— посвящаю.

АВТОР

**МИШИ
БАХШИЕВ**

**У С Т Е Н
НАРЫН-КАЛЫ
ИЗБРАННОЕ**



*Дагестанское
книжное издательство
Махачкала 2009*

ББК 84 (2-Тат) 444
УДК 8 21 351

Бахшиев М.

Б-30 У стен Нарын-калы: Сборник прозы. / Перевод с татского яз. – Махачкала: ГУ «Дагестанское книжное издательство», 2009. – 416.

В юбилейную книгу одного из основоположников татской литературы Миши Бахшиева вошли известный исторический роман «У стен Нарын-калы», рассказы и фронтовые воспоминания.

Б 4702570100 – 200 без объявлен.
М123 – 09

ISBN 978-5-297-01-4985

© Бахшиев М., 2009
© Дагестанское книжное
издательство, 2009

**У СТЕН
НАРЫН-КАЛЫ**
РОМАН



Глава первая

СВАДЕБНЫЙ ВЕЧЕР

Небольшой каменный дом утопал в зелени. Двор напоминал фруктовый сад. Посмотрев на деревья, пригнувшиеся под тяжестью плодов, Азиз вспомнил народную поговорку: «Тополь смотрит вверх, а яблоня вниз». Вот и сейчас она пришла ему на ум. «Да, это так, — думал старик, теребя длинную седую бороду, — ведь у тополя ветви легкие, на них нет плодов...» Азиз прошелся по двору, взглянул на горы, возвышающиеся над Дербентом, на чистое ярко-голубое небо и, подойдя к веранде, с восхищением произнес:

— До чего хороша у нас осень! Не правда ли, Баджи?

Баджи, старая женщина в темном просторном платье и синем шелковом платке-калагае, сидела на полу веранды, подле очага, и месила тесто. Оторвавшись от своего занятия, она выпрямилась и вскинула на мужа глаза. Высокий, сухопарый Азиз стоял у веранды. За спиной его зеленела виноградная листва, образуя тенистую беседку.

— Ай, Азиз, Азиз, — с укоризной проговорила старуха, — о чем ты поешь? Чем восторгаешься на старости лет?

— Ну и бестолковая же ты, джан Баджи. Такой простой вещи не можешь понять. Гляжу я на гроздья винограда, на красные гранаты, на наш сад. Во-он на те зеленые склоны Джалгана и думаю: осенью Дербент лучше любого курорта.

— А ты бывал на курорте?

Азиз обиделся.

— Да чтоб отец твой в могиле перевернулся! Разве ты забыла, как мы вместе ездили в Каякент, на горячие воды?

— Где комары нас чуть не съели?

— Когда это было, — презрительно хмыкнул старик. — Теперь Каякент — настоящий курорт.

Старухе наскучило слушать мужа. Досадливо отмахнувшись от него, она вновь принялась за дело и, обращаясь к невестке, которая тут же на веранде прокручивала мясо через мясорубку, попросила:

— Хумор, дочка, подсучи мне рукава, мешают.

Азиз поднялся на веранду, сел за стол, поманил внучку, игравшую в саду, усадил к себе на колени и стал наблюдать за внуком. Шамай учил уроки на другом конце стола.

Косые лучи уходящего за горы солнца золотили желтеющие листья винограда и айвы. В этот тихий предвечерний час, когда спокойствие и радость разлиты повсюду, спокойно и радостно было и на душе старика. И он, играя с внучкой, запел старинную народную песню.

— Где твои глаза, девушка?

— Зачем тебе мои глаза?

Если ты видел виноградники,

Точно на них похожи мои глаза.

Старуха неодобрительно глянула на мужа.

— Ай, Азиз, ты просто неразумное дитя.

— Почему это?

— Не видишь, Шамай уроки учит, — в ее голосе все больше сквозило раздражение.

— Да простит меня Шамай, — шутливо поклонившись и приложив руку к сердцу, проговорил старик. Но все же смолк и, ласково поглядывая на внука, погрузился в размышления. «Быстро летит время, — думал он. — Кажется, совсем недавно родился Шамай, а вот уже и в школу пошел... Да, летит время, летит. И каждый прожитый день

— частичка жизни. Уходит жизнь, уходит. И не спрашивается у нас...»

Старик вздохнул. Ему вспомнился 1941 год. Проводы единственного сына Рахмана на фронт. Извещение, что пропал без вести. Лицо жены, исцарапанное, исполосованное струйками крови. Затем — неожиданное появление сына после того, как окончилась война. Свадьба, рождение внука. «А теперь, слава богу, сын уже сам отец. Закончил агрономическую школу, стал хорошим колхозным бригадиром. Недаром награжден орденом, избран партийным секретарем. И невестка, благодарение богу, всем удалась. Ученая, людей лечит».

Старик подошел к внуку, легонько тронул его за плечо и с оттенком торжественности произнес:

— Следуй примеру отца, Шамай. Учись. Понял? — и, отходя от Шама, снова запел все ту же песню.

— Азиз! Ты что, не слышишь, что тебе говорят! — вскипела Баджи. — Или ты окаменел?

Азиз рассмеялся легко и беззлобно. Он прижал к себе вздрогнувшую внучку и успокаивающе проговорил:

— Ничего, детка, не пугайся. Дедей Баджи простит нас. Пойдем на улицу поиграем...

— Я вижу, Азиз, — не без колкости заметила Баджи, — ты вздумал обмануть старость. Ведешь себя, как ребенок.

Хумор, которая продолжала молотить мясо, тыльной стороной ладони поправила прядь волос, выбившуюся из-под косынки и нависшую на глаза.

— Не черни понапрасну кровь, мама, отец шутит.

— Шутит! — все больше распалялась Баджи. — Мешает Шамаю уроки учить.

Шамай приподнял голову и серьезно посмотрел на бабушку:

Мне никто не мешает.

— Слышишь, Марал, — обрадовался старик, — все за нас. Одна бабушка против. Пойдем от нее.

Не успел Азиз скрыться в зелени сада, как старуха бросила ему вдогонку:

– Совсем извел меня. Чтоб бог извел его сестру!

Но Азиз этих слов уже не слышал. С внучкой на руках он шел междурядьями сада и, глядя на багряно-желтую листву, думал: «Как интересна жизнь растений! Цветут, идут в рост, украшают жизнь, желтеют, стареют, опадают. И снова уходят в землю. Так и человек – рождается, растет, украшает жизнь, создает себе подобных и умирает...»

– Дедушка, дай! – Марал протянула ручонку к спелой кисти винограда, нависшей над ее головой.

Азиз нагнулся, опустил ребенка наземь, выпрямился, сорвал виноградную гроздь и дал внучке:

– Ешь, детка. Ешь, милая.

Стукнула калитка. Навстречу шли несколько празднично одетых женщин. Впереди была молодая, черноглазая, в нарядном крепдешиновом платье, белом шелковом платке и лакированных туфлях. Замыкала шествие девочка лет восьми. В руках она несла маленький узелок. «Клянусь могилой отца, – подумал Азиз, – хундегу пришли звать на свадьбу. Начался месяц свадеб. Интересно, чей сегодня черед?»

– Добрый вечер, лелей Азиз, – весело и звонко проговорила черноглазая хундегу. – Холей Баджи дома?

– Дома, дома. Заходите, дай бог вам счастья. А чья свадьба?

– Пошли бог счастье и твоим детям... Твой старый друг Ханука, сын Офтума, выдает замуж внучку. Дай бог и тебе увидеть радость от внуков своих.

– Спасибо, спасибо. Поздравляю и желаю счастливой жизни. Заходите в дом, добро пожаловать!

Хундегу направились к веранде. Когда Баджи увидела их, она оставила работу, поправила калаган и, схватившись за бок, захохала.

О-о-о, стара я стала, стара, – и, искусственно улыбувшись, прибавила. – Добро пожаловать.

– Дай бог такого дня и твоим внукам, – нараспев проговорила черноглазая хундегу и, обращаясь к Хумор, сказала: – Дай бог и твоему Шамаю осчастливить родите-

лей женитьбой. А сегодня Гавид, дочь Ханука, друга твоего отца, приглашает вас всей семьей на свадьбу своей дочери.

— Желаю радости и счастья тебе, братьям твоим, племянникам твоим. Дай бог, чтобы и твои дети выросли и осчастливили тебя! — с той же торжественной распевностью проговорила Хумор и, помолчав, добавила. — Садитесь, девушки.

— Спасибо, недосуг. Надо еще многих известить.

Старуха пошла в комнату, вынесла пятирублевку, два яйца, несколько гранат и отдала девочке, что замыкала шествие.

— Приходите обязательно, — попросила старшая хундегу, — не то обидите Гавида.

— Если Рахман не задержится на собрании, обязательно придем, — пообещала Хумор.

— Успеете. Вы же знаете, наши дербентцы на свадьбы приходят поздно.

Ушли хундегу. Кончила прокручивать мясо Хумор. Кончила месить тесто Баджи. От плиты аппетитно потянуло тушеным луком.

— Бери мясо, бери лук, нарежай тесто, заворачивая дюшпере, — приказала старуха невестке. — Да поторапливайся. Надо успеть и детей покормить, и на свадьбу вовремя прийти.

— Может быть, мы вообще не пойдем. Ты же знаешь, Рахман недолюбливает свадьбы.

— Да. Рахман враждует с адатами, — досадливо поморщилась Баджи. — А что хорошего? На свадьбу не ходи. На обрезание не ходи. Пасху не справляй...

Невестке стало смешно, но она сдержалась.

— Что за дело Рахману до чужих обрезаний, мама? Он и своему сыну обрезания не делал.

Старуха вспылила.

— Оставь, пожалуйста, Хумор. Это только вы с мужем не признаете народных адатов. И живете по каким-то своим законам. Как будто во всем Дербенте одни вы хо-

рошие. Если вы партийные, так ребенку нельзя и обрезания сделать...

...Теперь уже Баджи невозможно было остановить. Она говорила без умолку. Хумор даже не пыталась перебивать ее, она знала — это бесполезно. Старуха ругала сына с невесткой не впервой. Хумор хорошо помнила, как разгорелся первый скандал между Баджи и Рахманом. Произошло это тогда, когда старуха попыталась сделать внуку обрезание. Тайком от сына она позвала раввина, собрала джамаат, приготовила угощение.

Рахман узнал обо всем этом в самую последнюю минуту от людей из своей бригады, приехавших рано поутру на виноградник. Не раздумывая, он вскочил в первую попавшуюся машину и помчался домой. Здесь уже было полно гостей. На столе лежал плачущий младенец, а раввин вынимал из кармана нож. Когда Рахман ворвался в комнату, раввин задавал традиционный вопрос:

— Кто отец ребенка?

— Я, — ответил Рахман, схватил мальчика, прижал к груди и, отведя глаза от раввина, глухо проговорил:

— Можете идти!

Баджи с криком набросилась на сына:

— Я из-за тебя все здоровье потеряла: недоедала, только бы досыта тебя накормить. Четыре года войны не видела ни дня, ни ночи, сутками не смыкала глаз. Молилась богу за тебя. И вот она, благодарность! За что? За что, я спрашиваю! Ведь я, как все матери, хочу своих детей счастливыми видеть.

— Разве в этом счастье, мама?

— Замолчи! Бог послал мне внука, и я хочу свершить все обряды, как того требует адат.

Рахман пытался урезонить мать:

— Я коммунист, мама. Пойми, я не имею права исполнять религиозные обряды.

Но доводы оказались тщетными.

Азиз сначала поддержал жену и попытался уговорить сына. Но Рахман был неумолим. Баджи рыдала, обеими руками била себя по голове, царапала свое морщи-

нистое, худое лицо. Однако и это не помогало. Поняв, что Рахмана ничем не поколеблешь, Азиз отступил. «Не убивайся понапрасну, Баджи. — принялся он теперь уговаривать жену. — Смирись. Мы с тобой уже не старшие в доме, теперь они старшие...» Но все его старания ни к чему не привели. Баджи не унималась, а сын не уступал. В конце концов, старик умолк и только посматривал то на сына, то на жену...

С тех пор прошло семь лет. Вспоминая схватку свекрови с сыном, Хумор всякий раз удивлялась, как могла тогда смириться Баджи,

— Да, милая, твой муж — особенный. Он позабыл, кто породил его на свет.

Старуха искося взглянула на невестку. Ждала, что она ответит. Но Хумор молчала. Только улыбалась одними уголками губ. Карие глаза под ровными дугами черных бровей смотрели спокойно и ласково.

— Ну, ладно, дочка, — неожиданно остыла Баджи, — Теперь я сама справлюсь с дюшпере. А ты готовься к свадьбе. Погладь мужу брюки, рубашку.

На дворе смеркалось. Высоко над городом мерцали одинокие звезды. Где-то играл духовой оркестр. Азиз, сидевший с внучкой перед домом на скамье, сказал:

— Молодежь танцует. Вырастешь, детка, и ты пойдешь танцевать.

— И я? — серьезно переспросила Марал.

— Да, да. И ты.

Азиз поднялся, взял ребенка на руки, посмотрел в сторону Каспия. Над морем вставал огромный диск луны. Старику показалось, что луна вдруг разорвала могучую грудь Каспия, быстрой ракетой взметнулась к небу и плавно поплыла над городом.

Вдруг за спиной раздался резкий окрик жены.

— Азиз! Где ты запропастился! Азиз!

— Я здесь, — тихо, не оборачиваясь, ответил Азиз. — Иди сюда, Баджи. Посмотри, как красиво небо над морем.

Старуха расхохоталась, зло и презрительно:

— Совсем рехнулся. Совсем не знает, куда время девать, чем заняться...

Чем я должен, по-твоему, заниматься? Скажи, ради могилы твоего отца?

— Оставь в покое могилу отца моего. И дай сюда ребенка. Ступай ищи Рахмана. Где он пропал? Я дюшпере не бросаю в кастрюлю, как бы не переварились и не лопнули... Иди, иди, чего стоишь, как вкопанный?

Старик недовольно поглядел на жену:

— Ай, старая, куда ты меня гонишь? Кончится собрание — придет Рахман. Он на улице не задержится.

Баджи кинула на мужа злобный взгляд и вырвала у него девочку. Старик тоже разозлился, но сдержал себя, лишь шёпотом произнес несколько ругательств в адрес жены. Потом вздохнул, безнадежно махнул рукой. поправил на голове высокую каракулевую шапку и побрел прочь.

— Да поторапливайся, не мешкай, — неслось ему вслед.

Азиз шел по улице, боясь разминуться с сыном. Улица освещалась слабо. Многих встречных он не узнавал. Пройдя два квартала, он свернул за угол и вдруг услышал музыку. Мелодия ее была ему знакома с юных лет. С каждой минутой приближаясь, неслись звуки тары, кеманчи, бубна, а вскоре показалась и факельная процессия. Впереди шли музыканты, за ними нарядно одетые танцоры. Несколько женщин несли на головах большие подносы, покрытые разноцветными скатертями.

«Свадьба, идут к невесте с подарками», — подумал Азиз.

Он замедлил шаг. Когда-то и ему приходилось так веселиться. Вместе с друзьями юности Асаилом, Юсуфом, Гавриилом по семи дней и ночей напролет гулял на свадьбах. Правда, Азиз тогда жил бедно. У Рахмана, отца его, не было ни клочка земли, ни дома. И сын и отец батрачили на богатых виноградарей, а весной работали на рыбных промыслах. Но как ни бедно жил Азиз, ни одной свадьбы он не пропускал. Больших денег это не стоило. Деньги

требовались только на шобош музыкантам. А подарки полагалось делать лишь родственникам и близким друзьям, Да и то в меру сил и возможностей.

«Это только теперь люди с ума посходили, — подумал старик и покосился на подносы у женщин на головах. — Придумали новые порядки. Кто ни позовет на свадьбу — неси денежки, тащи подарки. Да подороже. Не принесешь — обидятся, осмеют, ославят на весь город. А свадеб — прорва. Другой раз что неделя — то свадьба. Вот и выкладывай сотню, а то и две. А нет лишних денег — что тогда делать? Отрывать от семьи, от детей? Мыслимо ли это?.. Но только попробуй скажи старухе, что не пойдем на свадьбу. Ого-го! Она, как пиявка, вопьется в тебя, как змея, зажалит до смерти...»

Когда свадебная процессия была уже далеко, его вдруг окликнули:

— Отец, ты куда?

Вместе с Рахманом был председатель колхоза Мукаил.

— Добрый вечер, дядя Азиз, — сказал он.

— Добрый вечер, — ответил старик. — А я собрался к вам в контору. Его мать, — Азиз указал на сына, — впилась в мое горло. Иди, говорит, узнай, почему Рахмана так долго нет. Боюсь, говорит, бросить дюшпере в кастрюлю, не лопнули бы. Вот я и отправился на поиски.

— Видать, строгая у вас жена, дядя Азиз, — улыбнулся Мукаил.

— И не говори, — старик лукаво подмигнул. — Изверг. Но что поделаешь, приходится терпеть. Пойдем с нами, Мукаил, дюшпере есть.

— Вы хотите, чтобы и за мной отрядили поиск?

— У тебя жена молодая, добрая.

Все засмеялись. Мукаилу неудобно было отказать старику, он принял приглашение.

Баджи встретила гостя радушно.

— Добро пожаловать, милости просим, — приветливо улыбаясь, приговаривала она, пропуская Мукаила в калитку, но все же не удержалась и по привычке съязвила. —

Как это ты догадался к нам заглянуть? В честь этого солнце завтра, наверно, взойдет раньше времени.

— Вы же знаете, я друг вашей семьи. А прихожу редко потому, что дел много. Так что не сердитесь.

— Что правда, то правда, — миролюбиво согласилась Баджи и засуетилась, захлопотала вокруг стола. — Проходите, проходите, пожалуйста. Ох, наверное, в кастрюле уже вся вода выкипела, — она всплеснула руками и подбежала к очагу. — Ай, Хумор, ай, дочка, бросай дюшперу в кастрюлю, а то я плохо вижу. Провались сквозь землю мои старые глаза!

— Не волнуйся, жена, я тебе стеклянные куплю, — успокоил ее Азиз и добродушно рассмеялся.

Баджи по обыкновению тут же вспыхнула!

— Да чтоб навеки закрылись глаза твоей сестры!

— Стоит ли, Баджи-хала, расстраиваться по пустякам, — примирительно проговорил Мукаил.

Он сел за стол, снял фуражку и вытер лоб надушенным платком. Мукаил начинал лысеть, и от этого лоб его казался огромным.

— Дядя! — вырвалось у Марал, не сводившей глаз с гостя.

— Иди ко мне, дочка, — Мукаил достал из кармана несколько шоколадных конфет и протянул девочке.

Марал шагнула было к гостю, но остановилась, нерешительно поглядывая то на конфеты, то на мать, то на бабушку.

— Бери. Бери, раз дядя угощает, — разрешила Баджи, взяла внучку за руку и подвела к Мукаилу.

Хумор тем временем накрывала на стол, принесла чуреки, круглые, пышные, обмазанные желтком и усыпанные маком, разложила зелень, подала соленья, вяленого кутума.

— И водка сейчас будет, — улыбнулся Рахман и принес из комнаты графин со стопками.

— Много не пей, — предупредила Хумор мужа, — нам еще на свадьбу идти.

— К кому? — поинтересовался Мукаил.

— Ты, наверное, не знаешь их, — ответила Баджи, — это друг моего мужа. Он выдает замуж внучку.

— Если он друг твоего мужа, пусть твои муж и идет, — улыбнулся Рахман.

— Не спорь, — недовольно поморщилась Баджи, — твой отец уже стар. Ему нечего делать на свадьбе.

— Нет, ты слышишь, Мукаил? — оживился Азиз. — Ты слышишь, что говорит моя жена? Я стар!

— А то нет? — зататорила Баджи. — Иди погляди на себя в зеркало.

Рахман остановил мать.

— Будет тебе, мама. Оставь отца в покое... Я бы пошел на свадьбу, но ведь что у нас получается? Позовут две, а то и три сотни гостей. В доме не хватает всем места, вот и сажают гостей на дворе, под открытым небом. А сколько крика, шума, неразберихи.

— Чем больше гостей, тем больше выручка, — заметил Мукаил. — Выгодно и доходно. Ведь деньги идут с каждого гостя.

— В том-то и дело. Хороший народный обычай превращают в источник наживы.

— Ладно, ладно, Рахман, — сказала Баджи, — лучше налей гостю водки.

Перед Мукаилом уже стояла полная тарелка дюшпер. От нее поднимался густой пар.

— Давайте есть, пока не остыли, — предложил Азиз, разрезая чурек.

Мукаил поднял бокал.

— Выпьем за вашу дружную семью!

— Дай бог счастья детям твоим и братьям твоим, — степенно ответила Баджи.

Все выпили.

— Хороша нынче осень, — проговорил Мукаил, вслушиваясь в тихий шелест деревьев в саду.

— Да, — согласился Азиз, — бог даст, скоро начнем убирать агадан.

— Я хотел завтра начать уборку, да заготовители не дают.

– При чем тут заготовители? – удивился Азиз.

– Говорят, будем брать по низкой цене. Мол, виноград еще не созрел. Мало в нем сахаристости. А я не могу сдавать его низким сортом.

– Кто теперь заготавливает у нас виноград?

– Толстяк Бебе. Ты его знаешь. Он когда-то работал в нашем колхозе кладовщиком. А верней сказать заведовал винным подвалом.

– Бог ты мой! – изумилась Баджи. – Он же нечист на руку, этот паршивец. И от такого человека что-то зависит! Кто дал ему власть?

Азиз задумался, поглаживая бороду, а затем осторожно предложил.

– Почему бы тебе, Мукаил, не сходить в райком и не поговорить об этом Бебе?

– Так я и сделаю, – поразмыслив, решил Мукаил.

Из комнаты донеслось: «Московское время двадцать один час. Начинаем передачу для...»

– Сколько, сколько он сказал? Я что-то не расслышала. – Начиная с тринадцати, Баджи никак не могла взять в толк нумерацию часов.

– Девять, мама, – пояснила Хумор.

Так чего же вы ждете! – вскинулась старуха. – Пора на свадьбу.

– Сейчас, мама. Мы соберемся быстро.

Хумор и Рахман ушли в дом.

Рахман надел новый темно-синий костюм, коричневые туфли и сорочку в полоску. Хумор поправила перед зеркалом прическу, надела модное платье из набивного креп-дешина, поверх – шерстяную кофточку.

– К ночи может похолодать.

– Да, не мешает одеться потеплее, – согласился Рахман.

«Ничуть не изменилась», – подумал он. Рахман смотрел на красивое лицо жены, и ему казалось, что видит он не зрелую женщину, мать двоих детей, а робкую, длинно-косую девушку, с которой много лет назад сидел за одной партией.

— Что с тобой, Рахман? — застенчиво улыбнувшись, спросила Хумор, — впервые видишь меня?

— Если пройдет еще сто лет, ты все равно останешься для меня той же самой девочкой, юной и робкой, какой была в школе,

— И только? — в глазах Хумор засветилась ласковая улыбка.

— Нет... Ты для меня...

— Ладно, Рахман, нас ждут. Идем.

Она вышла на веранду и, подойдя к дочери, крепко поцеловала ее.

— Слушайся бабушку, хорошо?

— Да, — пообещала Марал. — А ты скоро вернешься, мама?

— Скоро, дочка. Скоро. Ложись, милая, спать.

Рахман и Хумор вышли на улицу вместе с Мукаилом. Пройдя несколько кварталов, они распрощались.

— До завтра, — сказал Рахман. — А насчет уборки винограда ты все-таки подумай.

— Хорошо. Желаю всех благ.

Как и ожидал Рахман, гостей на свадьбе набралось видимо-невидимо. Всех уместить в трех комнатах не удалось. Пришлось использовать двор. Он был залит слепящим светом электрических ламп. Вдоль забора протянулась шеренга стульев, а противоположную сторону занимали скамьи, составленные из длинных толстых досок. Посреди двора был разостлан огромный сумах¹. Под большим тутовым деревом стоял столик, за ним расположились музыканты — завсегдатаи дербентских свадеб — тарист Мамед-Наги, кеманчист Арам, бубенщик и певец Амалтай.

Амалтай, весело оглядывая гостей, заполнивших двор, говорил своему другу Мамед-Наги:

— Раньше мужчины не сидели вместе с женщинами. Даже в разных помещениях находились. Только когда начинались танцы, звали женщин. Ели — и то отдельно.

¹ Сумах — ковер

– Да, у нас, азербайджанцев, было то же самое, – подтвердил Мамед-Наги.

– Нынешний порядок мне больше по душе, – заметил Амалтай.

– Еще бы! – согласился Мамед-Наги.

Их разговор прервал тамада, невысокого роста плотный мужчина с длинными черными усами и глазами, покрасневшими от выпитого вина:

– Ай, музыканты-сазандары, вы что, уснули? Игратьте, пусть танцует, веселится молодежь.

Музыканты заиграли разом, стройно и дружно. Начались танцы. Рахман и Хумор пристроились на скамье в углу, рядом с колхозниками своей артели.

– Посмотри, Рахман, на этого человека. Как он танцует! Смотри, На носках танцует, хотя и пожилой! – с восхищением воскликнула Хумор. – Артист!

– Так это же Ихиил Петегу. Он известный танцор. У него и отец был первым танцором на свадьбах. Это у них в крови.

Ихиил Петегу, худощавый, невысокий, небритый, в мягких легких сапожках, резко взмахивая руками и выкрикивая «Ас-са, ас-са!», прыгал, как юноша, не сводя глаз с молодой женщины, кружившейся перед ним на ковре.

– Отец часто рассказывал мне про Ихиила Петегу и его отца. Их называли украшением свадеб...

– Гляди, кто пришел, – перебила мужа Хумор.

Во дворе появился Бебе – толстый человек в гимнастерке с отложным воротником, в бриджах, опоясанный широким ремнем военного образца. Голова у него была крупная, шея короткая, лицо широкое и круглое. Он пришел не один, а вместе с женой Либо, рыжей, с веснушками на лице и шее, непомерно толстой женщиной в широком платье из панбархата и белом шелковом платке.

– А Бебе все никак не расстанется с военной формой, – усмехнулся Рахман.

– Провалиться бы ему сквозь землю! Чтоб скалы его придавили!

— Тихо, тихо, Хумор, — Рахман сжал локоть жены. Танцующая пара удалилась. Музыка смолкла. Тамада бросился навстречу Бебе:

— Добро пожаловать! Пойдемте, я вас устрою, — окинув быстрым взглядом двор, он приказал: — А ну, молодежь, уступи место дорогому гостю!

Тамада взял Бебе за руку и усадил на почётное место. Рядом с мужем уселась Либо. Ее большие глаза забегали по сторонам, ей не терпелось разглядеть гостей, а главное, их наряды. Оглядел двор и Бебе, кивнул знакомым, встретился взглядом с Рахманом и Хумор. «Дай бог тебе смерти!» — тихо проговорила Хумор, когда Бебе исподлобья взглянул на нее. А Бебе чуть заметно вздохнул. Ему вспомнилось прошлое, молодость, любовь, неудачное сватовство, размолвка.

Либо пыталась что-то прошептать мужу, но тот локтем оттолкнул ее.

— Молчи, не болтай лишнего, — процедил он сквозь зубы и снова уставился на Хумор, затем тяжело вздохнул и подумал: «Счастливчик ты, Рахман. Завидую тебе, сукин ты сын».

Воспоминания о Хумор настолько овладели Бебе, что он не слышал ни свадебных песен, ни музыки, ни шума праздничной толпы. Он даже не замечал танцующих пар. Его занимала одна лишь Хумор.

Громкий голос тамады вернул Бебе к действительности.

— Какой танец заказать для тебя?

— Я пока подожду.

— Потом будет поздно. Слишком много охотников. Так что скажи, что заказывать.

Бебе подумал, еще раз вздохнул и, закрыв глаза, произнес:

— Гулять так гулять. Пусть сыграют «узун-дере».

Тамада поднял руку, крикнул:

— Ай, дорогой Аамалтай, сыграйте нашему дорогому гостю Бебе «Узун-дере», — и, обращаясь ко всем гостям, бодрым, зазывным голосом предложил. — А ну похлопаем.

Бебе встал, подтянул ремень, одернул гимнастерку, поднял руки и, повернувшись к жене, пригласил ее на танец.

После нескольких кругов он полез в карман, достал пачку денег, вытянул две сотенных бумажки, одну отдал жене, а другую кинул в тарелку, стоявшую на столе перед музыкантами.

— Видала? — Рахман скосил глаза на жену. — Как сорит деньгами! Были бы трудовыми, он бы не сорил.

Сделав еще круг, Бебе подмигнул жене, и она села на место, а он потребовал:

— Пригласите невесту! Хочу с ней танцевать!

В предвкушении новых воздаяний музыканты заиграли еще веселей.

Тамада подлетел к невесте, взял ее за руку и подвел к Бебе. Тот снова полез в карман, вынул еще две сотни и вложил невесте в руку. Вслед за ним одарили невесту деньгами гости: кто давал десятку, кто четвертную. И чем больше денег давали люди, тем веселее играли музыканты.

Но вот невеста кончила танцевать и отошла от Бебе. Деньги она унесла с собой. Ошеломленные музыканты чуть не уронили на пол свои инструменты.

— Ай, друг Амалтай, — тихо проговорил Мамед-Наги, — в старину невеста, бывало, все деньги бросит в тарелку, а потом уж уйдет. А теперь что?

— Да, — печально вздохнул Амалтай. — Невыгодно стало играть на свадьбах.

Уже было поздно, когда тамада приказал накрывать на стол. Принесли горячие пышные чуреки, вино. Помощники тамады разложили по столам зелень, расставили тарелки с отварным кутумом. Любители выпить не стали дожидаться горячей закуски. Забулькало вино, зазвенели бокалы, зазвучали тосты.

Бебе пил много, торопливо закусывал. После нескольких стаканов у него зашумело в голове. Он снова вспомнил Хумор и еще пуще расстроился. Теперь он смотрел на нее, не отрываясь. В его сузившихся глазах вспыхивали недобрые огоньки. Чем больше он пил, тем

сильнее в нем разгоралась ненависть к Рахману. Вдруг он вскочил и крикнул:

– Ай, Амалтай, сыграй-ка мне, я буду петь.

И он запел:

*«Я был влюблен в тебя, красавица,
В тебя, красавица, в тебя, красавица,
И остался с раненым сердцем, красавица.
С раненым сердцем, красавица моя!»*

У Бебе не было ни голоса, ни слуха. Его никто не слушал, на него никто не обращал внимания, только жена толкала его в бок и свистящим шепотом просила замолчать. Но он все-таки продолжал свою песню, в которой сто раз повторялось слово «красавица».

Хумор крепко сжала локоть мужа.

– Вставай, идем домой!

– Посидим еще немного. Хозяева обидятся.

– Пускай обижаются. Пойдем!

Когда они приблизились к калитке, к ним подбежали тамада и хозяйка дома Гавид. Она чуть не плакала.

– Лучше бы я на месте умерла, чем вас обидеть. Разве вам плохо у нас? Почему вы уходите?

– Завтра рано утром надо выходить на работу, – объяснила Хумор. – А время уже позднее, второй час... Спасибо вам. Дай бог, чтоб в вашем доме всегда была радость.

– Дай бог радости и счастья всей вашей семье, вашим дорогим деткам, – успокоившись, проговорила хозяйка.

Ночь была тихая, светлая. Город спал, объятый серебристым безмолвием. Только издалека, со стороны железной дороги доносились гудки паровозов.

Рахман и Хумор шли медленно, молча. У Хумор из головы не выходил Бебе с его пьяной физиономией. «Лучше бы мне не ходить на эту свадьбу», – с досадой думала она. И вдруг, прижавшись к мужу, сказала:

– Я хочу отдохнуть, прибавим шаг.

УБОРКА ВИНОГРАДА

Говорят, что человека к старости одолевает бессонница. Азиз в этом отношении оставил далеко позади всех стариков Дербента. Вот уже несколько лет подряд Баджи замечала, что муж ее каждое утро просыпается затемно, подметает двор, а потом отправляется на море купаться. Однажды он попал в смешную историю. Проснувшись как всегда спозаранку, Азиз накинул на плечи бешмет и не спеша спустился к морю. Он не стал купаться на пляже, отошел в сторонку, где вплотную к морю прижались рыбацьи домики. Одна из хозяек, выйдя во двор, приняла Азиза за ночного вора. Женщина заголосила, и на ее крик сбежались рыбаки. Они схватили старика и повели в милицию. На счастье, дежурный оказался знакомым. Он удивился, когда рыбаки со словами «поймали вора» втокнули в кабинет Азиза.

— Кто вор? — едва сдерживая смех, осведомился дежурный.

— Он! Он! — голосила рыбацка, тыча пальцем в грудь Азиза. — Он хотел взломать замок.

— Ай-ай-ай! — лукаво улыбнулся дежурный. А когда растерянный Азиз, подняв руку, попытался что-то объяснить, прервал его. — Ладно, ты лучше помолчи.

Затем, не выдержав, он громко расхохотался. Он рассказал рыбакам, кто этот человек, которого они приняли за вора.

С тех пор Баджи строго-настрого запретила мужу купаться ни свет ни заря. Но Азиз был не из тех, кто слушается жен.

— Давай условимся, — предложил он старухе, — ты согласишься есть трепное мясо, а я перестану утром рано ходить к морю.

Баджи не на шутку рассердилась:

— Ай, Азиз, почему твоя покойная мать не родила вместо тебя головешку?

Тут уж не выдержал Азиз.

— Ты не женщина, а сатана, — в сердцах прокричал он.

Так они ни о чем и не договорились. Баджи по-прежнему не ела трэфного, а Азиз по-прежнему спозаранку купался в море.

В этот день Азиз, как обычно, поднялся до рассвета. Но на сей раз он торопился не к морю, а на виноградную плантацию. В колхозе началась уборка.

— Хмурое выдалось нынче утро, — проворчал про себя старик, взглянув на небо.

С северо-запада, от высоких гор, наплывали черные облака, нависая над горным аулом Джалган. Над дербентской крепостью сгустились тучи.

«Как бы дождя не принесло, — с опаской подумал Азиз. — Обычно в это время, в пору иудейских праздников, одолевают дожди... Не приведи господь...»

Да, дожди могли наделать много бед. Агадаи уже созрел, созревали и другие сорта винограда. Заряди сейчас дожди — сопреет виноград, испортится, пропадет.

«Убрать, во что бы то ни стало убрать, — напряженно думал старик, — убрать, не теряя ни часа!» Он наспех умылся, разбудил старуху и постучался в спальню сына:

— Рахман, ай, Рахман, вставай, дорогой. Теперь нельзя долго спать. Пришла уборка.

* * *

Не один Азиз беспокоился об уборке. Многие колхозники еще несколько дней назад начали поторапливать председателя:

— Послушай нас, Мукаил, приступай к уборке. Но председатель медлил. Он никак не мог договориться с заготовителями о цене. Виновником же задержки колхозники считали председателя. Старый друг Азиза седобородый Эсеф возмущался:

— Не пойму Мукаила. Что за человек! Со старым председателем Адигезалом было совсем другое дело. Он всегда старался уборку начинать пораньше. Боялся, чтоб

не пропал урожай. Ругался с нами, когда мы тянули. А этот? Ни рыба, ни мясо...

Эсеф собрал стариков и пришел в партбюро жаловаться на председателя.

— Хотя ты по возрасту моложе всех, — говорил Эсеф Рахману, — но по должности — всех нас старше. А раз так, у тебя должно быть ума больше нашего. Иначе тебя не выбрали бы секретарем. Так вот, мы просим тебя, поговори с Мукаилом, вразуми его. Пусть пожалеет наш труд...

Старик подошел поближе к Рахману и показал мозоли на своих изборожденных морщинами руках.

— Не волнуйся, дядя Эсеф, — успокоил его Рахман, — на днях начнем уборку. Мешают заготовители. Грозятся принимать виноград низким сортом. Не созрел, говорят. Сахаристость низка.

— Заготовители? — удивился старик. — Кто они? Я их знаю?

— Знаешь, дядя Эсеф. Помнишь нашего бывшего кладовщика Бебе?

— Толстяка? Плешивого? Ах он шайтан! — вскипел старик.

После их разговора прошло несколько дней. За это время и виноград созрел и все переговоры с заготовителями закончились. Началась уборочная страда.

Участки бригады Рахмана были расположены в двух разных концах: старые виноградники — южнее Дербента, новые — севернее города, в районе поселка «Огни», неподалеку от железнодорожной ветки.

В первые дни бригада убирала виноград на старых плантациях. Многие колхозники вышли на работу семьями. Старик Эсеф привел с собой невестку и трех внуков, не было только его сына. Старик и его невестка срезали виноградные гроздья и наполняли корзины, внуки уносили их с поля.

Неподалеку от семьи Эсефа работали Азиз и Хумор. Хумор на время уборки взяла в поликлинике отпуск. Работа на винограднике была для нее не в новинку. Во вре-

мя войны ее наградили медалью «За трудовую доблесть». Сколько раз о Хумор, как о передовой колхознице, писали в газетах. Став медиком, она не порвала с родным колхозом. Хумор часто можно было видеть на виноградных плантациях. Здесь она чувствовала себя как в родной стихии. Одно лишь смущало ее — мужские сапоги. Ходить в них было страшно неловко.

— Отвыкла от сапог, дочка? — спросил в это утро Азиз.

— Ничего, отец, — улыбнулась Хумор.

Услышав сигнал автомобиля, она подняла голову и взглянула на дорогу. На обочину свернула райкомовская «Победа» и, проехав несколько метров, остановилась под старым тутовником, около бригадного домика. Из машины вышли Мукаил и секретарь райкома партии Мамедов, плотный, коренастый мужчина в гимнастерке с отложным воротником и в брезентовых сапогах. Рахман поспешил навстречу приехавшим.

Мамедов за руку поздоровался с Рахманом, поклонился старикам.

— Как себя чувствует старая гвардия? — спросил он.

— Мы на старость не сетуем, — явно бодрясь, заявил Азиз. Но Эсеф схватился за бок, и его обросшее седой щетиной лицо помрачнело.

— Старость, конечно, делает свое дело, сынок. Но мы еще повоюем.

— До ста лет вам жить не тужить, — проговорил Мамедов и, обращаясь к Рахману, спросил: — Как дела, парторг? Много отправили винограда?

Рахман вздохнул:

— Если бы мы, товарищ Мамедов, не мешкали и не теряли попусту время, то уже давно убрали бы агадан и начали убирать нарму.

И Мамедов и Рахман взглянули на виноградные лозы. Они пригнулись к земле, а кое-где совсем полегли. Мамедов нахмурился и недовольно пошевелил губами:

— Упаси бог, пойдет дождь, тогда беда — пропадет все добро.

Старик Эсеф, приблизившись вплотную к Мамедову, дернул его за рукав:

— Юлдаш Мамедов, ты только взгляни на небо. Посмотри, какос оно мрачное. Не к добру это. Могут зарядить дожди. Надо было раньше убирать. Могли бы использовать каждый день, каждый час. Нельзя было упустить ни единой минуты.

Мамедов пристально посмотрел старику в глаза, в которых таилась тоска, и недовольно проговорил:

— А кто вам мешал это делать? Кого вы вините? Что, райком должен за вас убирать урожай?

Эсеф смешался. Вопросительно взглянув на Мукаила, он растерянно промолвил:

— Сам председатель говорил, что пока виноград не созреет, его не примут.

— Кто не примет?

— Заготовители.

Из-за куста выглянул Ахмед-даи, известный в колхозе шутник и остролов.

— Вы меня извините, юлдаш Мамедов, — широко ухмыляясь, произнес он, — но в народе говорят: «Кто часто портит воздух, тот взваливает вину на ячменный хлеб».

Раздался взрыв дружного хохота, Ахмед-даи никогда не бил мимо цели. Не смеялся один лишь Мамедов. Опустив голову, он угрюмо разглядывал виноградные гроздья, лежавшие на земле. С минуту помолчав, Мамедов глухо проговорил:

— Но есть и другая народная поговорка: «У болтливого пастуха волки в стаде пасутся». Так что поскорее убирайте, не то пропадет виноград. — Потом, взглянув на Мукаила и Рахмана, он уже на ходу бросил: — Поедьте в бригаду Рамазана.

Прошло несколько минут, как укатила райкомовская «Победа». Небо над виноградниками потемнело. Оно как бы стало оседать к земле все ниже и ниже. Заморосил дождь. Мелкий, словно его просеивали сквозь сито, он постепенно усиливался. И вот уже серую мглу исполосовали тонкие серебристые нити.

— Ай, Азиз, — окликнул своего старого друга Эсеф, — видишь? Началось.

Азиз посмотрел на небо. Ему показалось, что оно вот-вот придавит виноградники.

Где-то вдали сверкнул зигзаг молнии, пророкотал гром. «Может быть, пройдет стороной», — со слабой надеждой подумал Азиз и поискал глазами невестку. Хумор, покрыв голову пустым мешком, стояла вместе с другими женщинами под тутовником. Старик с горя закурил и поплелся к бригадному домику, под навесной крышей которого уже пристроились старые и молодые колхозники.

— Подождем, может, пройдет стороной, — сам не веря в свои слова, вяло проговорил Азиз

Но Эсеф накинулся на него:

— Что за чушь ты мелешь! Смешно и противно слушать. Ты только посмотри на небо, и все глупые слова застрянут в твоём горле. Кто бы другой болтал чепуху, а не ты, старый виноградарь.

Азиз замолчал. Молчали и другие. А дождь все лил и лил. Земля намокла и стала вязкой. Теперь по ней уже трудно было ступать.

Мрачные и подавленные, колхозники уселись в машины и поехали домой. На плантации остались одни лишь сторожа.

С того дня дожди зарядили надолго. Случалось, правда, что над Дербентом с утра проглядывало солнце. Тогда колхозники, не теряя времени, выезжали на плантации. Но не надолго. Работали часа по два, не больше. Потом дождь снова разгонял людей.

Ненастье кончилось лишь в канун иудейского религиозного праздника кипур — «судный день».

В тот день все колхозники от мала до велика выехали на уборку. Иные виноградари призывали на помощь родственников, не членов колхоза: домашних хозяек, пенсионеров. Мукаил, объезжая бригады, наблюдал за дружной работой сборщиков, грузчиков, сортировщиков, шоферов и от души радовался.

Доволен был работой своей семьи и Азиз.

— Ты у меня молодец, дорогая невестка, — хвалил он Хумор, когда вся семья вечером собралась за ужином. — Умница, за день две нормы выполнила. Баркала,² не была старую специальность.

— Не хвалите, отец, сглазите, — застенчиво улыбнулась Хумор и украдкой, зардевшись, взглянула на мужа.

Рахман отвел глаза, встретившись взглядом с Хумор. Ему не хотелось, чтобы жена прочла в его глазах восхищение.

Но Азиз, словно угадав мысли сына, проговорил:

— Знаю, сынок, ты по праву гордишься женой. Она молодец не только дома, но и на виноградниках. Однако сердце мое беспокоит, Рахман. Боязно мне за некоторых членов твоей бригады. Думаю, верующие завтра не выйдут на работу. Ведь судный день завтра. Подумай, кем заменить их. С уборкой медлить нельзя.

Рахман нахмурился, помрачнел.

— Как же так, отец, — с минуту помолчав, проговорил он, — сколько дней шли дожди. Разве можно урожай погубить? Где у людей совесть?

— У верующих свое понятие о совести, сынок. В судный день их на виноградники никакой силой не вытянешь.

Рахман вскочил и зашагал по веранде.

— Ведь накануне праздника мы организовали антирелигиозные беседы. Лелей Асаил проводил их так просто и так доходчиво, что, казалось, всю гнилую душу духовенства вывернул наизнанку. Жаль, что тебя не было. Посмотрел бы, как люди слушали.

— Еще бы не слушать. Лучше Асаила в Дербенте никто не разбирается в религиозных делах, даже сам старший раввин.

— Потому Асаил так глубоко и разоблачает обман.

Молчавшая до этого Баджи не выдержала. Покосившись на мужа, она сказала:

— Ай, Азиз, посовестился бы седой бороды. Зачем обижать господ бога?

² Баркала — спасибо.

Старик рассмеялся:

– Опомнись, Баджи. Разве ты сама не говорила, что все раввины – плуты и обманщики.

Баджи всплеснула руками и, встав из-за стола, напустилась на мужа:

– Что ты несешь, старик. Совсем спятил. Нет того, чтобы поучить сына уму-разуму. Вместо этого он только подбрасывает щепки в костер.

– А ты знаешь, что творится на виноградниках? Если разорится колхоз, кто тебя будет кормить? Уж не бог ли?

– Господь бог всемогущ. Благодаря его милости еще никто не умер с голода.

Хумор с укором посмотрела на свекровь:

– Мама, зачем спорить понапрасну? Отец прав. Не надо на него сердиться.

– Как так не сердиться? Разве позволено старому человеку богохульствовать, настраивать своих детей против веры? Пусть Рахман не верит в бога. Он с детских лет пошел своей дорогой. На то он и партийный. Я не виню его. Но когда старик, который одной ногой уже в могиле, обижает бога...

Азиз встал, прошелся по комнате, подошел вплотную к жене и сверху вниз смерил ее долгим взглядом.

– Стало быть так, Баджи, – сдавленным голосом проговорил он. – Не знал, что ты желаешь моей смерти... Говоришь, стою одной ногой в могиле?.. Может, назовешь день и час, когда ангел смерти Азраил придет по мою душу? А, может, отправишься к раби Хаиму и спросишь его?

Рахман досадливо махнул рукой:

– Хватит, отец... Пока не разразился скандал, давайте убирать со стола. Пора спать. Завтра вставать ни свет ни заря.

Хотя он попросил постелить постель, хотя лег раньше всех, но никак не мог уснуть. Лежал рядом со спящей женой, прислушивался к ее ровному дыханию и неотвязно думал о том, что сказал отец. «Что мы будем делать, если завтра люди не выйдут на работу?» – в который раз

спрашивал он себя и все думал и думал, ворочался с боку на бок, пытался заснуть и не мог.

– Почему ты не спишь? – сквозь сон спросила Хумор.

Рахман нежно поцеловал жену:

– Спи, спи.

Как ни плохо спал Рахман в ту ночь, утром он проснулся раньше обычного. Но отец все-таки опередил его. Одетый, он стоял уже во дворе и наблюдал восход солнца. Рахман быстро оделся. Хумор тоже заторопилась.

Они приехали на виноградник с первой машиной. Здесь было малоллюдно. Многие старики и женщины, как и предполагал Азиз, не вышли на работу.

– А что я тебе говорил, сынок? – с горечью заметил Азиз. – Даже мой друг Эсеф и тот не приехал.

Рахман тяжело вздохнул и побрел к бригадному домику, где находились весы.

– Как по-твоему, Исхак, многие сегодня справляют кипур? – спросил он у весовщика Исхака, молодого паренька с черными, как угли, глазами.

– Как тебе сказать, дорогой Рахман, – ухмыльнулся Исхак. – Клянусь тебе и отцу своему, умнее слов, которые говорил старик Асаил, я в жизни не слыхивал. Даже глупейший из глупых мог бы понять, что все эти судные дни – на руку одним только шарлатанам и лодырям. Людям труда они ни к чему.

– Да-а, – чуть слышно сказал Рахман, подумав о чем-то своем.

Весовщик виновато отвел глаза.

– Выходит, все наши антирелигиозные беседы с верующими – что горохом об стену?

Исхак пренебрежительно пожал плечами.

– А, беседы-меседы. Некоторым нужны не беседы, а длинные палки.

Рахман удивленно поднял брови:

– Не дури, Исхак. Что за вздор – «длинные палки».

Весовщик виновато отвел глаза.

— Извини меня, Рахман. я не то имел в виду. Не в буквальном смысле бить палками. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю.

— Эх, — Рахман махнул рукой и отошел в сторону.

Солнце уже поднялось высоко, когда послышался сигнал автомашины. Рахман оглянулся и увидел вбегавшего на виноградник Мукаила. Они поздоровались. Мукаил присел на корточки перед кустами, увешанными тяжелыми, водянистыми гроздьями винограда, и поманил пальцем Рахмана:

— Гляди, гниет виноград.

— А я о чем думаю, — проговорил Рахман, глядя на почерневшие ягоды нармы. Мукаил только теперь заметил, как осунулось лицо парторга. — Боюсь, как бы наши труды не пропали даром. Надо спасти урожай.

Мукаил приподнялся, окинул взором плантации:

— Почему мало людей?

Рахман вздохнул:

— Как же, сегодня праздник — кипур.

— Совсем позабыл. А где Эсеф? Это он, сукин сын, мутит воду. Помню, накануне войны организовал в колхозном саду временную синагогу.

— Да, набожность одолела старика. Вконец осилила, — сказал Рахман. — А ведь неплохой колхозник. Душой болеет за колхозное добро. Недавно приходил в партбюро. Почему, говорит, не начинаете уборку? Прежний председатель Адигезал вовремя и организованно убирал урожай. Торопитесь, говорит, не то дожди нагрянут, виноград пропадет. Да, старик всей душой за колхозное дело. А вот поди ты, сегодня подвел. Судный день для него оказался дороже родного колхоза. Старый хрен!

— Не ругай его, Рахман, — примирительно проговорил Мукаил. — Человек он старый...

— Дядя Азиз тоже не молодой, — вмешался в разговор Исхак.

К весам подошел Азиз. В руках у него была корзина, до краев наполненная виноградом. Поздоровавшись, старик попросил Исхака взвесить собранные им гроздья.

– Как же это твой друг Эсеф подкачал? – улыбнулся Азизу председатель.

– Можешь себе забрать такого друга, – отшутился Азиз. – Сегодня мой друг – Исхак. И ты. Да еще Рамазан. Видишь, вон он идет.

Мукаил обернулся. К ним поспешно приближался колхозный бригадир Рамазан, низкорослый, худощавый мужчина, с рябоватым лицом, в кожаной фуражке и сатиновом летнем пиджаке.

– Юлдаш председатель, что же это делается? – едва переводя дыхание, спросил он.

– Что именно?

– Ведь слово мы дали убрать виноград вовремя и без потерь. Обещали взять с гектара по пятнадцать тонн. Обязательство большое, слова громкие, а дела? Какие дела? Десять человек из бригады не вышли на работу. Разве это мыслимо?

Хотя день был не особенно жаркий, лицо председателя покрылось испариной. Мукаил снял плащ, бросил шоферу, вынул из кармана папиросы и закурил.

– Праздник сегодня, – попыхивая папиросой, сквозь зубы произнес Мукаил, – кипур.

– Стыдно признаться, – проговорил Рахман, и голос его прозвучал глухо, – но все наши антирелигиозные беседы, оказывается, не стоили ни гроша.

Мукаил бросил папиросу:

– Ну и черт с ними. Сегодня отпразднуют, а завтра выйдут на работу... – и, обращаясь к Рамазану, добавил: – Садись в машину, поедem к тебе в бригаду. Посмотрим, что там делается.

На участке бригады Рамазана Мукаил застал секретаря райкома Мамедова и заготовителя Бебе.

– А вот и председатель, – обрадовался Бебе. – Он и разъяснит. Колхоз все время обвинял заготовителей в том, что они не принимали незрелый виноград. А теперь, когда виноград созрел, переспел и даже начал гнить, колхоз его не сдает.

Бебе нагнулся, сорвал несколько прелых ягод и поднес председателю.

— Что ты на это скажешь, Мукаил? — расплывшись в широкой улыбке, спросил он. — Может, опять заготовители виноваты?

Мукаил побагровел:

— Не паясничай, Бебе. Твое отношение к колхозному добру хорошо известно.

Казалось, Мукаил вот-вот кинется на толстяка и ударит его, но он сдержался и, отвернувшись, пробормотал:

— Есть люди, способные только кляузничать.

— Ого, вы слышите, товарищ Мамедов? — Бебе был невозмутимо спокоен, теперь в голосе его даже слышалось ласковое сожаление. — Ай-ай-ай, разве можно так говорить? Мало того, что срывают уборку, мало того, что не способны воспитывать колхозников, они еще других обзывают кляузниками. Разве я научил ваших людей справлять праздники в самый разгар работы? Не мешало бы парторгу работать с людьми, а не передоверять их воспитание бывшим раввинам... всяким темным личностям, исключенным из партии.

— Ладно, время покажет, кто прав, кто виноват.

Бебе звонко и заливисто рассмеялся.

— Ай-ай-ай, да ты артист, товарищ Мукаил. Тебе надо в цирке работать, фокусником-иллюзионистом. Если завтра у вас весь виноград растащат, тоже из нас виноватых сделаешь?

Мамедову наскучила эта бесплодная перепалка.

— Хватит, товарищи, — устало проговорил он. — Сейчас не до болтовни. Надо убирать виноград.

— Не беспокойтесь, товарищ Мамедов, — засуетился Мукаил. — День только начинается. Я сейчас съезжу в город, постараюсь привезти людей. Обещаем, все меры к спасению урожая будут приняты.

Мукаил уехал в город, а Мамедов и Бебе на райковском машине направились в противоположную сторону. Мамедов сидел впереди, рядом с шофером а Бебе сзади.

Мамедов вынул из кармана пачку сигарет. В ту же минуту Бебе зажег спичку и протянул секретарю:

– Прошу вас, товарищ Мамедов.

Машина шла по дороге, бегущей меж виноградных плантаций. Справа над виноградниками возвышались зеленые склоны гор и аул Джалган, слева лениво колыхались воды Каспия. По железнодорожному полотну со стороны Баку тянулся длинный состав. Паровоз резко свистнул и, прошипев, изрыгнул облачко сизого пара. Но Мамедов ничего этого не видел и не слышал. Его занимало лишь одно – гниющий на корню виноград Невесело и напряженно думая о делах колхоза, в котором только что побывал, он вдруг вспомнил о споре, разгоревшемся между председателем и заготовителем. Не оборачиваясь, он спросил:

– Слушай, Бебе, ты говорил о каком-то лекторе, исключенном из партии. Кого ты имел в виду?

Бебе улыбнулся:

– Старика Асаила. Его еще перед войной выгнали из партии. Был редактором газеты и допустил грубую политическую ошибку. Впрочем, иначе быть не могло. Асаил до революции учился на раввина. Потом был кантором в синагоге. Раввин с партийным билетом. Смешно, не правда ли?

Мамедов вспомнил свою юность, первомайские и октябрьские праздники, многолюдные митинги на городской площади. Лысоватый сухопарый, с прищуренными глазами Асаил, держа в высоко поднятой руке неизменную кожаную фуражку с красной звездой на околыше, произносил с трибуны зажигательные речи на русском, азербайджанском и татском языках. Он вдохновенно говорил о великой революции, о славных подвигах народа. Мамедов, как и все другие, кто стоял на площади, будто замороженный, слушал пламенного оратора. Давно это было. В те годы Мамедов был еще безусым комсомольцем. Потом возмужал, покинул Дагестан, уехал учиться. А вернувшись в Дербент с дипломом агронома, уже не встречал Асаила ни на праздничной трибуне, ни на районных партийных акти-

вах. Потом ему рассказали, что Асаил исключен из партии. В чем была его вина, Мамедов не знал.

В последнее время старик все чаще попадался Мамедову на глаза. Он работал контролером при уполномоченном Министерства заготовок. Все, кто знал Асаила, отзывались о нем, как о человеке редкостной добросовестности и порядочности. Одно удивляло Мамедова, — почему старик ни разу не зашел в райком поговорить о своих партийных делах. «Видимо, чувствует свою вину, — решил Мамедов, — и не отваживается просить о восстановлении».

Машина запрыгала на ухабах. Сильный толчок резко потряхнул ее.

— Ну и дороги, чтоб их черт побрал, — выругался шофер и круто вывернул баранку руля.

— Была бы моя воля, я обязал бы колхозы привести в порядок дорогу, — заметил Бебе.

Мамедов обернулся и исподлобья взглянул на Бебе. «Что-то мне не очень по душе этот человек, — подумал он. — Похоже, от него за версту воняет склокой. Такой способен за полчаса наплести на человека столько, сколько за пятилетку не расхлебаешь. Чего доброго, подастся в Махачкалу кляузничать. Надо поговорить с Рахманом.»

Однако в хлопотах повседневно Мамедов так и не выбрал время для этого разговора.

Но Бебе не дремал. По его настоянию Рахман был вызван в райком. Здесь его ожидал пренеприятный разговор с инструктором Якубовым.

НЕПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР

Рабочий день уже давно окончился, а Якубов с Рахманом все еще сидели в райкоме.

— Мне кажется, товарищ Рахманов, — скучным голосом, монотонно и назидательно цедил Якубов, — у вас в колхозе налицо вредная недооценка воспитательной работы. Как иначе можно квалифицировать тот факт, что вы слепо передоверили воспитание колхозников политически

сомнительному человеку, изгнанному из рядов партии. Разве у вас мало достойных людей?

— Да что вы говорите, товарищ Якубов! Разве вы не знаете, что Асаил — наш человек? Разве вы не знаете, как колхозники слушают его?

— Я знаю лишь одно, — с той же размеренной неторопливостью бесстрастно продолжал Якубов, — что он исключен из партии.

В знак того, что тема разговора исчерпана, Якубов встал из-за стола, закурил папиросу и подошел к окну. Вдали на горе чернела древняя крепость. За ее бастионами садилось солнце, заливая багровым сиянием предвечернее фиолетовое небо.

Рахман, не сходя с места, наблюдал за инструктором, за его ладно скроенной фигурой, облаченной в щеголеватый костюм-китель, перехваченный в талии широким ремнем. «Франт, — неприязненно подумал Рахман, — дешёвый франт».

Видимо, почувствовав на себе пристальный взгляд, Якубов обернулся:

— Вы, товарищ Рахманов, конечно старше меня по годам, но в политике, как мне кажется, младенец.

— Что поделаешь, товарищ Якубов, век живи, век учись, дураком помрешь. Больше ко мне вопросов не имеется?

Якубов промолчал, делая вид, что не понял иронии, и так же тихо и бесстрастно проговорил:

— Учтите, товарищ Рахманов, к нам поступило несколько сигналов. И я рекомендовал бы вам прислушаться к трезвому голосу товарищей. На днях состоится партийный актив. Не исключена возможность, что вам напомнят о потере бдительности.

И правда, вскоре, сидя на собрании партийного актива, Рахман услышал немало неприятных слов. И не от кого-либо другого, а от Бебе Шамаилова.

— Товарищи, — гремел с трибуны Бебе, — колхозники считают, что парторг Рахманов зарвался и потерял бдительность.

— Колхозники тебя не просили говорить от их имени, — с места выкрикнул Мукаил. — Если потребуется, они скажут сами.

Председательствующий Мамедов нажал кнопку звонка, призвав не мешать оратору.

— Обратите внимание, товарищи, — плаксиво и жалобно заговорил Бебе и отпил воды из стоящего на трибуне стакана. — Не дают говорить. Если здесь, на этой высокой трибуне эти люди зажимают неугодным рот, что же они вытворяют в своем колхозе? Я еще раз повторяю, — теперь в голосе его звенела медь, — парторг Рахманов зарвался. Его перехвалили. У него пошла кругом голова. Он оторвался от масс. Вместо того, чтобы самому разговаривать с людьми, воодушевлять их на хорошие дела, одним словом, воспитывать, он передоверил все это и кому? Бывшему раввину. Да, да, бывшему раввину, товарищи! Что же получилось в итоге? В самый разгар уборки колхозники не вышли на работу. Они, понимаете ли, праздновали кипур... Словом, как видите, что посеешь, то и пожнешь...

Рахман слушал, краснел, сжимал кулаки и никак не мог понять, почему Мамедов не остановит распоясавшегося демагога. В конце концов, он не выдержал и выкрикнул с места:

— Демагогия!

Мамедов снова нажал кнопку звонка. Бебе, даже не взглянув на Рахмана, продолжал:

— Вы слышите, товарищи, Рахманова заело. Недаром народ сложил пословицу: «Когда говорят правду, у плешивого горит голова».

Зал разразился хохотом. Голова оратора блестела, как бильярдный шар. Все дербентцы называли толстяка «плешивый Бебе». Это было его прозвище.

Выждав, пока смех стихнет, Бебе заговорил вновь, продолжая поносить Рахмана. Но теперь люди уже не слушали его. Зал недовольно шумел:

— Хватит! Регламент! Время!

Мамедов позвонил и выжидательно посмотрел на Бебе. Тот вынул из кармана платок, вытер вспотевшее лицо, побагровевшую лысину и, не закончив речь, покинул трибуну.

Рахман ждал, что Мамедов в заключительном слове осудит злобную демагогию Бебе. Но этого не случилось. Секретарь райкома говорил о задачах, стоящих перед колхозами района, о мерах, которые необходимо принять, чтобы их выполнить, и ни слова не обмолвился о выступлении Бебе.

Когда собрание окончилось, Рахман, не дожидаясь Мукаила, вышел на улицу. Здесь было темно. Густой туман окутал все вокруг, лишь кое-где смутно проглядывали расплывчатые пятна уличных фонарей.

От клуба железнодорожников, где проходило собрание, до берега моря было совсем недалеко. Перейдя железнодорожное полотно, Рахман спустился вниз, миновал консервный комбинат и вышел к морю. Огромное и вечно живое, оно угадывалось по неумолчному шуму волн, то накатывающихся на берег, то с шуршанием уносящихся прочь от него.

Усталость вдруг тяжелым мешком навалилась на Рахмана. Он лег на мягкий песок и долгим взглядом уставился в серовато-белесую мглу. В ней, покачиваясь, мигал, подобно карманному фонарику, огонек, горящий на каком-то судне.

На душе у Рахмана было смутно. «А может быть я в самом деле совершил проступок? — спрашивал себя Рахман. — Может, я действительно достоин осуждения? Может быть, я не имел права доверять Асаилу?.. Но ведь отец не раз рассказывал, как Асаил накануне революции отрекся от религии. Как в годы гражданской войны он стал партизаном. Как в первые годы пятилетки помогал бедноте организовать в Дербенте колхозы. А потом как враги оклеветали его и с помощью провокации добились его исключения из партии...»

Большая волна нахлынула на берег, прокатилась по песку, лизнула подошвы ботинок Рахмана и, обессилев,

уползла вспять. Рахман поднялся, стряхнул с одежды песок и направился в город.

Когда он пришел домой, все уже спали. Не спала лишь Баджи. Она сидела на веранде и подкладывала дрова в печь, на которой грелся ужин.

— Где ты пропал, сынок? Сердце мое чуть не разорвалось, а глаза чуть не ослепли... Сколько можно ждать?

— Я был на собрании, мама. Напрасно ты не спишь.

— Мать скорее умрет, чем оставит сына голодным.

— Я не хочу есть, мама. Ложись.

— Где же ты успел поужинать?

Услышав голос мужа, Хумор поднялась с постели, надела халат, накинула на плечи теплый шарф и вышла на веранду.

— А ты почему на ногах?

— Разве я могла спать? — виновато улыбнулась Хумор.

Повозившись у плиты, Баджи подошла к столу и поставила на него ужин.

— Ешь, сынок. Если хочешь вина, возьми в буфете.

— Спасибо, мама.

Рахман ел молча, а Хумор, хотя и не глядела на него, чувствовала, что творилось с ним. Она ни о чем не расспрашивала, ничего не говорила, а только ухаживала за мужем, то поднося зелень, то разрезая чурек, то наливая вино,

— Спокойной ночи, детки. Дай бог вам здоровья и счастья.

Оставшись с женой наедине, Рахман спросил:

— Беспокоилась?

— Ты же сам знаешь.

Рахман улыбнулся усталой и невеселой улыбкой. Он встал, подошел к жене, положил ей руки на плечи. В широко раскрытых глазах Хумор он прочел и тревогу, и участие, и ласку.

— Пойдем, дорогая, я устал. Мне очень хочется спать.

Проснувшись поутру, Рахман жену уже не застал. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели в ставнях, игра-

ли в кудрях Марал, спавшей рядом в детской кроватке. Рахман с нежностью посмотрел на дочку и вдруг услышал ее певучий голосок:

— Папа, ты не спишь?

— Нет, милая. Иди ко мне.

Марал соскочила на пол, быстро быстро зашлепала босыми ножками по полу и, забравшись в постель к отцу, обвила его шею маленькими нежными ручонками.

— Ты моя хорошая. Ну, пора одеваться. Не то дедушка заругает.

Марал выпрыгнула из постели и, схватив свое платье, выбежала на веранду:

— Бабушка, одевай меня, быстро.

— Иди ко мне, детка, иди ко мне, моя радость, — Баджи обняла внучку.

А Рахман уже был во дворе. Вместо физзарядки он стал перекапывать междурядья виноградных кустов. Потом умылся, оделся и попросил у матери чаю.

— Садись, сынок. Сейчас будем завтракать.

От калитки послышалось:

— Рахман дома?

— Дома, дома, входите. Кто там? — спросила Баджи.

Во двор вошел худой старик в поношенном демисезонном пальто, стоптанных сапогах и темной кожаном фуражке. Услышав голос гостя, Азиз поспешил на веранду:

— Доброе утро, Асаил. Добро пожаловать.

Старики пожали друг другу руки, Азиз потащил Асаила на веранду, к столу. Рахман встал, поздоровался, предложил стул.

— Спасибо, я ненадолго.

Азиз рассмеялся:

— Слушай, Асаил. Если ты зашел сюда по своей воле, то это еще не значит, что ты можешь отсюда так же уйти. Сейчас ты в наших руках. Хозяева этого дома мы. И пока тебя не отпустят, ты никуда не уйдешь.

Баджи поддержала мужа;

— Садись, садись, Асаил. Будем чай пить.

— А если мне не хочется чаю? — улыбнулся Асаил.

– Тогда мы угостим вас вином, – сказал Рахман.

– Неужели вы желаете моей смерти? – пошутил старик.

– Не дай бог, – вскрикнула Баджи. – Пускай лучше перемрут твои враги.

– Вам действительно нельзя пить? – спросил Рахман, он уже готов был налить старику вина,

Асаил остановил его руку, помрачнел и медленно, с трудом выдавливая слова, проговорил:

– Плохо дело с желудком, сынок. Пошаливает. Не принимает ничего острого. Особенно кислого. Наверно, подскочила кислотность. – Он вздохнул, опустил голову и, не поднимая ее, добавил, обращаясь к Азизу. – Да, постарели мы, друг Азиз. Сдали... Твой отец, Рахман, знает, сколько мы в молодости выпивали вина... И ничуть не хмелили. Вот что самое интересное.

– Потому что пили с умом, – гордо проговорил Азиз.

– Ишь ты какой умный нашелся, – не удержавшись, вмешалась в разговор Баджи. – Не приведи господь еще одного такого умника. Ты, наверно, забыл, в каком виде являлся домой, когда Рахман был маленьким. Еле поползал до постели и заваливался спать, в чем был.

Асаил с мягкой грустью улыбнулся и тихо покачал головой.

– Друг мой, Азиз. Не растравляй старых ран моей сестры Баджи. Они уже давно затянулись.

– Зачем ворошить грехи молодости, – недовольно проворчал Азиз. – Одна только моя старуха никак не может забыть того, что давно быльем поросло!

– Почему плохое никогда не забывается? А хорошее так быстро выветривается из памяти? – задумчиво произнес Асаил.

Азиз придвинул ему стакан чаю.

– Выпей, Асаил, сладкого чаю. На все вопросы жизни все равно не ответишь. Пей чай. Как говорится, чем хабар*, лучше хинкал.

* Хабар – разговор.

Рахман пил чай и украдкой поглядывал на Асаила. Глаза старика глубоко запали, на осунувшемся бледном лице обострились скулы.

«Что с ним происходит? — с тревогой думал Рахман. — Плохо выглядит, подавлен, мрачен. Куда девались веселые шутки? Может быть, узнал о том, что говорилось на партактиве?»

Рахман в своих догадках был неправ. Асаил ничего не знал. Старика мучила болезнь. За последнее время боли в желудке становились все сильнее, особенно обострялись они к осени. В пору обострений старик уже не мог есть ни мяса, ни фруктов, ни овощей. Манную кашу он не любил, а на одном молоке тоже не мог сидеть. Нет-нет да и отведает мяса. И не находит места от боли. Болезнь все сильнее одолевала Асаила, и лишь в общении с людьми находил он некоторое забвение. Разговаривая с ними, он отвлекался от болезни, хотя бы на время забывал о ней. Последние несколько недель он чувствовал себя настолько плохо, что совсем не выходил из дому. Сейчас ему немного полегчало, и первое, что он сделал, — отправился к Рахману, чтобы договориться об очередной беседе с колхозниками.

— Я бы с радостью поручил вам провести ее, — смущенно проговорил Рахман, — но не могу. Вы уж меня извините, не могу.

Асаил от неожиданности не смог вымолвить ни слова и лишь растерянно стал помешивать ложечкой в стакане. В неловкой тишине было слышно, как тяжело, с хрипом дышит старик и позванивает ложечка о стакан.

— Некоторые обстоятельства не позволяют, — глухо проговорил Рахман, и голос его показался ему самому незнакомым и чужим.

— Что это за обстоятельства?

Поначалу Рахман не хотел говорить, но старик настаивал, и он объяснил:

— Нашлись люди, которые наклеузничали. Дескать, я поручаю проводить антирелигиозные беседы человеку, исключенному из партии... бывшему раввину... Так что, дядя

Асаил, — Рахман совсем смутился. — Теперь я уже больше не смогу...

Он смолк. Асаила словно кто-то ударил по спине, внезапно и свирепо. Он разом сник, будто переломился. «Выходит, — подумал он, — старая пословица права: я за тебя жизнью жертвую, а ты мне ногу подставляешь».

— Вы не думайте, дядя Асаил, что я вам не доверяю, — заторопился Рахман, — я вам верю всей душой, как самому себе. Я знаю — вы честный человек, вы — коммунист всем своим...

— Можешь не продолжать. Скажи только одно — кому я помешал этими беседами?

Рахман помолчал, в нерешительности взглянул на отца, — лицо Азиза было суровым и требовательным, — подумал и тихо сказал:

— Вас ненавидит плешистый Бебе. Вы должны его знать.

— Сын рыжего Шамаила? — спросил Асаил, посмотрев на Азиза.

— Он самый. Помнишь, ты схлестнулся с ним в первые годы после революции...

Это было в 1920 году. Вернувшись из Царицына, куда он бежал от белогвардейцев, Асаил был назначен начальником продовольственного отряда. Он хорошо знал Дербент, людей, кто чем живет и дышит. Вместе с красноармейцами своего отряда он пришел к Шамаилу и потребовал сдать государству излишки зерна. Шамаил бил себя кулаком в грудь, клялся и божился, что ничего не имеет.

Асаил приказал произвести обыск. Зерно было найдено и погружено на подводы. Когда лошади тронулись со двора, рыжий Шамаил подозвал толстого мальчугана, торчавшего у калитки, и сказал ему, указывая пальцем на Асаила:

— Сынок, запомни этого человека с красной звездой на фуражке. Он наш враг. Отомсти ему. Рано или поздно отомсти. Даже если меня уже не будет в живых, все равно отомсти!

Асаил покачал головой и глубоко вздохнул:

— Да, яблоко недалеко упало от яблони. Стало быть, вот кто мне вредит. А я-то наивно верил, что Бебе не пойдет по стопам папаша. Глупец!

— Дядя Асаил, а почему вы снова не попытаетесь восстановиться в партии? Я знаю, в свое время разбор вашего заявления отложили. Но это же было давно. Напишите опять. Я уверен, вас восстановят.

Подумав, Асаил ответил:

— Напишу, дорогой, непременно напишу. В ЦК. Обо всем, что пережил за эти годы... Хотя я вне партии, связи с ней я никогда не терял. Я чувствовал себя коммунистом. И умру коммунистом, если даже не сумею вернуть партбилет.

Асаил встал, попрощался. Азиз вышел проводить его.

— Не падай духом, старина. Все будет хорошо.

— Будем надеяться.

Асаил медленно брел по городу. Стоял пасмурный осенний день. Улицы были малолюдны. Небо все больше мрачнело. Похоже, собирался дождь... Асаил шел и думал, с чего начать письмо в ЦК.

Он вспомнил свою нелегкую жизнь, и перед мысленным взором его, подобно кадрам кинохроники, проходило былое.

Отец, бедный дербентский садовод, с невероятным трудом растивший пятерых сыновей мал мала меньше, часто говорил: «Я всю жизнь трудился, страдал, мучился и остался неграмотным. Хочется выучить и вывести в люди хотя бы одного сына».

Но где до революции мог учиться сын бедного тата-садовода? Светских школ в те времена в Дагестане почти не было. И старик Яхья решил, что Асаил станет раввином.

Так что Асаил с юных лет засел за талмуд. В конце концов, он стал кантором одной из девяти дербентских синагог.

Вскоре молодой кантор познакомился с членами подпольного марксистского кружка Керимом Мамедбековым,

Ароном Эрлихом, Любой Эрлих, со ссылкой большевиком-революционером Маркусом. С их помощью он приобрел к марксистской литературе и стал критически относиться ко всему, чему его учили раввины.

Внутренне Асаил еще в дореволюционные годы был подготовлен к разрыву с религией, но страх перед отцом удерживал его от окончательного и решительного шага. Совершить его помогла революция. Когда до Дербента донеслась весть о ее победе, в городе состоялся митинг. И каково же было изумление собравшихся, когда они увидели на трибуне Асаила. Сбрив бороду и сменив бешмет на кожанку, бывший кантор призывал народ поддерживать большевиков. Он разоблачал буржуев и их прислужников — мулл и раввинов.

А потом — гражданская война. Борьба с беляками и буржуазными националистами. Побег в Царицын. Возвращение в Дербент. Работа в райкоме партии заведующим отделом пропаганды и агитации. Организация первых колхозов. Работа в газете.

Но вот пришел 1937 год. В райком поступило заявление о буржуазном националисте, «который обманным путем пробрался в партию и тихой сапой проводит подрывную, вражескую работу». Донос был состряпан Бебе Шамайловым, но Асаилу, разумеется, ничего не сказали об этом.

Секретарь райкома Фомичев оказался порядочным человеком. Он досконально разобрался в деле, всесторонне и объективно изучил его и на корню пресек клевету.

Но вскоре нагрянула беда. В газете, которую редактировал Асаил, появилась ошибка, нелепая и досадная. Второй секретарь райкома Танхум — дядя Бебе (Фомичев был тогда в отпуске) — вызвал Асаила на бюро и добился его исключения из партии, а затем и ареста. Просидел Асаил недолго. За недостатком улик его освободили, но в партии он так и не был восстановлен.

...Тучи еще ниже осели над городом. И без того хмурый день еще больше посерел. Старик вздрогнул и

прибавил шагу. По асфальту застучали крупные капли дождя.

Домой Асаил пришел до нитки промокшим. Но он не стал переодеваться, и так, как был, в намокшей одежде, сел за стол и принялся писать.

Он писал письмо в обком и ЦК.

Глава вторая

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ

Дождь все не переставал. Теперь он моросил, мелкий и затяжной. Рахман сидел на веранде и задумчиво глядел на серебристую пыль, оседавшую зеленой свежестью на широких листьях айвы и тутовника, на спелых гроздьях винограда. Он с грустью посмотрел на бурое, словно покрытое широкой темной шалью, небо, и мысленно разговаривал то с инструктором райкома Якубовым, то со стариком Асаилом, то с секретарем райкома Мамедовым, то с председателем колхоза Мукаилом, то со своим фронтовым другом Ахмедом, сыном бывшего председателя колхоза Адигезала. Он упорно добивался, чтобы все эти люди по совести рассудили его и высказали всю правду: действительно ли он виноват, доверяя исключенному из партии человеку. Ответы были непохожими, как не схожи были люди, с которыми мысленно разговаривал Рахман. От этого он еще больше волновался, расстраивался и быстрыми шагами мерил веранду.

Вдруг Рахман остановился и попросил сына сходить за сигаретами.

Шамай растерялся, он знал, что отец не курит.

Удивился и Азиз:

— Что с тобой, сынок? Ведь ты давно бросил курить.

— Не спрашивай, отец, — Рахман махнул рукой и спустился с веранды в сад.

Старик пристально посмотрел на сына, потом оглядел небо и предложил:

– Знаешь что, Рахман, пойди прогуляйся. Ты устал. Иди, сынок, скоро распогодится.

Рахман прошелся по саду и снова поднялся на веранду. Впереди за далью Каспия горизонт светлел. Из сероватой хмури туч неясно проглядывал расплывчатый контур солнца, отдаленно напоминающий огромный подсолнух.

– Иди, сынок, погуляй, погуляй.

Рахман вошел в комнату, надел пиджак, непромокаемый плащ и вышел на улицу. «Схожу-ка я к Ахмеду», – решил он.

Ахмед жил в верхней части города, там, где живет большинство дербентских азербайджанцев. Испокон веков, еще с седой старины, повелось так, что азербайджанцы селились в верхней части города, ближе к крепости, а таты в нижней, возле моря.

Рахман по пути зашел в магазин и купил несколько плиток шоколада – гостинцы для детей Ахмеда. Затем вышел на улицу Ленина, поднялся до колхозного рынка – прежде он назывался тахта-базаром – и прошел к школе имени Музахарья. Отсюда надо было свернуть к Джумамечети, а там уже до Ахмедовых было рукой подать.

Впереди взметнулись ввысь массивные, непомерные в своей толщине стены старинной крепости Нарын-Кала. И неожиданно для себя Рахман изменил маршрут. Он решил подняться на крепостную башню.

Солнце, наконец, прорвало тучи и залило все вокруг радостным и щедрым светом.

С огромной высоты, словно с птичьего полета открылась широкая панорама города, размашисто шагнувшего далеко за пределы своих древних стен. Этот удивительный город, первые строения которого были возведены пятнадцать веков назад, имел поразительно ровные улицы и переулки, каменные неповторимой архитектуры дома утопали в зелени акаций, чинар, тополей. Отсюда, сверху, он напоминал громадный самолет, широко взмахнувший могучими крыльями, нос его упирался в синий Каспий, а хвост – в крепость Нарын-Кала. Далеко к северу и югу от древних городских стен, у морского побережья и у подно-

жья гор дымили заводские трубы. По ровным, прямым магистралям стремили свой бег автомашины, над старыми одноэтажными кварталами возвышались новые корпуса школ и клубов, жилых домов и административных зданий. А внизу, перехваченные узким поясом крепостных стен, стояли старая мечеть и полуразрушенный ханский дворец с бывшим гаремом и подземной тюрьмой.

Солнце уже достигало зенита, когда Рахман покинул крепость. У ворот он столкнулся с Адигезалом, отцом Ахмеда.

Адигезал с обидой посмотрел на Рахмана:

– Что ж ты к нам не зайдешь, дорогой? Ведь от крепости до нашего дома всего два шага.

– Адигезал-даи, я как раз к вам и собирался.

– Вот это дело. Тогда пошли, – обрадовался Адигезал.

Узкие кривые улочки верхней части города вывели их к дому Ахмедовых. Старик Адигезал постучал палкой в калитку:

– Ай, Сурия-ханум, ай, Вера-ханум, откройте!

Не успела распахнуться калитка, как на шее старика повисли две маленькие девочки с золотистыми косичками, голубыми глазками и круглыми белыми личиками.

– Эльмира, Людмила! – обрадовался Рахман и дал дочерям своего друга по шоколадке.

На веранде появился Ахмед.

– Рахман, как хорошо, что ты пришел, – он протянул другу обе руки. – Давай, давай, заходи.

Рахман не сводил глаз с детей. «Как они выросли и как стали похожи на Веру, мать девочек».

Он впервые увидел ее в Чехословакии, в прифронтовом госпитале, где лечился после тяжелого ранения.

Это произошло в последний день войны. Погожим майским утром Рахман прогуливался по госпитальному парку. И вдруг остановился. За кустами звучал до невероятности знакомый голос:

– Поедьте со мной.

– У меня муж.

— Пусть, пусть. Что хотите делайте, но я вас не отдам. Я не в силах расстаться с вами, Вера.

Да, сомнений быть не могло. Это Ахмед. Рахман не видел друга с той поры, как уехал воевать.

— Ахмед! — вскричал Рахман и бросился в заросли. От неожиданности Ахмед настолько опешил, что не мог сдвинуться с места. Он не в силах был произнести ни единого слова. И только придя в себя, спросил:

— Стало быть, ты жив?

— Как видишь.

— А ведь я получил письмо, будто ты пропал без вести.

— Как это так?

— Об этом нашим сообщил Юсупов. Помнишь его? Агроном из Наркомзема. Приезжал к нам в колхоз. Он теперь корреспондент фронтовой газеты.

Рахман взглянул на женщину в белом халате, с которой только что разговаривал Ахмед, и медленно, сисясь что-то припомнить, спросил:

— Сестра, где я вас видел?

— Не знаю.

Подумав, Рахман вынул из кармана халата бумажник, достал из него фотографию:

— Посмотрите, не вы ли это?

Она взглянула и вздрогнула:

— Да, это я. А вот мой муж. Где вы взяли эту карточку?

— Мне подарил ее мой командир капитан Орлов.

Вера разрыдалась.

— Скажите, как он? Что с ним? Ради бога, скажите. Ахмед молчал, нахохлившийся, угрюмый.

— Не знаю. Я потерял с ним всякую связь. С тех пор как меня тяжело ранило. Три месяца назад мы форсировали Дунай. Ночью, в темноте. Но немцы обнаружили нас и обстреляли из минометов. Меня ранило осколком. Очнулся в медсанбате. Оказывается, наша лодка перевернулась. Орлов тогда спасся. А где сейчас, не знаю.

Вера не отрывала глаз от карточки.

— Подарите мне ее, — чуть слышно попросила она.

— Берите. Ваш муж рассказывал, что вы остались в оккупированном городе и немцы угнали вас в Германию. Если бы вы только знали, как он переживал. Говорил, что после замужества вы и месяца не успели побыть вместе, началась война...

— Ну, теперь я его разыщу.

Однако встретиться им было не суждено. Через неделю на запрос Веры пришел ответ. В нем сообщалось, что капитан Орлов пал смертью храбрых. Родители погибли, единственный брат тоже, и, когда Ахмед, демобилизовавшись, вновь предложил ей ехать вместе с ним в Дагестан, она, подумав, в конце концов, согласилась.

Тихой звездной ночью прибыли они в Дербент. Город уже спал, загадочный и незнакомый.

— Мама, мама, вставай! — кричал Ахмед, барабанив в калитку родного дома.

В окне зажегся свет, хлопнула дверь, слышались торопливые шаги и голос, прерывающийся от слез, проговорил:

— Ой, Ахмед, сын мой! Наконец-то я дождалась тебя... Теперь и умереть не жалко...

— Сын! Сын! Мой родной Ахмед, — вторил старухе Адигезал, поспешая вслед за женой к калитке.

— Сурия-ханум бросилась сыну в объятия, втащила его во двор и повлекла к дому. Ахмед обернулся. Обернулась и старуха. В сером проеме калитки темнела на улице чья-то фигура.

— Кто это там? — спросила старуха. — Твой фронт-вой друг?

— Это моя жена, мама. Познакомься, Вера.

— Что? Что ты сказал? Жена? — старуха опустила руки, отступила на шаг, и Ахмед почувствовал, что между ним и матерью мгновенно выросла незримая, но непроходимая стена.

Сурия-ханум, ни слова не говоря, угрюмая и удрученная, медленно поплелась по узкой каменной лестнице на веранду, села на стул и свесила низко голову. Давным-

давно, когда Ахмед был еще на фронте, решила она женить сына на своей, дербентской. Приглядела невесту, обнадеежила ее родителей, купила подарки — и вдруг такое. Если бы не радость свидания с сыном, она пренебрегла бы элементарными законами гостеприимства и не пустила бы эту чужую русскую женщину в свой дом.

Старик Адигезал подошел к Вере, взял ее сумку, ласково сказал:

— Пойдем, пойдем, дочь моя, в дом, — и повел ее на веранду.

Вера сидела сама не своя. Руки двигались бесцельно и беспрестанно, и она никак не могла с ними совладать. Пальцы то сжимали, то разжимали носовой платок. Она не глядела на Ахмеда, но чувствовала, что и он нервничает.

Ахмед молчал и лишь исподлобья, тяжелым и неподвижным взглядом посматривал на мать, на ее угрюмое, злое лицо, на плотно сжатые губы, на сощуренные глаза.

«Ладно — в конце концов, решил он, — помолчу пока; все-таки мать, а там видно будет».

Один лишь Адигезал изо всех сил старался рассеять сгустившийся мрак. Он ободряюще улыбался то сыну, то невестке, заводил с ними разговор о пережитом на фронте, расспрашивал о дороге, о том, как доехали, хвалил Дербент, уверял Веру, что она полюбит город. А Сурия-ханум все молчала. За весь вечер она так ни разу и не обратилась к Вере. И только перед тем как всем встать из-за стола, Сурия-ханум коротко осведомилась у сына о здоровье.

Ночью старик подошел к кровати жены и тихонько проговорил:

— Ай, жена, зачем ты себя так ведешь! Зачем портишь сыну настроение!

Сурия-ханум лежала на спине, вперив неподвижный взгляд в потолок.

— Не разжигай огонь моего сердца, старый. Не черни и без того черную кровь мою.

— Ты держишься старых адатов. А сын новый человек. Как-никак четыре года провоевал, много увидел, о многом передумал. Его не повернешь вспять. Он знает сам, что делает.

— И я знаю, — отрезала старуха и отвернулась к стене.

В ту ночь Вера ни на минуту не сомкнула глаз. Она, стараясь не разбудить заснувшего Ахмеда, лежала не шевелясь, и все тело ее онемело. Вера думала, думала, думала. Печально и не переставая. Чужой город. Чужие места, чужие нравы и обычаи. Чужой, непонятный язык. Какова будет жизнь? Что принесет? Вероятно, ничего хорошего...

Тьма за окном посерела. Сизый предрассветный сумрак неслышно вполз в комнату. На дворе звякнуло ведро. Вера вскочила с постели, вышла на веранду и по лестнице спустилась вниз.

— Мама, дайте я подою корову, — попросила она.

— Какая я тебе мама? Я не хочу, чтобы ты доила мою корову, — старуха повернулась к невестке спиной и неторопливой походкой направилась к хлеву.

Вера поднялась на веранду и здесь лицом к лицу столкнулась с Ахмедом. Он был бледен.

Ты меня прости, Вера, — глядя в сторону, проговорил он. — Но поверь, все уладится. Надо лишь перетерпеть. Немного перетерпеть. А там все уладится. Я тебя уверяю. Не хочется обижать ее. Она старая. Потерпи немного. Ведь она добрая. Увидишь...

— Нет, Ахмед. Мне лучше уехать. И вам будет спокойнее. И мне. Тебя я не виню. Но оставаться здесь не могу. Поеду к себе, на Украину...

Она смолкла, испугавшись того, как подействовали ее слова на Ахмеда. Побелевший, с трясущимися губами, он стоял перед ней, пытаясь что-то сказать. И не мог. В больших черных, как спелые маслины, глазах его стояла такая жгучая боль, что Вера не выдержала и отвернулась. Внутри у нее что-то оборвалось. Тепло, большое благодарное и животворное, заполнило все ее существо. В этом тепле растворились и холод обиды, и горечь, и боль ос-

корбленного самолюбия, и тревога за будущее. Вера вдруг поняла, что уехав, нанесет этому человеку, безмерно любящему ее, жестокий, непоправимый, а, главное, незаслуженный удар.

И она осталась. Но жизнь в доме еще долго не ладилась. Вера была достаточно умна, чтобы понять, что в Дагестане, куда ее занесла судьба, больше чем где бы то ни было, младшему не пристало вести войну со старшим. Она поступилась самолюбием и, уповая на время, решила терпеть и ждать.

Ахмед меж тем пытался миром поладить с матерью. В этом ему усиленно помогал отец.

— Пойми, Ахмед не маленький, — терпеливо втолковывал он жене, — сам знает, что делает. Не навязывай ему свою волю. Ведь он любит Веру.

— Ну и пусть целуется с ней, а меня пусть не трогает. Запомни, мне нет никакого дела до нее!

— Да чтоб у твоего отца сгорел дом, — не выдержав, вспылал Адигезал, — разве тебе не жалко ее, бедняжку? У нее же здесь никого, кроме нас, нет. Да и на всем белом свете тоже никого. Она потеряла всех родных в войну. Ее бы обласкать, а ты глядишь на нее так, словно глаза свои наполнила ядом.

Но слова Адигезела не оказывали на Сурию-ханум никакого действия. Она по-прежнему не разговаривала с невесткой, не позволяла ей готовить обед, запрещала доить корову. Вере, поутру встававшей раньше всех, разрешалось только приносить воду, подметать двор и ставить самовар.

Сурия-ханум еще больше взлютовала, когда невестка родила дочку. «Ничего лучшего не могла придумать, — заявила старуха, — хоть бы мальчика родила». Два года спустя Вера родила еще одну девочку. Свекровь обрушила на невестку все запасы ругательств, какими располагала. Хотя внучки были прехорошенькими, сущие куколки, Сурия-ханум не радовалась им. Она нянчила их, ходила за ними, но делалось все это с постной миной злобно и раздраженно. Однако — странное дело, — когда внучки забо-

левали, бабка не находила себе места. Если их мучил жар, она рвала на себе волосы. Ночи напролет, не смыкая глаз, просиживала у детской кровати. Но как только дело шло на поправку, все начиналось сызнова. Она по-прежнему была сурова и неприветлива с девочками, неприязненна и враждебна к их матери. Так продолжалось долго.

Только после того, как Вера родила сына и Ахмед привез его из родильного дома, старуха бросилась к невестке, обняла ее и со слезами на глазах проговорила:

— Прости меня, дочь моя. Я старая, глупая, неученая. Пусть огонь и вода поглотят меня, если я снова буду портить тебе жизнь.

— Слава тебе, господи, — обрадовался Адигезал, — наконец-то, поумнела. Давно пора!..

— А где Вера? — спросил Рахман, отхлебывая ароматный азербайджанский чай, которым его угостила Сурияханум.

— На работе, сынок, — ответила старуха. — Сегодня ее смена, дежурит в больнице... А вы, мои красавицы, — обратилась она к внучкам, — тоже идите сюда.

Сурияханум усадила девочек за стол, налила им чаю, положила печенья. — А как твои детишки? Как мать себя чувствует? — спросила она Рахмана.

— Спасибо, все живы-здоровы, — рассеянно ответил Рахман, думая о чем-то своем. Ахмед заметил, что друг озабочен, но при стариках расспрашивать ни о чем не стал. Когда кончили пить чай, он взял Рахмана под руку, и они вышли на улицу.

Друзья поднялись на крепостную стену. Закурили.

— Ну, выкладывай, что за кошки у тебя на сердце скребут?

Рахман рассказал другу о всех злоключениях последних дней. Он кончил, Ахмед молчал, попыхивая сигаретой. Докурив ее до конца, он погасил окурочек о парашет, помял меж пальцев и бросил. Кружась, подобно белому мотыльку, окурочек летел вниз. И вот уже он лег едва приметной белой точкой на зеленый газон у подножья стены.

Оторвавши взор и сразу же потеряв точку из виду, Ахмед заговорил. Не спеша, раздумчиво.

— В потере урожая виноваты мы все: и ты, и Мукаил, и я. Так что в этом отношении критика правильна. И надо ее признать. Что так, то так. Мы могли бы собрать гораздо больше винограда.

— Значит, и ты меня обвиняешь — с обидой произнес Рахман.

— Погоди, не горячись. Что правда, то правда, ты секретарь партийной организации. За то, что люди не вышли на работу, отвечаешь ты. И все мы, коммунисты, тоже отвечаем. Мы еще плохо работаем с людьми. Мало воспитываем их. Но винить тебя за то, что ты поручил Асаилу беседы, неправильно. Почему беспартийный не может провести антирелигиозную беседу? Да в конце концов, кто из татов Дербента лучше Асаила разоблачит раввинов? Я не говорю уже о том, что он честный человек. Вне всякого сомнения, честный. Я доверяю ему, целиком и полностью доверяю, — он закурил новую сигарету. — А этого Бебе остерегайся. Не нравится он мне. Склочник и жулик. К тому же у него старые счеты с тобой из-за Хумор.

— Когда это было! Сколько воды утекло!

Ахмед усмехнулся.

— Люди, вроде Бебе, злопамятнее зулуса. Был бы он хорошим, пошел бы на фронт воевать, А то заручился фальшивыми справками, сфабриковал болезнь сердца и отсиделся в тылу.

— Да, ты прав, Ахмед. Этот тип ради мести не остановится ни перед чем.

Прощаясь, Ахмед сказал:

— Ты был солдатом, Рахман. И вроде неплохим. Так будь солдатом и впредь. Как говорил наш старшина, свои ошибки исправляй, а врагу спуска не давай!

— Спасибо, брат.

Они крепко пожали друг другу руки и расстались.

По пути домой Рахман все время повторял: «Свои ошибки исправляй, а врагу спуску не давай!» Нехитрый, но броский солдатский афоризм понравился ему.

ЧЕСТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ

Асаил проснулся среди ночи. От боли. Она была настолько жгучей, что он не выдержал и вскрикнул, резко, пронзительно. Так кричит человек, которого внезапно полоснули ножом.

Проснулась жена. Встревоженная, сонная, рлстеряная Евдит приковыляла к постели мужа и со страхом спросила:

– Что с тобой, Асаил?

– Ничего, спи.

– Но ты так ужасно кричал...

– Тебе почудилось. Во сне. Спи, спи...

Превозмогая боль, он лег на живот, чтобы не видно было лица. Евдит постояла, постояла и вновь легла. Асаил лежал тихо, и Евдит решила, что все это ей действительно пригрезилось. Успокоившись, она вскоре заснула. А старик встал, согрел воду, наполнил грелку и приложил к животу. Спасительное тепло подействовало. Боль постепенно унялась, и он уснул.

Наутро его разбудили крики:

– Бедный Нахум! Вай-вай, умер бедный Нахум, – голосили за окном.

Асаил встал, быстро оделся, вышел на улицу. В соседнем доме жил пожилой колхозник Нахум, первый в городе шутник и весельчак. Правда, известен он был не только этим, но и неумеренным пристрастием к вину, которое теперь доконало его.

Около дома Нахума уже собрался народ. Со двора доносился напевный плач женщин. Их тонкие голоса выводили причудливый орнамент восточной мелодии. Мужчины стояли на улице, молча, с серьезными, сосредоточенными лицами. Тут же был и Азиз. Он кивком головы

поздоровался с Асаилом. Поодаль от всех сидел на скамейке раби Хаим, коренастый крепыш с раскосыми глазами. В руках у него была толстая священная книга. Поглядывая то в нее, то украдкой на Асаила, он не без злорадства думал: «Вот ты какой стал! Допрыгался!» Раби Хаима и Асаила связывали давние и сложные отношения. Началось все еще в семнадцатом году. Раби Хаим только что окончил духовную семинарию. Асаил служил кантором в синагоге. Однажды мужчины, как обычно, пришли в храм молиться. И не застали священнослужителя.

— Где кантор? — растерянно спрашивали они.

Время шло, а Асаил все не появлялся. Вдруг в синагогу вбежал Нахум. Еще с порога он закричал:

— Слушайте новость! Наш кантор раби Асаил сбрил бороду и отправился на митинг. Я сам его видел.

Все, кто собрался в синагоге, в том числе и молодой раби Хаим, поспешили на площадь. Ведь такое случается не каждый день.

Послушав речь Асаила, раби Хаим пришел в ярость.

— Вероотступник! — завопил он на всю площадь и ринулся домой к Асаилу. Разговора с отцом было достаточно, чтобы старый Яхья с проклятиями отрекся от сына, а мать слегла, тяжело заболев.

С той поры Асаил и Хаим стали смертельными врагами. Много лет спустя, после того как Асаила исключили из партии, раби Хаим на радостях отслужил благодарственный молебен. Вот почему теперь, в этот ранний утренний час, увидев Асаила, жалкого, плохо одетого, исхудалого и изможденного, он со злорадным удовлетворением отметил: «Допрыгался!»

Раби Хаим подозревал нескольких седобородых стариков, улыбнулся и, кивнув головой в сторону Асаила, сказал:

— Помните, как, бывало, пел Асаил в синагоге? Что твой соловей. Послушать его приходили не только иудеи, но и магометане, даже православные... У вероотступника был отличный голос...

— Почему был? Асаил и сейчас прекрасно поет.

— Если бы только он согласился, — задумчиво проговорил высокий худощавый старик, — можно было бы со спокойным сердцем снова сделать его кантором... Знаешь что, раби Хаим, ты теперь наш главный раввин, тебе и решать. Но я бы предложил пригласить Асаила. Думаю, он с удовольствием согласится. Ведь ему сейчас некуда податься. Он очень плохо живет.

Раби Хаим прищурил свои маленькие косые глаза. «А что, — подумал он, — идея не так уж плоха. Если вероотступник вернется, мы выиграем, а коммунисты проигрывают. У него доброе имя. Люди уважают его и верят ему. Приход Асаила сулит всем нам огромную выгоду». Мысли Хаима прервал громкий возглас, донесшийся со двора. Властный густой бас прокричал:

— Эй, женщины, кончайте плакать! Потемнело небо. Того и гляди пойдет дождь. Пока всех не вымочило, надо выносить покойника.

Заунывные песнопения смолкли. Четверо молодых мужчин вынесли гроб. Траурная процессия двинулась вдоль улицы. Впереди со священной книгой в руках шел раби Хаим, в хвосте — Асаил и Азиз.

До кладбища было недалеко. Оно находилось у самого подножья гор, подле колхозных виноградников. Когда процессия подходила к кладбищенской ограде, начал накрапывать дождь. Кое-кто, воровато оглянувшись, повернул назад.

— Может, и тебе уйти, — предложил Азиз. — Ведь болееешь...

Асаил отрицательно качнул головой, поднял воротник и прибавил шаг.

Вскоре дождь перестал. Гроб с покойником опустили в могилу, засыпали землей, подровняли могильный холм. Раби Хаим воздел к небу глаза и принялся за молитву.

— Начинается, — раздраженно пробормотал Асаил.

— Обычай, ничего не поделаешь, — разведя руками, ответил Азиз.

— Дикость! Вредные обычаи надо искоренять! — Асаил нахлобучил на лоб фуражку и покинул кладбище.

Прошло несколько дней. Как-то под вечер он сидел на скамейке перед своим домом и отдыхал.

— Добрый вечер!

К Асаилу приблизились два старика.

— Вечер добрый. Что нового, Шафадие?

— Слава богу, не жалуемся, — ответил Шафадие. приземистый старик, с белой, как вата, длинной бородой и маленькими, глубоко посаженными глазками, буравившими собеседника из-под огромной лохматой папахи, низко надвинутой на лоб. — Нам надо поговорить, Асаил.

— О чем?

— Мы пришли от общины.

— Ззчем?

В разговор вступил другой старик, до этого он выжидательно молчал, перебирая четки. Рубанув ребром ладони воздух, старик решительно произнес:

— Чего тянуть резину! Надо брать быка за рога. Община предлагает тебе вернуться в синагогу, кантором.

— Что?! Да вы соображаете...

— Тише, тише, не шуми. Зачем шуметь, зачем волноваться, — примирительно проговорил Шафадие. — Что было, то сплыло. Община тебя простила. Ты, конечно, был коммунистом. Мы же будем считать, что ты им не был.

Асаил вскочил. Встали и старики. Он придвинулся вплотную к Шафадие, так, что услышал его дыхание — в лицо ударил запах табака, перемешанного с чесноком и винным перегаром.

— Да ты что, смеешься? Или издеваешься?

Шафадие отступил на шаг:

— Зачем же так, джан Асаил. К чему понапрасну чернить свою кровь? Всем известно, что ты уже много лет ходишь без партбилета. Тебя выставили из партии, втоптали в грязь. А мы тебе желаем добра. Подумай, сколько нам осталось жить на белом свете? Давай, джан Асаил, хоть перед смертью послужим богу и народу.

— Чего там рассусоливать, — недовольно прервал Шафадие второй старик. — Государство платит тебе гроши. Какие-то паршивые полтыщи в месяц. А синагога

даст три тысячи. И ни копейки меньше. Это обещаю не я. Это обещает сам раби Хаим. Он не только отпустит тебе все грехи, но и установит твердый месячный оклад. Три тысячи рублей. Три тысячи, и никаких тебе налогов-ма-логов, ты только подумай!..

— Ну, как, по рукам? — широко улыбаясь, произнес Шафадие.

Асаил тяжело опустился на скамейку, вынул из кармана платок, вытер вспотевший лоб.

— Вон... вон... отсюда...

Старики не двигались, на их лицах ничего не отразилось, словно они ничего не слышали.

И вдруг Асаил почувствовал, что все его раздражение улеглось, а злоба исчезла. Он не сердился на этих людей, он их жалел. Ему стало жалко темных, ослепленных предрассудками стариков. Что они понимают в жизни, сызмала одурманенные и околпаченные раввинами. Им ли понять, что еще полвека назад, в духовной семинарии, презрев опасности, жестокие запреты и преследования, он избрал иную веру, единственную и справедливую, ту, что несет людям счастье. Служению ей он отдал все свои силы, а если понадобится, отдаст и жизнь. И никаким горестям и невзгодам, лишениям и бедам не сбить его с однажды и навсегда избранного пути.

Асаил вздохнул, глубоко и облегченно.

— А теперь идите... ступайте по домам и не теряйте попусту времени... Раби Хаиму можете передать, что у него много денег, но мало ума. Свой намус, свою честь, свои идеи человек не продает.

Сгущались сумерки. Фиолетовый вечер все плотнее окутывал землю, поглощая предмет за предметом.

— Ай, Асаил, иди чай пить!

Это звала мужа старуха Евдит.

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

Напротив дома Бебе мальчики посреди улицы играли в футбол. В воротах носился прыткий, как ртуть, низень-

кий мальчуган с лицом, испещренным веснушками. Голова его маковым цветом рдела на солнце. Это был Шамаил — сын Бебе Шамаилова.

— Эй, ты, рыжий — красный, человек опасный, держи мяч, не зьвай! — покрикивали ребяташки помладше, не допущенные к игре и толпившиеся на тротуаре.

— Ну, погодите, вы у меня схлопочете. Кончится игра — голову оторву, — приняв очередной мяч, пообещал Шамаил.

Нападающие усилили натиск. Один из игроков провалился к воротам. Шамаил изогнулся к прыжку. И вдруг:

— Ай, Шамаил, иди-ка сюда! — высунувшись из окна, позвала сына толстуха Либо.

Лишь на короткий миг мальчик скосил глаза в сторону матери, но этого было достаточно, чтоб мяч залетел в ворота.

Гол! Гол! — с восторгом завопили болельщики. — Рыжего на мыло! Мазиле — касторки!

Красный от злости, Шамаил сжал кулаки и бросился на оскорбителей. Со свистом и гиканьем ребяташки пустились наутек.

— Ай, Шамаил, чтоб тебя бог забрал! Чтоб я из-за тебя волос лишилась! Когда же ты, наконец, будешь слушаться!

Шамаил с досадой плюнул, вытер рукавом вспотевшее лицо и побежал домой.

— Сколько раз тебя звать, — набросилась Либо на сына, но тут же резко снизила голос и перешла на свистящий полусшепот. — Беги в город, за отцом. Опять этот пьяница запропал, пропади он пропадом! Поищешь возле кино. Если там не найдешь, сбегай на квартиру к Бенилу. Помнишь его? Тот самый, который тебе пугач подарил... Беги, и без отца не возвращайся.

День уже клонился к вечеру, когда Шамаил привел отца домой. Ни слова не говоря, Либо протянула мужу телеграмму. Бебе распечатал ее, прочел: «Четвертого но-

ября встречай московским поездом старом месте тчк Танхум.»

— Сукин сын! Сколько из-за него неприятностей. Понравилось паразиту ездить. Он гребет деньги, а я глотаю неприятности.

В комнату вбежала старуха Сенем, мать Бебе.

— Как тебе не совестно! Поносишь родного дядю. Моего единственного брата!..

Бебе снял фуражку, вытер потную лысину.

— Мама, когда дядю Танхума посадят за спекуляцию, кто опять пойдет его выручать? Ты? Нет, я пойду. Все заботы и хлопоты свалятся на мои слабые плечи.

— Да чтоб глаза мои ослепли, прежде чем я это увижу, — чуть не расплакавшись, сказала Сенем. — Неблагодарный, неужели ты забыл, что сделал для тебя дядя Танхум?

— Э, будет, мама, — досадливо отмахнулся Бебе.

Он с отвращением и тоской подумал о том, что поздней ночью придется ехать на станцию «Огни» встречать московский поезд, помогать дяде Танхуму тащить тяжелые чемоданы, грузить поклажу в машину, по-воровски, тайком переправлять в город.

«Ох, дяденька Танхум, дяденька Танхум! Каким ты был, и каким ты стал».

На гребне трагической волны тридцать седьмого года Танхум с головокружительной быстротой взлетел. И так же скоропалительно был низвергнут. События, происшедшие в Дербенте, помогли ему, малограмотному и недалекому, стать секретарем райкома. Но и коммунистам района понадобилось не много времени, чтобы раскусить Танхума. Как не оправдавший доверия, отставший от жизни человек, он был снят с высокого поста.

Жизнь Танхума напоминала заячий след на снегу, такой она была путаной. Сын бедняка, он и сам был бедняком, безнадежным, неудачливым, как говаривали в старину на Руси, бесталанным. Он рано осиротел и с малых лет только и знал, что мыкал горе. Родня, а она была состоятельной, вспоминала о мальчугане лишь тогда, когда он,

изголодавшийся и оборванный, приходил с праздничными поздравлениями. Его жаловали обедками, торопливо одаривали обносками и выставляли за дверь под благовидным предлогом, а чаще всего без него.

Родственные чувства богатых благодетелей пробуждались лишь тогда, когда надо было обработать виноградники или убрать урожай. Тут посылали за Танхумом, и он на правах родственника работал за троих, получал вдвое меньше наёмного батрака.

Наступила НЭП. В Дербенте, словно по мановению волшебной палочки, пооткрывались частные магазины. Они росли, как грибы после дождя. День ото дня их становилось больше и больше. Один из богатых дядюшек, стремясь уменьшить налоги, придумал хитроумную комбинацию — записал свои многочисленные лавки на бедных родственников. Естественно, что к проведению этой операции был привлечен и Танхум. И вот вчерашний бедняк за небольшую мзду преобразился в коммерсанта.

Впрочем, он очень быстро понял, что втянут в грязную и недостойную игру. Танхум, — надо отдать ему справедливость, — нашел в себе мужество прийти в горфинотдел, открыто признаться во всем и разорвать фиктивный торговый патент.

А когда в Дербенте возник колхоз, Танхум одним из первых вступил в него и честным трудом завоевал всеобщее уважение.

Вскоре он подал заявление о приёме в партию. На собрании неожиданно разгорелся жаркий спор. Одни возражали против приёма, ссылаясь на нэпманское прошлое Танхума, другие, наоборот, хвалили его и ставили в пример, как передового колхозника. Правда, и эти смущенно сникали, когда с места неслись реплики о том, что, мол, бывшим торгашам не место в партии. Исход дела решил Асаил, присутствовавший на собрании в качестве представителя райкома. Он разъяснил истинную суть того, что в свое время произошло, и Танхум был единогласно принят в партию.

Тот, кто однажды отведал шашлыка из барашка, не довольствуется постной похлебкой. Пока Танхум был рядовым колхозником, он не сетовал на свою судьбу. Добросовестно трудился, работал, не жалея сил.

Но стоило ему занять кабинет секретаря райкома, с большим тэобразным столом, обитым зеленым сукном с глубокими кожаными креслами, чьи сиденья так мягко пружинят, с двумя телефонами и секретаршей, мгновенно, по первому же звонку, появлявшейся в дверях, как недавнее прошлое показалось ему дурным сном, а физический труд невыносимо тяжелым и отталкивающим занятием.

Немудрено, что падение с руководящих высот он воспринял как катастрофу. Разумеется, о возвращении в колхоз Танхум и слышать не хотел. «Как же так можно, — рассуждал он, — из секретаря райкома да в рядовые колхозники. Это все равно, что с призового иноходца пересест на ишака».

Бебе в то время заведовал винным подвалом колхоза. Он помог своему дяде вывезти несколько бочек вина в центральные области страны, где они были с крупной выгодой проданы.

Путь легкой наживы, хотя и скользкий, но накатанный. Ходить по нему неустойчиво. Привыкнув же, сойти с него трудно.

Раз за разом Танхум все больше пристращался к поездкам. Теперь он регулярно отправлялся в далекие города, сопровождал вагоны с вином. Обрато же возвращался с товарами, дефицитными в Дагестане. Они шли на толкучку, где продавались втридорога,

Так, шаг за шагом Танхум превращался в заправского спекулянта.

Однажды он сошел с поезда, нагруженный двумя огромными чемоданами. Согнувшись под тяжестью ноши, Танхум трусил по перрону, когда к нему подошел милиционер.

— В чем дело? — бодрясь, небрежно осведомился Танхум.

— Прошу пройти в отделение.

– Вы не имеете права. Я только что вернулся из командировки...

– Гражданин, прошу следовать за мной.

Весть о том, что Танхума арестовали, разнеслась по городу мгновенно. Узнав о случившемся, старуха Сенем завyla в голос, рванула на себе волосы и рухнула на пол, к ногам сына:

– Спасай, спасай моего брата. Иначе я убью себя!

Бебе раскричался, набросился на мать, обозвал дядю безмозглым ишаком. Но делать было нечего. Он наспех оделся и побежал в город, к друзьям и знакомым.

В конце концов всеми правдами и неправдами ему удалось добиться того, что дядюшку Танхума отпустили с миром.

Из всего случившегося пострадавший извлек лишь один урок: надо быть осторожнее и осмотрительнее. Теперь часть закупленных товаров он отправлял по почте посылками на адрес сестры, тети, соседа. С остальным же багажом доезжал до станции «Огни», либо до разъезда, а оттуда до города уже добирался машиной.

Отныне он ездил не один, а с Ханукой, сыном старого Эсефа. Обзавестись напарником ему посоветовал Бебе.

– С ним тебе будет удобнее. Все-таки член партии, колхозник. Меньше будет придирок в пути...

Сенем накрыла на стол, принесла ужин, поставила графин с водкой.

– Не сердись, сынок. Поужинай – и в добрый путь.

Старуха искоса взглянула на невестку. Либо отвернулась к окну. По тому, как она передернула плечами, было ясно, что предстоящая поездка мужа ей явно не по душе. Либо была умна и хорошо понимала, что вояжи рано или поздно приведут Танхума к конечной станции, окна которой украшены решетками. Судьба дядюшки не очень ее волновала, зато будущее мужа невероятно тревожило. Но больше всего ее раздражало и злило то, что Бебе может пострадать ни за что, ни про что, как думалось ей. Ведь никакой выгоды от дядюшкиных коммерческих операций Бебе не получал. При всем своем уме Либо никогда не

могла понять, как можно жертвовать собой ради другого, пусть самого близкого человека. Даже тогда, когда ее родной отец, торговавший в городе вином, приходил к Бебе за помощью и советом, она, оставаясь с мужем наедине, настойчиво требовала:

— Не связывайся с отцом. Пусть заботится сам о себе. Знай, если он будет тонуть, так потянет и тебя на дно. Пораскинь умом. Найди подходящий предлог и выстави его из дому. Без шума, культурно и вежливо. Чтоб не было обиды и комар носу не подточил... Запомни, Бебе, умная осторожность — мать всех добродетелей. Глупый риск — отец всех пороков.

Но против Танхума она была бессильна. Сейчас Либо ничего не могла поделать. Даже облегчить свою душу бранным словом не могла. На каждое ее слово последовал бы шквал ругательств и проклятий. Недаром старая Сенем на весь Дербент славилась своим языком. Она была испытанным бойцом, в схватке с которым всякий был заранее обречен на поражение.

Либо никогда не теряла способности трезво соразмерять свои силы. А они были явно неравны, она хорошо это понимала. Бебе слишком любил мать и был слишком равнодушен к жене, чтобы в угоду ей не исполнить материнской воли. Так что Либо оставалось лишь молчать и смириться, что еще больше раздражало и бесило ее.

Бебе выпил несколько рюмок водки и подобрел.

— Ладно, мать. Так и быть, поеду. Только ради тебя.

На станцию Огни он приехал задолго до прибытия московского поезда и, чтобы как-то скоротать время, направился в буфет. Здесь пахло пивом и селедкой.

— Пару пива, сто грамм сыра и порцию гороха.

Буфетчик, заспанный малый в несвежей белой куртке, накачал пиво, вздув пену на добрую четверть кружки, нарезал сыр, взял со стойки тарелку с горохом и, шаркая шлепанцами, принес заказ.

Бебе вытер рукавом плаща залитый пивом столик, смахнул на пол огрызки хлеба, яичную скорлупу и кинул на буфетчика недовольный взгляд. Того это нисколько не

смutilo. Вытащив из кармана носовой платок и смачно высморкавшись в него, он, все так же шаркая вернулся за стойку.

— Ва, Бебе! Какими ветрами тебя занесло?

В буфете появился Салман, заведующий мучным складом в поселке Огни.

— Здорово! Садись пиво пить. У меня тут дело. А ты почему так поздно здесь?

— Только с работы. Задержался на складе. Была ревизия. Приезжал представитель уполминзага. Ты его должен знать. В свое время старик был большим человеком.

— Асаил Бинаев?

— Он самый.

— Ну и как, поймал? Обнаружил недостачу?

— Не на того напал, — Салман подмигнул и заливисто расхохотался. — У нас, как в аптеке, полный ажур, с точностью до единого грамма. Старик даже похвалил. Молодец, говорит, действуй и дальше в таком же разрезе, — он отхлебнул пиво и со вкусом пожевал моченую горошину. — Я так обрадовался, что решил отблагодарить старика. Когда он закончил ревизию и подписал документы, я возьми, да и ляпни: «Асаил-даи, давайте я вам отсыплю немного муки. Килограммчиков десять-пятнадцать. Детям на хинкал...» Ты бы посмотрел, что с ним стало. Вай-вай-вай, как разорется: «Харрамзада, молокосос, плут! Хочешь купить меня! Норовишь взятку всучить!» Я, признаться, опешил. «Какая там взятка, Асаил-даи, просто хотел удружить твоим детишкам, подкинуть муки на хинкал». А он еще пуще разоряется: «Чей это склад, твой? Чья это мука, твоя? Ты эти штучки брось, бесхвостый ишак! Мука государственная, народная, заруби это себе на носу! «Детишкам на хинкал!» Да я тебя за такие слова сволоку в милицию!» Боже ты мой, только этого мне не хватало... Я и так, и сяк. Еле успокоил старого черта... Вот такие дела, земляк.

— Так тебе и надо, — Назидательно проговорил Бебе.

— Знай, кому давать и с кого брать.

— Клянусь аллахом, — осклабился, показав ровные белые зубы Салман, — такого бешеного старика я еще в жизни не видел.

— Ничего, это тебе наука. Будешь наперед умнее!

Салман отправил в рот пригоршню гороха, поблагодарил за угощение, встал, попрощался.

Бебе вышел на перрон. Здесь было тихо и тепло. Где-то за путями прокукарекал петух.

Из здания вышел дежурный по станции и зазвонил в колокол.

— Какой прибывает?

— Московский.

Бебе засутился, выбежал на станционную площадь. Возле калитки, ведущей на платформу, стоял грузовик. В кабине спал шофер, уткнувшись в баранку руля.

— Чья машина? — растолкав шофера, спросил Бебе.

— Совхозная.

— В город подвезешь?

— Почему бы нет.

— Подожди до поезда. Сейчас прибудет. Подкинешь вещички.

— Не пойдет. На каждом шагу контроль. Проверяют путевки и путевые листы. Застукают с грузом, тогда полная хана.

— Даш-баш получишь. Солидный. В обиде не останешься.

— Эх, была-не была — махнул рукой шофер. — Где наша не пропадала. Только вот что, я отъеду в сторонку. Туда вон, за тот большой дом. Видишь, где горит фонарь.

— Ладно.

Послышался протяжный свисток. Бебе бросился на перрон. Вдалеке возник из тьмы светящийся глаз. Он все рос и рос. И вот уже, пыхтя и рыча, обдавая запахом масла и металла, паровоз проскочил станцию и, лязгнув вагонами, остановился у водокачки.

Бебе скользнул взглядом вдоль состава. Никого. Перрон пуст. Лишь вдали, у паровоза, чернела одинокая фигура дежурного по станции. Он махнул фонарем, и по-

езд отправился. Когда последний вагон, печально мигнув на прощанье красным огоньком, скрылся за поворотом, на перроне выросли два чемодана, а за ними показался человек. Озираясь по сторонам, он влез на высокую платформу, встал на ноги и помахал рукой. Это был Танхум.

— А где Ханука?

— Там, — не оборачиваясь, кивнул в сторону путей Танхум, — мы высадились с тыла.

Танхум сиял. Он был очень горд своей хитроумной выдумкой.

— Идиоты. Конспираторы. Хорошо еще, что никто не видел.

Бебе с трудом взвалил на плечо чемодан:

— Я пойду, а ты погоди. Выходить будем по одному. В случае чего, я тебя знать не знаю. Понятно?

— Подождем Хануку.

— Нагонит.

— Как дома, все в порядке? — еле переводя дыхание, спросил Танхум, когда они подошли к машине. — Как детки? Как мать? Не болеет?

— Все в порядке, — сквозь зубы процедил Бебе. Подошел Ханука, широкоплечий, румяный мужчина с черными усиками и круглыми, нагломерно поблескивающими глазами.

— Ну, вот мы и дома, — проговорил он и поставил чемоданы на мостовую. — Я вижу, у тебя полный порядок, Бебе. Встреча организована на высшем уровне... А это что за драндулет? За нами?

— Не звони. Шофер торопится.

Они погрузили вещи. Бебе сел в кабину, Танхум и Ханука забрались в кузов. Шофер включил газ. Машина взревела и понеслась, рассекая ночную мглу.

— Куда? — спросил шофер, когда подъехали к новому поселку у Кафари-Капы.

Бебе назвал свой адрес. Ехать прямо к Танхуму он не решился, опасаясь, что за Танхумом следят.

Сенем встретила их громкими рыданиями. То были не слезы радости, благостные и очистительные. То были сле-

зы, выплескивающие злость, накопившуюся за долгое время, горькие, как полынь, и тяжелые, как свинец.

— Вай, вай лучше бы мне умереть, чем так страдать и мучиться, — пронзительно противным голосом причитала она. — Лучше бы мне не видеть белого света, чем увидеть родного брата опозоренным. Лучше бы мне лечь в могилу, чем бессонными ночами лежать и думать, что он уже сидит за решеткой. Лучше бы мне...

Бебе устало проговорил:

— Хватит, мама. Твой брат цел и невредим. Чего тебе еще надо?

— Ладно, ладно, сестра, — примирительно затараторил Танхум. — Не убивайся, я пока еще жив. Пусть лучше подохнут мои враги и милиционеры. Ты только посмотри, что я вам привез. Ну-ка, открой зеленый чемодан, — велел он Хануке.

Тот встал, раскрыл чемодан и вынул коричневые детские ботинки. Их кожа искрилась веселым глянцем.

— Ну, как?

— Хороши! Ой, до чего ж хороши.

— То-то же. Это для моего племянника Шамаила... А это тебе, сестра, — он взял у Хануки теплый оренбургский платок и передал сестре.

И, странная вещь, Сенем, за минуту до того плакавшая навзрыд, повеселела. Укутавшись в мягкий, как пух, платок, она сияла радостной и счастливой улыбкой. Уж так сильна власть вещей над людьми. «Спасибо, родные спасибо, милые!»

А в соседней комнате лежала Либо. Шум голосов разбудил ее. Привстав на локте, она прислушивалась к разговору и мысленно слала проклятия и Танхуму и Хануке. «Дай вам бог тяжелой смерти, шакалы бесхвостые. Тянете нас в беду, чтоб вас черти в ад потянули. А если в дом нагрянет милиция, что тогда?»

Она закашлялась. Из соседней комнаты потянуло дымом, едким и смрадным. Это Танхум закурил свою неизменную трубку, набитую самосадам. Слышно было, как зазвенели стаканы, забулькала жидкость. Мужчины пили

вино. Сенем на радостях расщедрилась и выставила целую четверть.

Когда бутылъ была опорожнена, Бебе проговорил:

— У меня с тобой, Ханука, разговор, — он покосился на дядю, — деловой, серьезный, с глазу на глаз.

— Секретничать? Родному дяде не доверять, — срывающимся голосом, с трудом выговаривая слова, забормотал Танхум. Он был уже изрядно пьян.

Бебе даже не взглянул в его сторону. Молчал он и всю дорогу, пока вместе с Ханукой провожал Танхума. Только после того как за дядей захлопнулась калитка, он заговорил. Хотя говорил он негромко, голос звучал гулко на улице, притихшей в ночи.

— Вот что, Ханука. На этой неделе в нашем колхозе состоится отчётно-выборное партийное собрание. Ты знаешь, у меня всюду есть уши. Так вот, в райкоме недовольны Рахманом. Очень недовольны. Зарвался он, потерял бдительность. Есть мнение — освободить. Думаю, ты, как дисциплинированный член партии, сделаешь соответствующие выводы.

— Какие? — Ханука во всем, что не касалось коммерции, сообразительностью не блистал.

— Какие, какие, — передразнил Бебе, но тут же сдержался и с кроткой терпеливостью стал разъяснять: — Целиком и полностью поддержишь райком. Выступишь на собрании против Рахмана.

— Насчет этого будь спокоен. За мной дело не станет.

Ханука давно точил зуб на секретаря. В прошлом году его вызвали на партийное бюро и в течение получаса отчитывали при всем честном народе, «К лицу ли тебе, коммунисту, — говорил Рахман, — уваливаешь от работы в колхозе и разъезжаешь по стране с вином. Ты подаешь дурной пример. Смотри, все это для тебя плохо кончится».

Прямых доказательств того, что Ханука, сопровождая вагоны, занимается спекуляцией, не было. Поэтому все ограничилось вызовом на бюро. Тем не менее Ханука пережил немало неприятных минут. Он поспешил покаяться, признал свои ошибки, поблагодарил за критику и тут же

покаялся про себя при первом удобном случае отомстить Рахману.

Теперь этот случай представился.

Он остановился, закурил, взял под руку Бебе, и они зашагали дальше по темным и пустынным улицам.

— Да, давно пора покончить с этим типом.

— Все зависит от того, как на собрании поведут себя коммунисты.

— Как райком скажет, так и поведут.

— Так-то оно так, но у него немало сторонников.

— А мы сделаем так, что все сторонники замолчат в тряпочку, — Ханука верил в свои силы.

Дойдя до перекрестка, они распрощались. Каждый пошел своей дорогой.

Придя домой, Бебе снял сапоги, взял в руки и на цыпочках, чтобы не разбудить мать, прошел в спальню.

Здесь стояла спокойная тишина. Либо спала.

Бебе обрадовался. Всю дорогу, покуда он шел домой, его не покидало неприятное ощущение чего-то неотвязно сосущего. Что это и откуда оно пришло, он, как ни силился, не мог понять. Казалось бы, все устроилось наилучшим образом. Танхум благополучно высадился, с Ханукой удалось легко и быстро договориться. И все же неприятное чувство ни на минуту не оставляло Бебе. И только сейчас оно исчезло, уступив место успокоению. Оно исчезло потому, что Бебе вдруг понял, чем это чувство рождено ожиданием тягостного разговора с Либо, смутным ожиданием попреков, криков, рыданий.

Либо спала, и это было хорошо, ибо что может быть хуже семейной сцены в глухой ночи, когда человек желает лишь одного — покоя. В комнате было душно. Бебе подошел к окну и растворил его. В спальню ворвался холодок. Он прогнал тяжелую, застоявшуюся смесь прогорклого табачного дыма и притворно душистого запаха косметики. Косметические средства были слабостью Либо. Она употребляла их в невероятном количестве, наивно надеясь в какой-то мере скрасить свою комплекцию. Обычно это вызывало едкие и оскорбительные замечания мужа:

«сколько корову ни мажь, все равно коровой останется», «трухлявый дом не спасешь штукатуркой». Но сейчас он был настолько доволен, что оставил без внимания косметические буйства жены.

Бебе быстро разделся и юркнул под одеяло. Приятное тепло налаженной супружеской постели обьяло его, расслабило и мягко повлекло к той невидимой черте, за которой начинается сонное забытие. Еще минута — и он бы уснул, да вдруг почувствовал, как рядом с ним, вплотную с его спиной, содрогается спина Либо.

Первым его намерением было притвориться спящим. Но рыдания Либо не прекращались. Если бы она кричала, бранилась, шипела, он хитростью, а быть может грубостью, принудил бы ее замолчать. Но она только плакала. И это беззвучное горе, ни к кому не вызывающее, отчаянно безответное, лишило его привычных средств самозащиты. Он вдруг почувствовал жалость, обезоруживающую жалость к человеку, находящемуся рядом, беззащитному, одинокому, брошенному на произвол.

Бебе повернулся к жене и погладил ее по щеке.

— Ну, ладно, ладно, Либо... Все обошлось... И все будет в порядке... Не волнуйся, никакая милиция нас не заметила, — он искал успокоительных, ласковых, добрых слов, а находил какую-то чушь, глупую и пошлую.

— Тебе нет никакого дела до нас. У тебя семья... Ты не думаешь о ней. Тебе наплевать на всех нас. Иначе ты не стал бы связываться ни с дядей Танхумом, ни с этим прохвостом Ханукой...

Она с трудом, сквозь слезы и спазмы рыданий выговаривала эти слова, хотя все они ни на йоту не выражали того, что она чувствовала, что должна была и не могла выразить. А должна она была сказать лишь несколько слов, простых и мудрых, — нельзя жить годами вместе, не любя другого и помыкая им.

И потому, что она не находила нужных слов, в ней нарастало новое чувство, тяжелое и злобное.

— Ты эгоист. Ты разбил мою жизнь. Лучше бы мне умереть, чем так жить.

Чем больше она озлоблялась, тем меньше жалел ее Бебе. Теперь и в нем начинала вскипать злость. Чтобы подавить ее, он сделал последнюю попытку: протянув руку, приласкал грудь жены, большую, расплывшуюся, слабо вздрагивающую под его пальцами, как оттаивающий студень.

— Отстань! Не трогай меня! — взвизгнула Либо и вскочила с постели. Тяжело прошлепав босыми ногами по полу, она подошла к прикрытой тюлевой занавеской нише, достала ватный матрац, бросила на пол и легла.

— Подумаешь, наказала. Очень ты мне нужна. Тоже мне лакомый кусочек.

— Я знаю, я знаю, что я тебе не нужна, — неожиданно оскорбилась Либо. — Я прекрасно знаю, что у тебя хватает баб!..

Разгорался обычный скандал. Приглушить его было для Бебе привычным, пустяковым делом,

— Укороти свой язык, разбудишь мать, — он знал, чем пригрозить. Либо мгновенно смолкла. Лишь время от времени доносились ее глухие всхлипывания, но Бебе уже не обращал на них ни малейшего внимания. Он думал о своем, перебирая в памяти прошлое и настоящее. Всплывали лица, одно не похожее на другое. Но ко всем людям Бебе относился одинаково холодно и равнодушно. Все были ему абсолютно безразличны. Они существовали лишь постольку, поскольку в данный момент были ему нужны, либо постольку, поскольку в данный момент он должен был с ними бороться. И лишь один человек оставил в его жизни неизгладимую борозду — Хумор, та самая Хумор, что презрела и отвергла его любовь ради своей любви к Рахману, пронесенной сквозь свирепые бури войны. И сейчас, в этот рассветный час, когда ночная тьма сменяется зыбким предутренним сумраком, пред мысленным взором Бебе встала Хумор, гибкая, вечно юная, с высокой грудью и тонкой, девичьей талией.

Он попытался представить ее нагой. И не смог. Это огорчило и опечалило его. И тогда в воображении возникли другие женщины, которых он близко знал — пыш-

нотелая блондинка Тамара из ресторана, черноокая вдова Аснат...

Воскресив в памяти пережитое, Бебе незаметно для себя успокоился и вскоре заснул.

ПОКА НЕ ПОЙМАН ВОР

Небольшой зал колхозного клуба был переполнен. Несмотря на то, что все окна были распахнуты, в зале было душно. Хотя уже наступила глубокая осень, на дворе стояла теплынь. В широких окнах медленно проплывали одинокие облака — белые подвижные островки среди нежно-голубой спокойной лазури.

Рахман заканчивал отчетный доклад. По тому, как слушали люди, по тому, как блестели их глаза, он видел, что слова его не оставили их равнодушными. Неудивительно: доклад был деловым, конкретным, нелицеприятным. Он затрагивал насущные вопросы жизни колхоза, волновавшие каждого. Рахман напрямую говорил о недостатках, не щадя никого, в том числе и себя.

— Во всех наших недостатках, — заключил он, — повинны члены партийного бюро и прежде всего я, секретарь партийной организации. Думаю, вновь избранное бюро учтет наши ошибки и промахи, исправит и устранил их.

Люди слушали внимательно, заинтересованно, в этом Рахман не ошибался. Он не понял другого — каждый воспринимал услышанное по-своему и диаметрально противоположно оценивал его. Ахмед, к примеру, на заключительную фразу прореагировал так: «Молодец, правильный вывод сделал».

Совсем иначе расценил ее Ханука: «Хитер, сукин сын, хочет отвести от себя критику. Шалишь, этот номер не пройдет. Не на таких напал».

Ханука вскочил и выкрикнул с места:

— Товарищ Рахманов, не морочь нам голову. Не создавай видимость самокритики, лучше скажи, и честно, по-партийному, скажи, с кого спросить за огромные потери

при уборке урожая? Подумать только, сколько вложили труда и сколько винограду пустили ишаку под хвост!

Кровь прилила к лицу Рахмана. Кто бы другой говорил, а то Ханука — перекасти-поле, кочевник, готовый хоть на край света уехать, только бы не работать в колхозе.

— Товарищ Ханука, у русских есть пословица — чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.

Не успел он этого сказать, как понял, что допустил оплошность, — попал в капкан, поставленный Ханукой.

— Вай, вай, вай, товарищ Рахманов, — Ханука сиял от удовольствия, — ты что, хан, бек, шах, падишах? Это они запрещали критиковать себя.

По залу прокатился неодобрительный шумок. Председательствующий Мукаил постучал карандашом по столу.

— Товарищ Ханука, сначала вопросы, а потом уж выступления. Начнутся прения, возьмете слово.

— Я отвечу, — сказал Рахман. — В работе партийного бюро было немало недостатков. Я уже говорил о них. Мы, конечно, виноваты. Но одни ли мы? Вот ты, товарищ Ханука, ты, коммунист, чем ты помог партийному бюро и колхозу? В самую трудную пору, в разгар уборки бросил дело и поехал на Дальний Восток торговать виноградом. А твой отец, старый Эсеф, он что сделал? Вместо виноградника отправился в синагогу. Вот ты и ответь, кто прав и кто виноват?

— Это не ответ, товарищ Рахманов, — сквозь зубы процедил Якубов. Прямой и каменно неподвижный, сидел он в президиуме, олицетворяя собой настороженную подозрительность. — Здесь отчитывается не товарищ Ханука, а партийное бюро. Вот о его работе и следует говорить.

«Что он на самом деле, не знает, что ли, куда гнет Ханука?» — досадливо поморщился Ахмед.

Не понравилась реплика Якубова и Мукаилу, но он тоже промолчал, — как-никак инструктор райкома. Ему лучше знать, в какую сторону гнуть. Мукаил облегченно вздохнул, когда со своего места поднялся старик Адигезал.

– Прошу вас, Адигезал-даи.

– Скажи, пожалуйста, товарищ Якубов, – начал старик, он заметно волновался, – неужели тебе ничего не известно о де.ишках Хануки. Я думал, райком поругает партийное бюро за мягкотелость, а ты, наоборот, ополчился на Рахмана. Как думаешь, зачем здесь выступил Ханука? Чтобы отеести от себя удар. Как говорится в народе, пока потерпевший не успел поймать вора, вор норовит поймать потерпевшего.

– Я не вор! Воры другие! – крикнул Ханука.

В зале поднялся невообразимый шум. Мукаил с трудом навел порядок,

– Товарищи! Тихо! Тихо! Товарищи! Есть еще вопросы к докладчику?

– Есть. Кто из колхозных агитаторов проводил беседы на антирелигиозные темы?

«Вот он, еще один капкан», – подумал Рахман.

– Наши колхозные агитаторы, товарищ Якубов, к сожалению, не подготовлены к проведению антирелигиозных бесед.

Якубов ядовито усмехнулся, одними губами, глаза остались холодными и пронзительно недоверчивыми:

– Чтобы из всей армии коммунистов нельзя было подобрать нескольких агитаторов... Странно, в высшей мере странно. Впрочем, допустим, вы правы. Но разве это дает основание передоверять воспитательную работу кому попало, всяким чужакам?

– Кого вы имеете в виду? – угрюмо бросил Рахман.

– Вам лучше знать, – Якубов пожал плечами и что-то записал на бумажке, – Впрочем, прения еще не начались, прошу прощения.

– Ничего, ничего, пожалуйста, – из реплики Якубова Мукаил уловил, что райком настроен против Рахмана и принялся соображать, как вести себя дальше, чтобы не попасть в незавидное положение человека, не угодившего, и хуже того, неугодного начальству. До сих пор он считал Рахмана хорошим секретарем, вполне достойным переизбрания.

Чтобы скрыть свое замешательство, Мукаил поспешил объявить прения открытыми.

Ханука, Якубов и некоторые другие ораторы резко критиковали бюро и секретаря. В их речах было немало горькою, но справедливого, с чем нельзя было не согласиться. Но не меньше, а может, и больше было злобной демагогии. На этом собрании, явно направляемом Якубовым, совершенно неожиданно раскрылись люди. То дурное, что в некоторых лежало под спудом, всплыло. Больше всех поразил Рахмана бригадир соседней бригады Рамазан.

— Я прямо скажу, — заявил он, — Рахман возгордился, у него от успехов закружилась голова. Поэтому вся воспитательная работа запущена.

— Это ложь! — выкрикнул с места Ахмед. — Разве в нашем колхозе...

Якубов нахмурился. Мукаил, — он все время поглядывал на Якубова, следя за его реакцией, — резко постучал карандашом по столу и оборвал Ахмеда.

— Не перебивай меня, товарищ Ахмедов, — продолжал Рамазан. — Учись слушать правду, хотя она и колет глаза. Ты беспринципен, потому что прикрываешь своего дружка. В угоду приятельским отношениям ты замазываешь ошибки Рахмана.

И Рамазан с новой силой обрушился на секретаря.

— Правильно! Правильно Рамазан говорит! Молодец! Вот это да! Вот это по-партийному! — радостно кричал с места Ханука, и Мукаил уже не призывал его к спокойствию.

— Нет, неправильно! — раздался громкий возглас из зала. По проходу, слегка прихрамывая и опираясь на палку, шел старик Адигезал. — Правильно, что в этом году мы потеряли часть урожая. Но разве только один Рахман виноват в этом? Почему Мукаил тихонько кивает головой на речи Хануки и Рамазана? А где был он? Где было правление? Разве они не отвечают за работу? Надо найти в себе мужество и смело признать и свою вину. А не отыгрываться на секретаре партбюро.

Старик, хромая, покинул сцену.

Мукаил вытер цветным клетчатым платком вспотевший лоб. Он рассчитывал отмолчаться на правах председателя собрания, однако после выступления Адигезала увидел, что это невозможно.

Мукаил говорил медленно, осторожно, старательно подбирая слова, выбрав дважды, а то и трижды, повторяя те, что заканчивали фразу. Он напоминал человека, переходящего ручей по камням: ступит на камень, постоит, потрогает протянутой ногой соседний и, только уверившись в его надежности, двинется дальше.

Он не стал спорить с Адигезалом. Напротив, признал критику в свой адрес правильной. Он даже произнес несколько покаянных фраз по поводу того, что выдал Хануке справку и отпустил в самый разгар уборочных работ.

Но он не стал возражать и Хануке с Рамазаном в их нападках на Рахмана. Словом, действовал согласно пословице «чтобы не сгорел ни шашлык, ни палочки».

Когда началось выдвижение кандидатур, Якубов снова напомнил об ошибках Рахмана. И все же коммунисты настояли на том, чтобы его фамилию внесли в список для тайного голосования.

В результате в новый состав бюро вошли Рахманов, Ахмед, Мукаил...

Собрание закончилось. Все разошлись. Остались члены бюро. Они собрались на сцене, за столом президиума. Прежде торжественный и нарядный, он теперь выглядел жалким, с бесстыдно оголенными ножками и черной доской, исполосованной щелями, трещинами и царапинами. Заведующий клубом, уходя, стянул со стола шелковую красную скатерть с длинной бахромой и запер в шкаф.

Якубов, — он, как представитель райкома, вел заседание, — с места в карьер, чтобы опередить других, предложил избрать секретарем Ахмеда.

— Это зачем же, — вскинулся Ахмед. — Рахман ничем себя не запятнал. Ему и быть секретарем. Тем более, что у него богатый опыт.

— Вот-вот, пусть и поделится им. Против товарища Рахманова мы ничего не имеем. Он вполне может быть заместителем. Надо же и другим поработать...

Члены бюро не стали возражать. Секретарем избрали Ахмеда, заместителем Рахмана. На том и разошлись.

На улице уже было совсем темно. По черному небу неслись рваные облака. Заметно похолодало. С моря дул резкий ветер. Он рвал с деревьев сухие листья, и они, печально шурша, кружили по земле.

— Да ты никак обиделся? — поравнявшись с Рахманом, участливо спросил Якубов.

— За что?

— За то, что не выбрали секретарем, — Рахман не видел в темноте его лица, но чувствовал, что Якубов сверлит его глазами, с нетерпением ожидая ответа.

— Разве пост секретаря партбюро является пожизненным?

— Молодец, правильно оцениваешь, — вяло протянул Якубов. Он был явно разочарован.

Дальше шли молча. Слышно было, как под ногами шелестит палый лист.

— Чего молчишь? — наконец не выдержал молчания Якубов,

— О чем еще говорить. На собрании все сказано-пересказано.

— Ты несколько не так понял меня.

— Вам в какую сторону?

Направо, а тебе?

— Мне в противоположную...

Рахман направился не домой, а на вокзал. «Зайду в ресторан, — решил он, — может, привезли свежее пиво».

Час был поздний, и ресторан оказался закрытым. Рахман постучал в дверь. Никакого ответа. Снова постучал, теперь сильнее. То же самое. Он забарабанил кулаками. За дверным стеклом показался швейцар, высокий худощавый мужчина с черной эспаньолкой, торчащими в разные стороны острыми концами усов, в униформе, обшитой золотыми галунами.

— Чего ломишься, не видишь — закрыто! — прокричал он сквозь стекло, свирепо вращая белками и топорща усы.

Рахман выругался про себя и пошел прочь. Его остановил окрик.

— Эй, эй, стой! — кричал усач. — Ты, видать, сын Азиза, а?

Рахман обернулся и кивнул головой.

— Вай, вай, так бы сразу и сказал. Я же его первый друг, Хизгия. Не слышал? Тем хуже для тебя... Ну-ну, проходи, — он пропустил Рахмана вперед и запер дверь на ключ и на массивный крючок.

В ресторане было пустынно. На безлюдных столиках сиротливо белели скатерти, тускло посверкивали металлическими крышечками солонки и перечницы. За высокими окнами нескончаемо грохотал проходящий товарный состав.

Рахман направился к буфету и вдруг остановился, как вкопанный, посреди зала.

За столиком, в углу, сидел человек с сильно поредевшими, некогда курчавыми волосами. У ног его стоял небольшой дорожный чемоданчик. Занятый едой, он не видел Рахмана. Когда тот подошел и окликнул его: «Юсупов!» — он выскочил из-за стола и сгреб Рахмана в объятия.

— Вот тебе на, — с мягкой укоризной проговорил Рахман, — ты в Дербенте и даже не показался на глаза. А еще называется друг.

— Да ты не обижайся, я и в городе-то не был, — Юсупов усадил Рахмана за столик, налил из графинчика водки. — Я проездом из Касумкента, ездил по срочным делам. Меня подбросили на колхозной машине до станции, а через час и поезд подойдет.

Он окинул взглядом зал и поманил официантку. Она подошла, украдкой позевывая в кулак.

— Принесите что-нибудь товарищу.

— Ресторан закрыт.

— Голубчик, дорогушенька, выручайте. В честь встречи фронтовых друзей.

— Что с вами поделаешь, — девушка вздохнула и приняла заказ.

Рахмана с Юсуповым связывала не только война. Они знали друг друга еще с тех давних лет, когда мальчишками повстречались в лесу под Кулларом. Случилось это вскоре после окончания гражданской войны. Азиз, гонимый голодом, собрался на село убирать хлеб, и Рахман увязался за ним. Как ни отговаривал отец, — в те годы в деревне лютовали кулаки и поездка была далеко небезопасной, — мальчик упорно стоял на своем. Он плакал, просил, умолял, пока Азиз, скрепя сердце, наконец, не согласился.

Посевы пшеницы находились на лесных полянах. В жаркий июльский полдень Азиз и его друзья, в белых бязевых рубахах и шароварах, повязавши головы платками, косили хлеб. Маленький Рахман играл в траве у опушки леса, подле оросительного канала. Спокойную тишину нарушал лишь далекий посвист кос, щебетанье птиц.

Вдруг раздался испуганный крик:

— Змея!.. Змея!.. Сейчас ужалит мальчика!

К Рахману, отчаянно размахивая руками, бежал вихрастый паренек с перекосившимся от ужаса лицом. Это был Шими Юсупов, он вместе со своим отцом тоже приехал на уборку хлеба. Следом за ним, привлеченный его криком, спешил высокий худой старик — Мардахай Овшалум. Задышавшись от быстрого бега, он наскочил на Рахмана, сбил его с ног, и отбросил в сторону. Затем остановился, с минуту постоял, чуть раскачиваясь на широко расставленных длинных ногах, и двинулся вперед, медленно и осторожно. Вдруг на солнце сверкнула сталь. Мардахай выхватил кинжал. Прыжок — и старик настиг огромную змею, готовившуюся напасть на Рахмана.

— А я здорово тогда перетрусил. Сколько лет прошло, а до сих пор помню.

— Еще бы. Такое не забывается. А потом мы услышали выстрел. Побежали к дороге...

— И увидели дядю Асаила. На земле, подле раненой лошади.

– Да, кулачье ненавидело его. Как он сейчас?
– Болеет.
– А как с партийными делами? Все еще не восстановили?

– Нет. Написал в ЦК. Ждет ответа.
– Ты бы помог ему, Рахман. Как секретарь парторганизации, ты...

– Пробовал, что-то не очень хорошо получилось... И потом я уже не секретарь... С сегодняшнего вечера.

Рахман замолчал, не хотелось докучать другу невзгодами в столь поздний час. Но Юсупов настаивал, и он рассказал обо всем, что произошло.

– Ничего, джан Рахман, это тоже полезно, – проговорил Юсупов, когда Рахман кончил. – Кто знает, быть может, истинное счастье человека – в борьбе. Не будь ее, наша жизнь была бы пресной. Как дистиллированная вода. Она, конечно, очень нужна, но пить ее невозможно.

Рахман улыбнулся:

– А потому – выпьем водки.

Друзья чокнулись. За окном прогудел паровоз.

– Тебе пора, это твой поезд.

Юсупов вынул бумажник, подозвал официантку.

– Иди, иди, я рассчитаюсь, – проговорил Рахман.

– К чему это, я же не гость.

– Вот тебе прекрасный повод снова приехать. Приедешь – платить будешь ты. – Они обнялись, расцеловались. – Приезжай поскорее. Жду!

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ

Хумор не спала – ждала мужа. Она пробовала читать, но прочитанное не укладывалось в голове. Глаза скользили по строчкам, но мозг их не воспринимал. Мысли Хумор бродили вдалеке от книги. Она с тревогой думала о Рахмане. Где он? Почему его так поздно нет? Чем закончилось собрание?

С каждой минутой ее тревога росла все больше и больше.

В комнату, шаркая шлепанцами, вошла Баджи. Простоволосая, в ночной рубашке, заспанная.

— Почему не спишь, дочка? Что стряслось?

— Ничего, мама. Читаю.

— Наверно, у Рахмана неприятности. Не скрывай. Сердце матери не обманешь. Я же вижу, ты сама не своя.

— Нет, мама, просто я зачиталась. Очень интересная книга.

— А, книга-шмига, ложись. Завтра тебе с утра на работу, — старуха успокоилась и отправилась к себе спать.

Чтобы не тревожить ее, Хумор тоже легла. Но сон не приходил. Она лежала в темноте и ждала, не смыкая глаз, беспокойно вслушиваясь в скупые звуки ночи.

Но вот, наконец, стукнула калитка, еле слышно открылась входная дверь, скрипнув, отворилась дверь в спальню, и вошел Рахман. Он ступал бесшумно, на цыпочках. Задел в темноте стул. Остановился, прислушался. Стараясь не шуметь, осторожно разделся и лег на кушетку, отдельно от жены.

— Ай, джан Рахман, ужин на столе, — вполголоса окликнула сына из соседней комнаты Баджи. — Поешь, сынок.

— Я не голоден, мама. Спи, — тихо ответил Рахман.

— Почему так поздно? — шепотом спросила Хумор.

— Спи. Завтра все расскажу.

Утром Хумор проснулась первой. Рахман еще спал. Он лежал на спине с полуоткрытым ртом и хрипло, с тяжелым присвистом дышал. Видно, даже во сне его одолевали мрачные мысли: брови были нахмурены, лоб стянули морщины.

Острое, щемящее чувство тревоги пронзило Хумор. Она склонилась над кушеткой и резко отпрянула: в нос ударил густой водочный перегар.

Рахман открыл глаза, посмотрел на жену пустым, невидящим взглядом и повернулся к стене.

— Где ты был вчера? На собрании или на свадьбе?

Он не отвечал, будто не слышал. А может быть, действительно, не услышал, так как вновь уснул.

Хумор с силой затормошила его.

— Может быть, все-таки объяснишь? Где ты пропадал до поздней ночи? И почему от тебя разит, как из винного подвала?

Рахман привстал на постели. Криво усмехнулся.

— Получил по зубам, жена. И за свои грехи. И за грехи Мукаила. В общем, за все получил...

— Ты?

— Да, я. Секретарь, говорят, за все в ответе: за председателя колхоза и за рядовых колхозников... В общем, как говорится, потерял доверие масс. Прокатили.

Он встал и начал одеваться, хмурый, подавленный, злой.

Неужели я так плохо знала его, — растерянно размышляла Хумор. — Неужели он настолько мелок, что может горевать из-за потери поста? Неужели я ошиблась. Что может быть хуже мелкого честолюбца?

Рахман внезапно явился перед ней в совершенно новом, доселе не ведомом свете. И потому, что она никогда не ожидала увидеть мужа таким, ею овладело смятение. Впервые за всю их совместную жизнь Хумор не только не поняла Рахмана, но и осудила его. Честолюбие и властолюбие ей, простой душе, были чужды, враждебны.

Хумор молчала, стараясь не встречаться глазами с Рахманом. А он, напротив, ловил ее взгляд, в надежде прочесть в нем сочувствие.

В комнате повисла неловкая, тягостная тишина. Чтобы избавиться от нее, Хумор принялась хлопотать вокруг стола, приготавливая завтрак.

— Ну, что ты на все это скажешь?

— Нашел из-за чего горевать, — с бодрой беззаботностью проговорила Хумор и осеклась, почувствовав вопиющую фальшь своего тона.

Но Рахман ничего не заметил. Он благодарно взглянул на жену и заметно приободрился.

— Ты действительно так думаешь?

Она молча кивнула головой, думая о своем. Он же торопливо, словно боясь, что его прервут, продолжал:

— Ты не думай, я не гонюсь за властью. Был секретарем, перестал быть. Ничего, проживу. Хотя, конечно, обидно. Меня мучает другое — поведение людей. Мукаил меня продал. С ходу. Или этот прохвост Ханука. На нем негде пробы ставить. А Мукаил боится поссориться с ним. Сколько раз на бюро я требовал наказать проходимца. Не поддержали. А на собрании, — здрасьте вам, пожалуйста, именно Ханука поливал меня грязью, Мукаил набрал в рот воды. Вот что обидно.

Хумор молчала, машинально кивая головой. Наконец, наскоро позавтракав, она встала из-за стола и, сославшись на то, что опаздывает, поспешила на работу.

В поликлинике, несмотря на ранний час, — до начала приёма еще оставалось часа полтора, — было многолюдно. К окошку регистратуры тянулась длинная очередь, жужжавшая, как растревоженный улей. Время от времени в полукруглом окошке появлялась голова, повязанная белой косынкой. Раздавался возглас:

— Да тише вы! Прямо невозможно работать!

Жужжание стихало, но через минуту — другую возникало вновь.

В самом хвосте очереди стоял Асаил, согнувшись, держась обеими руками за живот.

— Что с вами, дядя Асаил? Заболели?

— Не заболел, а болею. По-прежнему. Всерьез и надолго, — на землистом лице старика появилось жалкое подобие улыбки.

— Может быть, вам пройти к дежурному врачу?

Старик вяло махнул рукой.

Хумор сразу понизила голос, чтобы не слышала очередь:

— Сейчас я вам достану талон. А так вы простоите до самого обеда.

Она прошла в регистратуру, вскоре вернулась, взяла старика под руку и увела прочь, провожаемая сердитыми взглядами собравшихся в очереди людей.

В длинном полутемном коридоре, освещаемом редкими электрическими лампочками, Хумор усадила Асаила на деревянный диван.

— Посидите, дядя Асаил. Как только из кабинета выйдет больной, врач примет вас.

— Спасибо, дочка. Что нового дома? Как Рахман?

И вдруг Хумор, обычно скрытная и сдержанная, почувствовала неодолимую потребность рассказать обо всем, точно внезапно нахлынула горячая волна, нестерпимо обжигающая, неудержимо стремящаяся выплеснуться наружу. Асаил слушал внимательно. Участливо кивал головой. Вдруг он помрачнел.

— Значит, говоришь, не выбрали?

— Нет.

Старик надсадно закашлялся, встал, снова сел. Он понял, что в какой-то мере повинен в неприятностях, обрушившихся на Рахмана.

Хумор хотела рассказать о главном, о том, как повел себя Рахман, но Асаил перебил ее:

— А как же вели себя люди? Они-то прекрасно знают Рахмана. Что все они говорили?

— А, — досадливо отмахнулась Хумор, — Ханука вылил на Рахмана целый ушат помоев.

— Ай, шайтан! Сам шаромыжничает, а честных людей поносит.

Старик настолько разнервничался, что ему стало совсем плохо. Скорчившись в три погибели, он забился в угол дивана, побледневший, с трясущимися губами и перекошенным от боли лицом, — маленькая, сухонькая птица с подбитыми крыльями.

— Ничего, ничего, дочка. Это со мной бывает, — успокаивал он перепуганную Хумор. — Посижу немного. Вот так. Погрею живот руками и отойдет.

— Я сейчас попрошу врача. Он примет вас без очереди.

Хумор ушла, так и не поделившись главным, а старик сидел и думал. «Откуда берутся плохие люди? Говорят, если дерево с корня выросло кривым, его не выправишь. Скажем, Бебе. Он с детских лет рос в семье кулака. Но

Ханука! Ведь старый Эсеф всю свою жизнь трудился. И на богатых виноградарей батрачил, и на рыбных промыслах спину гнул... А вот поди ты, сын вырос шалопаем...

Странное племя людское: зло не сеют, не пашут, оно само растет».

Пришла Хумор.

— Пойдемте, дядя Асаил. Я договорилась с главным врачом. Она вас осмотрит.

Когда они поднимались по лестнице на второй этаж, снизу послышался оклик:

— Асаил! Асаил! погоди! Насилу разыскала тебя, — раскрасневшаяся от волнения Евдит держала в руках большой серый конверт. — Только что пришло. Почтальон сказал — из Москвы.

Старик бросился вниз, нетерпеливо выхватил у жены конверт, распечатал.

Это был ответ из ЦК. В нем сообщалось, что заявление Асаила получено и будет рассмотрено в ближайшее время.

РАДИ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЛОХИ НЕ СТОИТ СЖИГАТЬ ШУБУ

Зима в тот год выдалась злой. Пришла она рано. Внезапно, когда никто не ждал, ударили морозы. Закрутили метели. Выпал глубокий снег.

Рахман и Ахмед брели междурядьями. Идти было трудно, ноги увязали в снегу, мороз впивался в щеки множеством незримых жал. На виноградниках, куда ни глянь, было белое безлюдье. А ведь именно на эту пору приходилась обрезка кустов. Впрочем, она началась в срок, но была прервана неожиданным нашествием зимы. Мертвые, пустынные виноградники, а впереди — пропасть дел: обрезка, перекопка, поливка молодых посадок. Ахмед был озабочен. Нелегкая задача выпала на долю нового секретаря. Что делать? Что предпринять? Как выйти из трудного положения?

Он искоса поглядел на Рахмана, на его хмурое, злое лицо и почувствовал легкое раздражение.

С того вечера, когда закончилось отчётно-выборное собрание, Рахмана будто подменили. Ходит мрачный, подавленный. Молчит и думает о чем-то своем, невеселом и неприятном, ведомом лишь ему одному.

Чтобы отогнать недоброе чувство, Ахмед достал из кармана пачку сигарет, протянул Рахману. Тот, словно не заметив протянутой руки, отвернулся, ускорив шаг.

— Как нам быть, Рахман? Проклятая зима, она нас сгубит.

— Сегодня морозы, завтра дожди. Не одно, так другое. Надо смотреть вперед. А не оглядываться на погоду.

— Что ты имеешь в виду?

— Близорукость. Нашу близорукость. И нашу косность. Присохли к старине и не хотим от нее оторваться. Ковыряем землю лопатой. Сотни рук копаются на виноградниках, а работы вовремя завершить не можем.

— Что же ты предлагаешь?

— Механизировать труд. Сколько раз я говорил Мукаилу — давай начнем реконструкцию старых виноградников, сделаем рядовые посадки. Какое там! Ему в одно ухо влетит, в другое вылетит. Мы, словно слепые, не видим, что делается рядом. Возьми соседний совхоз. Там все механизировано, и они уже давно закончили осенние работы. Понятно, что им никакая зима не страшна, — он остановился, закурил и, сделав две глубокие затяжки, продолжал. — В прошлом году мы, как ни тужились, и половины плана не выполнили, а совхоз сверх плана сколько винограда дал? Еще бы, посадки рядовые, обработка механизирована. Они вовремя и быстро перепаживают, культивируют, пропалывают, опрыскивают ядохимикатами. А мы? Работаем так, как вкалывали наши деды и прадеды — вручную. Так можно было жить, когда каждый копошился на своем клочке. У нас же сотни гектаров обобществленных виноградников... О чем тут говорить, — Рахман с досадой махнул рукой. — Сколько ни долби, как горохом

об стенку. В общем, за все – одна благодарность – мордой об стол.

– Что ты имеешь в виду, Рахман?

– Да будет тебе, не прикидывайся дурачком.

– Ну, это ты брось, – не сдержавшись, вспыхнул Ахмед, раздражение друга передалось и ему. – Ходишь неприкаянным. Волком на всех смотришь. А из-за чего? Ты только подумай, голова садовая. Сегодня меня выбрали, завтра, смотришь, выберут тебя. Или кого-нибудь другого, третьего, поспособнее нас с тобой... Такова жизнь. Обижаться на это смешно. И глупо... Излишнее самолюбие никому не приносило добра.

Ни слова не говоря, Рахман втянул шею в плечи и зашагал быстрее. Ахмед едва поспевал за ним. Так, проваливаясь по колено в снег, задыхаясь от быстрой ходьбы, они шли, не глядя друг на друга, не говоря друг с другом, не понимая друг друга и ожесточаясь один против другого.

Первым не выдержал Ахмед.

– Постой, – он с трудом перевел дух. – Дай отдышаться... Ну, чего ты дуришь?.. На кого обижаешься? Ведь я твой друг, ты же прекрасно знаешь.

– Я не обижаюсь... Мне обидно. Это не одно и то же. Именно потому, что я считаю тебя своим другом, мне и обидно... Выбрали, не выбрали... Как ты не понимаешь, что дело совсем не в этом.

– А в чем же тогда?

– В людях. Пойми, я не могу забыть, как они повели себя на собрании. Как неожиданно раскрылись с самой неприглядной стороны. Мукаил, этот жалкий трус. Не успел Якубов нажать, как он меня продал. А в результате кто оказался на коне? Прохвост Ханука... Противно вспоминать...

Ахмед помолчал, подумал, потом сказал:

– Что касается Мукаила, надо принимать людей такими, какие они есть, а не такими, какими хотелось бы их видеть... И стараться по мере сил сделать их лучше, чем они есть. В этом наша с тобой задача. Все, что я сказал, относится и к Хануке.

- Его не воспитывать, его гнать из партии надо.
- Выгнать — не мудреное дело, переменить к лучшему мудренее. Ты накопил зло на Хануку, а изливаешь его на всех. Это неверно. Как говорят в народе, ради избавления от одной блохи не стоит сжигать шубу... Вот так, мой дорогой.

КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ

Над Дербентом наконец-то взошло солнце. Яркое и незакатное, оно целыми днями стояло в небе, одаривая землю животворным теплом. В январе вдруг повеяло весной. По улицам побежали ручьи, склоны гор зазеленели, снег на полях почернел, стал ноздреватым, осел, а потом и вовсе сошел, обнажив землю, нагую, лишь кое-где покрытую блеклыми плешинами прошлогодних трав. Ранним утром, на заре, у правления собрались колхозники. Они ожидали машину, чтобы ехать на виноградники. Машина запаздывала, народ нервничал.

- Где она там застряла?
- Наверно, шофер проспал. Дрыхнет без задних ног, а мы жди-дожидайся.
- Безобразие. Сколько времени теряем зря.
- Может, пешком? Скорее дойдешь.
- Ищи дураков. Пускай Мукаил на своих на двоих ходит, а нам еще вкалывать целый день.
- Правильно. Наука считает, чем экономнее расходовать силы, тем производительнее труд. Сам слышал. По радио говорили.
- Нет, ты только послушай этих сопляков. Наука-шмаука. Машина-шмашина. А помнишь, как мы с тобой работали! Хозяева не то, что машину, повозку с паршивым ишаком не давали. Пешечком по восемь-девять верст туда и обратно, на плантацию и с плантации отмахиваешь, вот тебе и весь разговор.

Это говорил старик Эсеф, вполголоса, чтобы не слышала молодежь, обращаясь к своему другу Азизу.

— Что было, то сплыло и, слава богу, былшем поросло, — нехотя проговорил Азиз. Воспоминания Эсефа порядком надоели ему.

— Бывало, вскочишь чуть свет, чтобы, не дай бог, не опоздать, — теперь Эсеф повысил голос, привлекая новых слушателей, — вскинешь на плечо сумку с черствым чурком и куском ржавой селедки и топаешь. Только пыль изпод чарыков летит... Да какое там чарыки — разувши топали, сыromятные чарыки берегли. А теперь, — он вновь понизил голос и доверительно, обращаясь к одному лишь Азизу, продолжал, — эти вот, молодые, все им не так. Избаловались. Простые туфли их не устраивают, им подавай модельные. И машину, чтобы, как большие начальники, на работу ехать. Ненасытные, шайтан их возьми. Балованные.

— Да, — хитро прищурился Азиз, немало еще у нас ненасытных. Сколько бы в колхозе ни зарабатывали, все им мало. Норовят хоть на край света сбежать. Все равно, то ли вагоны с вином провозжать, то ли вещами спекулировать. Им одно важно — побольше шальных денег зашибить.

Эсеф ничего не ответил. Маленькие глазки его беспокойно забегали под кустистыми бровями. Жую белую бороду, старик думал: «Клянусь могилой отца, Азиз метит в Хануку. Как говорится в пословице: «Дочь моя, я говорю тебе, но, невестка моя, ты всё это слушай».

Старик оглядел двор, поискал глазами сына, но нигде не нашел. «Ай, шайтан, — рассердился Эсеф. — Опять лодыря гоняет. А мне краснеть». Он решил сбежать за Ханукой, но раздался сигнал, и появилась долгожданная машина. Она была встречена бурей восторгов. Все нарекания и недовольства были мигом позабыты. Томительное ожидание осталось позади, впереди была дорога, а рядом — машина, с помощью которой можно ее преодолеть.

— По коням, — весело прокричал шофер, и все дружно бросились к машине. — Полегче, полегче, без толкотни. Занимайте места согласно взятым билетам.

Рахман оттер двух бойких молодцов, норовивших занять место в кабине, посадил туда Эсефа и Азиза, а сам взобрался в кузов. Машина покатила за город.

Участок бригады граничил с совхозными виноградниками. Поднявшись на дувал, Рахман взглянул на плантацию соседей. Там, тарахтя и попыхивая дымком, работал трактор. Не спеша, деловито он вел перепашку. Рахман обернулся лицом к участку своей бригады. Здесь было многолюдно. Колхозники постарше секаторами подрезали лозы, молодежь лопатами вгрызалась в неподатливую землю.

Рахман покачал головой и прыгнул с дувала. Подойдя к старикам, он взял секатор и принялся подрезать лозы.

В полдень на плантации появилась легковая машина. Юркая «Победа» подкатила к бригадному домику и остановилась под раскидистым тутовником. Из машины вышли Мукаил, Ахмед к Юсупов.

— Знакомьтесь. Бригадир Рахман Рахманов, — проговорил Мукаил, обращаясь к Юсупову. — Посадку новых виноградников я думаю поручить его бригаде.

Юсупов словно не слышал слов Мукаила, он бросился к Рахману и крепко обнял его. Мукаил недоуменно посмотрел на Ахмеда, он никак не ожидал, что Рахман так близок с высоким начальством. Ахмед улыбался.

— Они же старые друзья, — вполголоса пояснил он. — А вообще Юсупов наш земляк, он из Дербента.

Юсупов весь день пробыл в колхозе. Он бродил по участкам, беседовал с колхозниками, пытливо вникал в каждую деталь. Под вечер собрались бригадиры. Разговор зашел о ближайших перспективах колхоза.

— Сколько же новых виноградников вы думаете посадить? — спросил Юсупов председателя.

— Пока что тридцать гектаров. На следующий год еще столько же. А потом еще... Видимо, всего у нас будет сто гектаров новых виноградников, — Мукаил помолчал, стараясь понять, какое впечатление произвел на начальство, но на лице Юсупова ничего не отразилось, и Мукаил

осторожно, как бы оправдываясь, продолжал. — Земли у нас мало. Совсем нет свободной земли.

— Надо реконструировать старые виноградники, — резко перебил его Рахман.

Мукаил слегка поджал губы, закрыл глаза:

— Придет срок — будет и реконструкция. Как говорят в народе, всему свое время... Ты лучше скажи, как смотришь на то, чтобы новые посадки провела твоя бригада?

Рахман нахмурился и ничего не ответил.

— Обижается на меня, — Мукаил виновато улыбнулся.

— А я никогда бы не подумал, что ты такой, — ласково, с сожалением проговорил он, обращаясь теперь к Рахману.

— Какой?

— Злопамятный.

— Причем тут злопамятность? — вмешался в разговор Ахмед. — Разве он не прав? Разве не пора покончить со стариной? Сколько можно жить за счет мускулов? Ведь на лопате далеко не уедешь.

Мукаил ухмыльнулся.

— Вас послушать, так мы не должны расширять площади виноградников...

— Ничего подобного, — проговорил Рахман. — Площади надо расширять. Но надо реконструировать и старые виноградники, чтобы можно было вводить механизацию. А что сейчас получается? Мы еще не управились с подрезкой, а по срокам уже должны кончать перекопку.

— Язык, он, конечно, без костей, — как бы невзначай бросил Мукаил.

— Что вы имеете в виду? — спросил Юсупов.

— Реконструкция бессистемных виноградников — дело нелегкое. Её смаху не проведешь. Нужны люди, средства, время. А, главное, у нас план. Мы обязаны его выполнить, — Мукаил начал горячиться. — Если разрушить старые плантации, откуда мы возьмем виноград? Что сдадим государству? Оно ведь красивых речей не принимает, ему подавай виноград.

— Что же вы предлагаете? — Юсупов вдруг стало жалко этого задержанного заботами и тревожностями человека. Все время находиться под двойным прессом — тоже не сладко.

— Я объясню, — Рахман придвинулся вплотную к Юсупову. — На старых плантациях на гектар приходится семь-восемь тысяч кустов. На новых, рядовых, их будет не больше четырех тысяч. Вот Мукаил и считает, что четыре тысячи не дадут столько, сколько дают восемь тысяч.

Юсупов улыбнулся.

— А как же агротехника? Разве ее не стоит принять в расчет?

Мукаил рассердился:

— Ты, Рахман, меня не комментируй. У меня свой язык есть. И свой ум. Я в агротехнике тоже кое-что смыслю.

— Так в чем же тогда дело? — Юсупов изумленно поднял брови. — Раз вы изучали агротехнику, то знаете: когда кусты расположены далеко друг от друга, они получают больше питания и становятся сильнее. Количество гроздьев на них возрастает, а сами гроздья становятся крупнее. Но это еще не все. Рахман прав, говоря о возможности большой механизации новых, рядовых плантаций. Чем выше механизация, тем ниже себестоимость центнера винограда и тем выше урожайность. Все это азбучные истины, товарищ председатель.

Мукаил отвернулся, закурил и, почему-то обращаясь к одному Рахману, сказал:

— Все это теории, дорогие товарищи. Очень хорошие теории. А райком требует от меня практики. Выполнения плана требует. Теория без винограда мертва, — он криво усмехнулся, сделал глубокую затяжку и закашлялся.

— Теория говоришь? А как же это? — Ахмед протянул руку в сторону совхозных виноградников. — Вспомни, сколько урожая собрали они и сколько мы.

— А, брось ты, — сквозь кашель проговорил Мукаил. — Прошлогондние неудачи объясняются не этим.

Рахман прищурил глаза. «Что он имеет в виду? — с раздражением подумал он. — В кого метит?»

— В прошлогдних неудачах виноваты мы сами, — закончил мысль Мукаил, вытащил клетчатый платок и с шумом высморкался.

В высоком небе появился причудливый белый узор. Он тянулся к самому горизонту. А следом за ним бежал звук — грохочущий звук реактивного самолета.

Юсупов, закинув голову, поискал в небе быстро движущуюся серебристую точку, нашел, удовлетворенно вздохнул и, опустив голову, взглянул на часы

— Мне пора в город... Обо всех этих делах поговорите на правлении, посоветуйтесь. Лично я рекомендовал бы не медлить с реконструкцией.

— Ладно, — облегченно вздохнул Мукаил. — Посоветуемся.

Он тоже смотрел ил небо, ища самолет, но не находил. В небе стоял лишь длинный, замысловато извилистый белый след.

СОБУТЫЛЬНИКИ

Ханука переминался с ноги на ногу у обочины дороги и зябко поеживался. Вечерело, густели сумерки, землю все плотнее окутывал туман. Противная, пронизывающая сырость пробиралась за поднятый воротник плаща, а машину все никак не удавалось поймать. То проскочит мимо, обдав бензинным перегаром, то окажется не по пути.

Наконец, когда Ханука уже совсем продрог и, отчаявшись, с руганью побрел пешком, его нагнал грузовик. Ханука, не помня себя, кинулся с поднятой рукой наперерез большой грузовой машине. Она, взвизгнув, остановилась.

— Ты что, ополоумел? — разъяренный шофёр высунулся из кабины, потрясая кулаком. — Или жить надоело?

— Вай, вай, да это Ханука! — рядом с шофером широко улыбался Бебе. — Привет ударнику полей... Полежай,

полезай, — милостиво разрешил он. — Кабина просторная, всем места хватит.

— Продрог до костей, — потирая руки, проговорил Ханука, поудобнее устраиваясь в кабине. — Туман, как на папанинской льдине.

— Туман — это хорошо. Хотя, с другой стороны, сами видите, ни хрена дороги не видно, — пристально вглядываясь в набегающую белесую мглу, проговорил шофер. — Говорят, в такой туман к берегам Каспия много рыбы подходит.

— Он согласен жить и без рыбы, — сказал Бебе, кивнув на Хануку. — Лишь бы побольше баранины и курятины.

— Да, курятина — это неплохо, — вздохнул Ханука.

— А что, разве у тебя ее нет?

— Нет — так будет, — он многозначительно поднял палец. — Я только что с птицефермы. Говорил с заведующим Аббасовым. Хочу устроиться к нему учетчиком.

Бебе расхохотался.

— Самое лучшее место. Для тебя. Но не для кур. Это все равно, что нанять волка стеречь овец.

— Как тебе не совестно, — обиделся Ханука.

— Ладно, ладно, молчу. Все знаем, все понимаем. Судак ищет где глубже, Ханука где лучше... Ну как, приняли тебя на ферму?

— Нет еще. Мукаил велел предварительно переговорить с Аббасовым, а потом обсудит этот вопрос на правлении.

— А если правление будет против? Тогда плохо дело.

Бебе лукаво, прищурившись, взглянул на Хануку.

— Поставишь пол-литра, всё устрой.

— Я и литра не пожалею, — обрадовался Ханука. — А как ты всё это обтяпаешь?

— Не твое дело.

— Ханука — человек слова. Сказано — сделано. Поехали в ресторан,

Бебе довольно усмехнулся.

— Давай к вокзалу, — приказал он шоферу.

В вокзальном ресторане было шумно и многолюдно. Ханука и Бебе прошли в глубь зала, заняли отдельную кабину и подозвали официантку, крашеную блондинку с пышными бедрами и нагловатым лицом.

— Пол-литра водки, два графина пива, пару шашлыков. Холодная закуска по вашему усмотрению, деточка, — распорядился Ханука.

— Только и всего? — улыбнулась ярко накрашенным ртом официантка.

— Да, золотце. Пока. А там, глядишь, что-нибудь еще попросим...

Ханука игриво подмигнул и хлопнул дезушку гонимые спины. Официантка фыркнула и, виляя бедрами, удалилась.

— А ты, оказывается, ходок, — с неодобрением проговорил Бебе.

— Еще бы, недаром ел с тобой с одного стола и пил из одного графина.

— Ты меня с собой не равняй. Я скромный отец семейства.

Ханука расхохотался:

— Ой, не могу. Рассмешил. А кто на прошлой неделе к той самой вдовушке, кажется, Аснат ее звать, — ходил? Кто на рыбзаводе с Лидочкой путался?

— Тихо ты. Орешь на весь ресторан... Ты что, шпионишь за мной?

Подошла официантка с большим подносом в руках. Она поставила на стол водку, пиво, закуску и, вильнув бедрами, удалилась.

Бебе задумчиво посмотрел ей вслед.

Заиграл оркестр. Под его аккомпанемент певец, полнеющий молодой человек с ласковыми бараньими глазами, жидким тенорком запел:

Ах, эта девушка

Меня с ума свела...

— Ну, поехали...

— За успех твоего дела, — Бебе смаху опрокинул стопку водки, поморщился, понюхал хлебную корку. — Аб-

басов — мой лучший друг. Мое слово для него закон. Считай, что ты уже работаешь на ферме.

— Дай бог тебе здоровья.

Пока Ханука гулял со своим собутыльником, старый Эсеф неприкаянно бродил по дому. Хотя час был уже поздний, — большие стенные часы, прохрипев, натужно пробили полночь, — старик не ложился спать. Он нетерпеливо ждал сына. Еще днем, вернувшись с виноградников, решил серьезно поговорить с ним, по-отцовски, спросить за невыход на работу.

Эсеф теребил седую бороду, слонялся из комнаты в комнату и не находил себе места. Наконец он не выдержал и разбудил невестку.

— Ай, Хагило, дочь моя, где пропадает твой непутевый муж?

Хагило спала, не раздеваясь, в платье. Она долго ожидала мужа, устала, на минуту прилегла и уснула. Разбуженная свекром, Хагило вскочила с постели и, испуганно тараща сонные глаза, затараторила:

— Откуда мне знать, я сама волнуюсь, мучаюсь. Ужин давно остыл. Придется снова разогревать. Лучше бы мне не родиться на свет, чем жить такой несчастной...

Старик пожалел, что разбудил ее. Только прибавил себе хлопот. Он вышел на веранду. На дворе было темно и сыро. С Каспия дул резкий холодный ветер. Он трепал редкие волосы на непокрытой голове старика. Эсеф зажал в кулак бороду, подергал, отпустил. Сунул в рот, пожевал. Облокотился на перила веранды, прислушался. Все тихо, лишь монотонно стучит о каменный пол падающая с крыши капель.

Старик постоял, постоял и вернулся в дом. Хагило на этот раз прикорнула за столом. Эсеф присел и незаметно для себя задремал. Проснулся он от громкого пения.

— Ах, эта девушка

Меня с ума свела, —

во весь голос горланил Ханука, неожиданно появившийся в комнате.

— Тише, детей разбудишь, — попыталась образумить мужа Хагило.

— Молчать! Ты кому указываешь! — Ханука замахнулся на жену, она увернулась от удара, и он, потеряв равновесие, свалился на пол.

— Где был, на свадьбе? Почему не взял с собой жену?

Эсеф попытался поднять сына и не смог. Но Ханука с хитростью, присущей только пьяным, ухватился обеими руками за ножки стола, и старик, как ни старался, не мог сдвинуть сына с места. Хагило пришла на помощь свёкру. Но их объединенные усилия привели лишь к тому, что громоздкий и тяжелый стол чуть сдвинулся с места. Это неожиданно развеселило Хануку. Он безудержно хохотал, взвизгивал и закатывал от удовольствия глаза.

— Почему люди пьют? — вдруг, посерьезнев, спросил он у стола, воздев к нему неподвижные, остекленевшие глаза. — Потому что плохо живут. Или, совсем наоборот, потому что живут отлично. — Я — живу хорошо. А хочу жить отлично. И буду жить. Как каждый советский гражданин. Это мое полное право. Вот потому я и выпил... — он говорил все тише и тише, пока, наконец, не смолк, уснув. Однако все попытки сдвинуть его с места ни к чему не привели. Ханука и во сне крепко сжимал ножки стола.

Неожиданно Хагило придумала новый способ справиться с ним. Выйдя на середину комнаты, она взмахнула платком, повела плечами, запела и плавно пустилась в пляс. Ханука приоткрыл глаза, довольно и счастливо заулыбался, захлопал в ладоши и сделал попытку подняться с пола. Этого только и ждала Хагило. Она подскочила к мужу, тут же оказался и Эсеф. Вместе они, свекор и невестка, подхватили Хануку под руки и уволокли в спальню.

Утром Эсеф насилу растолкал сына.

— Вставай, пора на работу.

— Не пойду.

— Что значит — не пойду? — опешил старик. — Мало тебе вчерашнего?

— Я перехожу на птицеферму, — гордо заявил Ханука. Старик совсем оторопел.

— Как так?

— А вот так. В нашей советской стране люди не стоят на месте. Они растут.

Эсеф смущенно пожевал бороду.

— Тут что-то нечисто.

— Все в порядке, отец. Помни, все к лучшему, что от бога и от начальства. — Ханука ухмыльнулся и спустил ноги с кровати. — Жена! — бодро прокричал он. — Принеси попить чего-нибудь кисленького.

Эсеф взглянул на стенные часы. Времени до отхода машины оставалось в обрез. Он взял у невестки краюху хлеба, кусок рыбы, полголовки сыра, положил все это в сумку, на ходу прихватил на веранде секатор и зашагал к правлению колхоза.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Гость, даже самый желанный, стесняет, если в семье нелады.

С того злосчастного вечера, когда Рахман вернулся домой выпивши, его отношения с женой испортились. Хумор ничего не говорила мужу, не порицала и тем более не осуждала его. Она лишь молчала, молчала упорно и непоколебимо. Всякий раз, когда Рахман пытался возвратиться вновь к разговору, начатому тогда, она находила удобный либо чаще всего неудобный предлог, чтобы выйти из комнаты или вообще уйти из дому.

Ее молчание, в котором явно проглядывало осуждение, бесило Рахмана куда больше, чем оскорбительные слова. Он стал резким, раздражительным, то и дело срывался на грубость без всякой причины к тому.

Вот и сегодня, вернувшись под вечер домой с виноградников, он опять не выдержал. Все началось с пустяков. Как обычно бывает в подобных случаях.

– Ты напрасно лег, – заметила Хумор, – сейчас будем ужинать. Никто, кроме детей, еще не ел. Ждали тебя.

– Ну и зря. Я не голоден.

– Ты что, питаешься воздухом? – улыбнулась Хумор.

– Отстань. Дай хоть минуту пожить спокойно

– Что?... Что ты сказал – вспыхнула Хумор.

– Что сказал, то и сказал, – Рахман вскочил с дивана и двинулся на Хумор, красный, разъяренный. Хумор невольно отпрянула назад и попятилась к двери.

– Я сказал то, что сказал, – еще более распаляясь, кричал Рахман. – И ты мне не указывай. Я сам знаю, что говорить. Подумаешь, учительница жизни нашлась.

Он кинулся к двери, наперерез жене. Хумор попыталась отстранить его, но он с такой силой сжал ее руку, что она вскрикнула.

Чем бы все это кончилось, трудно сказать, если бы с веранды не послышался радостный голос Азиза.

– Рахман! Хумор! Посмотрите, кто пришел! Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Это пришел Юсупов. Рахман и Хумор, поспешно стерев со своих лиц следы ссоры, вышли навстречу гостю. И он и она, как и подобает счастливой семейной паре, радостно улыбались.

Как ни уважала Хумор Юсупова, его приход был неприятен ей. Он еще больше осложнял и без того сложную ситуацию. Притворяться веселой, когда тебя гложет печаль, изображать радость, когда впору плакать, было очень трудно.

Выручила Баджи. Она кинулась хлопотать по хозяйству, и Хумор, извинившись перед гостем, ушла на кухню помогать свекрови.

Когда она вошла в комнату и стала накрывать на стол, разговор мужчин был в самом разгаре. Хумор мельком взглянула на Рахмана и с неприязнью подумала:

«Вот сидит, разглагольствует, как ни в чем не бывало. Ему наплевать, что я обижена, оскорблена. С него как с гуся вода, а я, дура, не нахожу себе места, мучаюсь, терзаюсь. Эгоист, бессовестный эгоист».

— Нет, ты его плохо знаешь, Шими, — горячо убеждал Юсупова Рахман. — Мукаил совсем не такой, каким кажется. Для него главное — угодить начальству. Даже, если это во вред делу.

— Почему? — мягко возражал другу Юсупов. — Я ведь тоже вроде начальство, — он виновато улыбнулся. — Однако Мукаил не согласен со мной. Спорит, стоит на своем. Семь арбузов, говорит, в одной руке не удержишь. Это он к тому, что невозможно одновременно проводить реконструкцию старых виноградников и выполнять план текущего года. Такова его точка зрения. Правильна она или нет — другой вопрос. Но он честно и открыто отстаивает ее.

— Если слушать Мукаила, нам реконструкции не видеть, как своих ушей, — все более раздражался Рахман.

— А я его понимаю, — Азиз придвинулся к сыну. — У нас и без того дел невпроворот. Новые виноградники сажать надо. Урожай повышать надо. Прошлогодние долги платить надо...

— Легко ничего не дается, отец. Ты же сам говорил: кто хочет наловить свежей рыбы, не должен бояться холодной воды.

— Сравнил — мацу с салом! — Азиз тоже начал горячиться.

— Хватит вам спорить, — в комнату вошла Баджи. Она поставила на стол кастрюлю с голубцами и подняла крышку. Из кастрюли повалил густой аппетитный пар. — За столом едят, а не спорят. Дела делаются на работе, а не дома.

— Также верно, — весело согласился Юсупов, остановив Рахмана, готового прикрикнуть на отца, — Тем более, что я еще нигде не ел таких вкусных голубцов, как ваши, тетушка Баджи.

— Вот видишь, — расплылась в улыбке Баджи. — А он все недоволен, — кивнула она на Рахмана. — Все ему не так. За последнее время ни я, ни Хумор никак не можем ему угодить.

Рахман покраснел и закусил нижнюю губу.

– Как дети, как жена, Шими? – поспешно спросила Хумор, раскладывая голубцы по тарелкам.

– Дети растут, мы с женой стареем. В общем, жизнь идет нормальным чередом... Что же ты, брат, – ласково пожурил Юсупов Рахмана, – заставляешь на себя жаловаться.

Рахман еще гуще покраснел и опустил голову. Но Юсупов не заметил смущения друга. Его внимание привлек голос, донесшийся со двора:

– Баджи, ай Баджи! Рахман дома?

Юсупов просиял:

– Асаил! Неужели? Я узнал его голос! Ведь сколько лет не виделись. С самой войны.

Последняя их встреча произошла осенью 1941 года. Сереньким тоскливым деньком, словно слезами исходившим дождем, агроном Юсупов объезжал колхозы Дербентского района. Километров за пятнадцать от города он заметил в серой дали всадника в брезентовом плаще с капюшоном, низко надвинутым на глаза. Лошаденка его, низкорослая и худая, не спеша тащилась по размытой дороге навстречу линейке Юсупова. Когда они поравнялись, всадник придержал лошадь и окликнул Юсупова:

– Погоди, да это никак Шими! Что тебя занесло на поля в такую чертову погоду? – он поднял капюшон, и Юсупов узнал Асаила.

– Дядя Асаил, а ты какими судьбами здесь?

Асаил усмехнулся:

– Я в колхозе работаю, председателем.

Юсупов смешался. Он знал, что Асаила несколько лет назад исключили из партии. Неужели ему доверили колхоз? Впрочем, почему бы и нет? По своим деловым качествам он вполне подходил для этой работы. Правда, кроме деловых качеств, в расчет принимаются и другие.

Старик, видимо, догадался о мыслях Юсупова. Глаза его сверкнули лукавым огоньком, и он, хитро прищурившись, проговорил:

— Как видишь, дорогой, меня еще рано сбрасывать на свалку истории. Как видишь, и я еще могу принести пользу. Если, разумеется, мне доверять.

Побывав в колхозе, Юсупов воочию убедился в прозорливости районных руководителей, доверивших Асаилу руководство артелью. Несмотря на трудности военного времени, несмотря на то, что в колхозе остались одни лишь женщины, детишки и старики, дела у Асаила шли хорошо.

Несколько месяцев спустя Юсупова призвали в армию. Он приехал на фронт и явился в отдел кадров политуправления за назначением. Лицо подполковника, который принял его, показалось Юсупову знакомым. Но где и когда они встречались, Юсупов, как ни силился, припомнить не мог.

— Вы, оказывается, дербентский, — проговорил подполковник, просматривая бумаги Юсупова. — Бинаева знаете?

— Еще бы, товарищ подполковник. Я его недавно видел, — Юсупов облегченно вздохнул, он вспомнил: этот подполковник — бывший секретарь райкома партии Фомичев. — Асаил Бинаев работает председателем колхоза. Очень хорошо работает.

— А в партии восстановлен?

— Нет.

Фомичев покачал головой. Оторвался от бумаг решительно рубанул ребром ладони воздух:

— Восстановят. Я уверен. Такие люди, как Бинаев, каждой своей клеточкой привязаны к партии.

Выслушав рассказ Юсупова о его встрече с Фомичевым, Асаил теперь изумленно вскинул седые брови и, не сдержавшись, широко и довольнo улыбнулся.

— Неужели так и сказал?

— Точно так, подтвердил Юсупов.

— Сразу видно, хороший человек, — проговорил Азиз.

Продолжая улыбаться, Асаил вынул из кармана большой серый конверт и протянул Юсупову:

— Вот, пришло из Махачкалы. Вызывают в обком.

– Видишь, дядя Асаил, – оживился Рахман. – Не зря ты писал в ЦК.

– Я за вас спокоен, дядя Асаил, – сказал Юсупов. – Наверняка восстановят.

– Тогда можно и умереть со спокойной душой.

– Вай-вай, что ты говоришь, джан Асаил, – вмешалась в разговор Баджи. – Лучше пусть сгорят огнем все твои враги.

– Вам еще жить да жить, дядя Асаил. На страх всем раввинам и муллам. Вы еще немало проведете антирелигиозных бесед, – радостно проговорил Рахман.

– Дай-то бог, дай-то бог, – присовокупил Азиз. Асаил рассмеялся.

– Дай бог бороться против бога. Так, что ли, друг мой Азиз?

– Так, так. Это к слову говорится, по привычке.

Из соседней комнаты донеслись гулкие и редкие удары колокола. Радио передавало бой часов Кремлевской башни. Асаил всполошился, вскочил и стал поспешно прощаться.

– Пора, пора, засиделись до полночи. Вот уже и дети заснули...

И правда, крошка Марал спала на руках у матери, Шамай дремал, прикорнув на диване.

– А ты чего сидишь, – прикрикнул на жену Рахман. – Не можешь детей уложить.

– Сейчас, – с трудом сдерживая себя, проговорила Хумор.

«Как ему не совестно, – подумала она. – Повышать голос при посторонних. Как все это гадко и недостойно». Но вслух ничего не сказала. Низко опустив голову, она встала из-за стола и отнесла ребенка в спальню.

– А ты куда, ночуй у нас, – предложил Рахман.

– Нельзя, обидятся братья, – сказал Юсупов.

– Рахман тоже твой брат, – проговорила Баджи.

– Конечно, – поддержал жену Азиз.

– Так-то оно так, но все же надо идти.

Юсупов и Асаил ушли. Рахман, проводив гостей до калитки, не спеша направился к дому. В туманной мгле топырились голые сучья деревьев. С них падали крупные капли, тихо, но неумолчно стуча по земле. В сыром воздухе пахло прелью. Взойдя на веранду, Рахман постоял, покурив сигарету и швырнул окурочек в сад. Описав дугу, одинокий красный огонек исчез, подобно падающей звезде, поглощенный тьмою.

В спальне было темно и тихо. Это неприятно удивило Рахмана: неужели нельзя было подождать каких-нибудь пятьдесят минут, пока он не придет. Но еще больше удивило его то, что Хумор лежала не на кровати, а на полу. Он тихо, на цыпочках подошел к ней, нагнулся, спросил:

— Что случилось? Почему ты на полу?

Она ничего не ответила.

— Что с тобой, Хумор? Может быть, ты все-таки объяснишь?

— Со мною ничего. А вот что с тобой? Грубишь, унижаешь меня на людях, кричишь... Так с прислугой — и то не разговаривают.

— Причем тут прислуга? — Рахман почувствовал, что начинает раздражаться, но сдержал себя. — Разве ты не знаешь, что я пережил за последнее время. Совсем нервы расшатались.

Хумор приподнялась на локтях. В темноте этого не было видно, но Рахман знал, что она усмехается, едко и ядовито.

— Скажите, пожалуйста, нервы. У других неприятности посерьезнее, но они не бросаются на людей. Не вымещают на них свою злобу.

— А я, стало быть, вымещаю?

Рахман рассмеялся коротким и злобным смешком. Но, снова сдержавшись, опустил на колени и погладил круглое, шелковистое плечо жены.

Хумор резко сбросила руку мужа и укрылась одеялом с головой.

— Ну, будет, будет тебе... Иди на кровать...

Хумор лежала, не шевелясь...

— Значит, не пойдешь? — в голосе Рахмана зазвенела угроза.

— Нет.

Кровь прилила к лицу Рахмана, он чуть было не обрушил на Хумор злые, оскорбительные слова, но совладал с собой, встал, разделся и лег в постель.

Наутро, стараясь не глядеть на жену, он молча вышел из спальни.

СМОТРЕТЬ И ВПЕРЕД

Мамедов пришел в райком спозаранку. Уборщица Фатия-ханум, отворяя дверь, неодобрительно подумала: «Чего ему неймется? Поднялся с петухами. Сон от него бежит, что ли?»

Фатия-ханум, как ни странно, попала в точку. Мамедову, действительно, не спалось. Накануне он поздно вечером возвратился из Махачкалы, где провел далеко не самый приятный в жизни день. Он-то и лишил его покоя в ночи.

В обкоме Мамедову пришлось выслушать немало горьких и, увы, справедливых слов. Его резко критиковали за то, что Дербент — родина виноградарства — является одним из отсталых районов в республике. Ему напомнили о низком урожае минувшего года, о недопустимо низких темпах работ по посадке новых плантаций и перекопке старых.

Заведующий сельскохозяйственным отделом прямо и жестко спросил его: «До каких пор старые виноградники будут оставаться бессистемными? Сколько можно полагаться на лопату? Почему до сих пор на колхозных плантациях не работают тракторы? Когда, наконец, дербентские колхозы по-настоящему возьмутся за механизацию?»

Каждый из этих вопросов звучал обвинением, тяжким и неопровержимым. Мамедов слушал, краснел и молчал. Что мог он возразить? Мамедов прекрасно понимал, что

надо не возражать, а думать, серьезно думать о том, как быстро и оперативно исправить допущенные ошибки.

Но слабак человек. Хотя Мамедов разумом понимал всю справедливость упреков и обвинений, сердце его жгла обида на агронома Министерства сельского хозяйства Юсупова. «Хорош, а еще земляк. Ведь мы же на месте обо всем договорились, сообща наметили план мероприятий. К чему же было бить тревогу в обкоме, поднимать шум на всю республику? Нехорошо. Теперь, чего доброго, в газетах распишут...»

И хотя на месте Юсупова он поступил бы точно так же, Мамедов негодовал. Оттого и не спал всю ночь. И лишь сейчас, в привычной, деловой обстановке своего рабочего кабинета, стал постепенно отходить. Злись — не злись, делу эмоциями не поможешь. Делу можно помочь лишь одним — действиями. И Мамедов начал действовать.

Он нажал кнопку звонка. Высокая дубовая дверь открылась, и в кабинет бесшумно вошла изящная чернوبرовая девушка в темно-синем строгом костюме.

— Зухра-ханум, — обратился к ней Мамедов, — срочно вызовите ко мне Мукаилова.

По паркету дробно застучали каблучки. Зухра-ханум вышла, плотно притворив за собой дверь.

«Вот кому хорошо, — с завистью подумал Мамедов — Ни тебе обкома, ни Юсупова, ни бессонных ночей. А если они и случаются, то приносят только успокоение и радость... А, хватит, — разозлился он на себя. — Сколько можно. Все, точка».

Мамедов встал из-за стола, подошел к окну, глянул в него. На мостовой старушка кормила голубей, щедро разбрасывая из бумажного кулька хлебные крошки. Голуби, толстые, разъевшиеся, с ленцой клевали корм. Открылась дверь, и в кабинет вновь вошла Зухра-ханум.

— Товарищ Мукаилов сейчас прибудет, — она положила на стол стопку писем и телеграмм и вышла, стройная, прямая, спокойная, в своей невозмутимой уверенности, — человек, которому все ясно и которого ничто не волнует и не смущает.

Мамедов уселся за стол и погрузился в чтение утренней почты...

В тот момент, когда раздался звонок из райкома, Мукаил собирался ехать на виноградники. Положив трубку, он помрачнел. Мукаил недолюбливал вызовы, справедливо полагая, что начальство приглашает председателя колхоза отнюдь не за тем, чтобы пожать руку и поблагодарить за отличную работу.

«Эх, — досадливо поморщившись, подумал Мукаил. — И дернул же меня черт задержаться в правлении. Уехал бы на виноградники, тогда ищи-свищи. Глядишь, и пронесло бы. Что не произошло сегодня, не обязательно произойдет завтра».

Но делать было нечего. Все с той же расстроенной миной Мукаил на ходу надел пальто, надвинул на лоб каракулевую ушанку и вышел, хлопнув дверью.

Ни слова не говоря, он сел в машину рядом с шофером и закурил.

— В райком, что ли, поехали? — спросил шофер. Он по лицу председателя безошибочно определил маршрут.

— Правильно, куда же еще, — вздохнул Мукаил.

Когда он бочком протиснулся в широкую дверь кабинета, Мамедов подписывал какую-то бумажку. Поставив черточку за своей размашистой подписью, он снял очки, встал и вышел из-за стола. Подошел к Мукаилу, пожал ему руку, жестом пригласил сесть в глубокое кожаное кресло перед письменным столом. Сам опустился в другое, такое же, стоявшее напротив первого.

Мукаил насторожился. То, что секретарь принимал не так, как обычно, не сидя за письменным столом, встревожило его. Значит, разговор должен быть вроде как задушевым. Следовательно, он сулит мало приятного: новые требования, исполнить которые нелегко.

Мамедов вынул портсигар, раскрыл, протянул Мукаилу. Это еще больше огорчило председателя. Теперь он уже точно знал, что не ошибся в своих предположениях.

Мукаил густо покраснел так, что даже лысина и мочки ушей стали розовыми, улыбнулся широкой открытой

улыбкой и, отводя в сторону беспокойно бегающие глаза, решительно спросил:

– Зачем звал, товарищ Мамедов?

– Обком нами недоволен.

Мукаил сочувственно покачал головой.

– Справедливо недоволен. Всеми нами. В том числе и твоим колхозом.

– Что же мы натворили? – осторожно осведомился Мукаил.

Мамедов встал, прошелся по кабинету, выключил репродуктор, передававший тихую музыку, и снова сел в кресло напротив Мукаила.

– А что, ты сам не знаешь? Сколько винограда сгнило в прошлом году?

– Кто прошлое помянет, тому, как говорится, глаз вон. Что проку в прошлом, товарищ Мамедов? Нас должно интересовать будущее. Ты же сам призывал смотреть вперед. Золотые слова... А что касается потерь урожая, так люди понесли наказание.

Лицо Мамедова скривила гримаса.

– Ай, товарищ Мукайлов, ты просто рассмешил меня. Как Аркадий Райкин. Кто понес наказание? За что понес? Уж не Рахманов ли? За ослабление воспитательной работы? За то, что поручил проводить антирелигиозные беседы старику Бинаеву? Ты это имеешь в виду? Недаром вы его освободили от обязанностей секретаря.

– Почему это мы, – восторженно воскликнул Мукаил, неожиданно он почувствовал под ногами твердую почву. – Райком освободил. Якубов так нажимал, что мы...

Мамедов поднял руку.

– погоди, я вызвал тебя не за тем. Я вызвал тебя совсем по другому вопросу. Речь идет не о Рахманове. Речь идет о новых посадках. Сколько гектаров вы уже посадили?

«Вот оно что!» – Мукаил зябко поежился. Разговор принимал неприятный оборот.

– Десять, – вполголоса проговорил он. – При плане в тридцать гектаров на этот год.

— И вас удовлетворяет подобное положение?

Мукаил неопределенно пожал плечами.

— Правильно, и нас не удовлетворяет.

Мукаил еще сильнее, чем прежде, покраснел, вынул из кармана большой клетчатый платок и вытер вспотевшую лысину.

В кабинете пронзительно запахло шипром.

— Видишь ли, товарищ Мамедов, мы, как бы это сказать...

Но Мамедов не слушал. Он привстал, перегнулся через стол и достал из ящика какие-то бумаги. Потом надел очки и, пробежав глазами по строчкам, заявил:

— Мы считаем, что ваш колхоз может и должен посадить двести гектаров новых виноградников. Надо смелее вводить механизацию.

Мукаил еще глубже ушел в кресло, откашлялся и жалобно, со слезой в голосе, заговорил:

— Товарищ секретарь райкома, вы же сами знаете: у нас мало свободных земель. Коров негде пасти. Нам хотя бы двести гектаров надо иметь под ячмень, под травы, под сахарную свеклу... Все время не хватает кормов. Коровы сидят на голодном пайке. А вы без конца требуете мяса, молока.

Теперь пришла очередь покраснеть Мамедову.

— Товарищ Мукаил, — отчеканивая каждое слово, строго проговорил он. — Не мы требуем, народ требует. Ему нужно есть. И мы обязаны обеспечить его продуктами. Понятно?

Мамедов встал и подошел к окну. Серый тощий кот, припадая к земле и нервно постукивая кончиком хвоста, подкрадывался к голубям. Мамедов распахнул окно и замахал руками. Голуби нехотя взлетели и тут же уселись на карниз дома, что стоял напротив райкома. Кот проводил их разочарованным взглядом, зевнул и побрел прочь.

— А вот насчет сева ячменя и трав давай поговорим, — Мамедов вновь вернулся на свое место. — Зачем сеять ячмень и травы на корм? Что, у вас кукурузных семян

нет? Раз мало земли, сейте кукурузу. Получите не меньше пятидесяти центнеров с гектара.

Мукаил глубоко вздохнул. Задумался. «Сколько свалилось неожиданных забот, хлопот. Новые посадки винограда, реконструкция старых виноградников, механизация, кукуруза, силосование. Словом, не было печали».

— Трудно, товарищ Мамедов.

— Разумеется, — охотно согласился Мамедов. — А что легко? ... Итак, товарищ Мукаилов, — он встал. — Давай браться за дело. Немедленно и с огоньком. Чтобы летом друг на друга не обижаться. Договорились?

Улыбаясь, Мамедов протянул Мукаилу свою крепкую, поросшую черными волосами руку:

— Значит, будем смотреть вперед, товарищ Мукаил! А?

НА ТО И ДРУЗЬЯ

На обеденном столе лежал лист ватмана, прихваченный по углам круглыми блестящими кнопками. Над ватманом склонилась курчавая голова. Под ярким светом большой электрической лампы, защищенной розовым абажуром, завитки черных волос отливали булатной синевой. Углубившись в чертеж, Ахмед не заметил отца, тихонько вошедшего в комнату. Адигезал на цыпочках, чтобы не помешать сыну, подошел к столу и заглянул через плечо Ахмеда в чертеж.

На белом ватмане отпечаталась тень, Ахмед поднял голову:

— Почему не спишь, отец? Ведь уже поздно.

— Работай, работай, сынок. Не буду мешать, — старик смутился, но не ушел, а, потоптавшись на месте, присел на краешек соседнего стула.

— Что это?

— Проект реконструкции наших виноградников.

Адигезал надел очки, привстал и, обняв правой рукой плечо сына, погрузился в изучение чертежа. На белом

листе агроном аккуратно расчертил ровные ряды будущих виноградников.

— Толково, — похвалил Адигезал.

— Вот здесь, — Ахмед ткнул пальцем в правый угол чертежа, — мы и начнем. Первая очередь работ пойдет на этом участке.

— Чей это участок, сынок? Твой?

Ахмед постукал пальцем по столу и тихо ответил.

— Нет, Рахмана.

— Почему же начинать не с тебя? Как-никак ты секретарь. Кому как не тебе показать людям пример.

Старик, сам того не подозревая, уязвил сына, Ахмеду очень хотелось, чтобы все началось с его бригады,

— Рахман первым поднял вопрос о реконструкции старых виноградников, — Ахмед убеждал не столько отца, сколько самого себя. — Естественно, что честь быть начинателем принадлежит ему.

— Это ты прав, — согласился Адигезал, — Рахман всему делу голова. недаром Мукаил против него рвет и мечет. А вообще с нашим председателем творится что-то неладное. Встретил его сегодня — хмурый, злой, в глаза не смотрит. Голова, говорит, кругом идет.

— Его недавно вызывал Мамедов.

— Вправлял мозги? Накачивал? — усмехнулся Адигезал.

— Нет, зачем. Мамедов этого не любит. Ставил задачи. Насушные и жизненно необходимые. Их решать — всем нам, сообща.

— Адигезал, побойся бога! — в комнату ворвалась Сурия-ханум. — Двенадцатый час, оставь сына в покое.

— Ничего, мама. Я все равно Веру дожидаясь, скоро уже она с дежурства придет, — Ахмед раскрыл лежащую на столе книгу и принялся за чтение.

— Ах, ханум, ты опять решила завести свой патефон, — недовольно проворчал Адигезал, — тебя хлебом не корми, только дай языком поворочать.

Сурия-ханум вскинулась на мужа:

— Не прикажешь ли мне отрезать язык? Уж лучше отрежь язык своей сестры.

Адигезал попытался что-то сказать, но безнадежно махнул рукой и вышел из комнаты. Сурия-ханум удовлетворенно кивнула головой и уселась на стул.

— Вот старый болтун. Скажи спасибо, что я тебя от него избавила. По крайней мере теперь сможешь спокойно поработать... Так вот, девочки хорошо поужинали. Съели дулму с молоком, Эльмира, умница, даже попросила прибавки. А на Людмилу пришлось накричать. Но в конце концов тоже все съела. Я обещала, что ты в воскресенье сходишь с ними в кино, на детский сеанс. Они на вас с матерью в обиде. Почему, говорят, никогда не берут нас в кино? Потому, отвечаю, что дети до шестнадцати лет на вечерние сеансы не допускаются. Вот купим телевизор, тогда смотрите на здоровье. Так знаешь, что Эльмира мне ответила? Пока папа соберется купить телевизор, нам стукнет по шестнадцать лет, — Сурия-ханум рассмеялась. — Ты посмотри, какая умница. За словом в карман не полезла.

Ахмед захлопнул книгу. Читать под непрерывную болтовню матери было невозможно.

— Ты ложись, мама, а я пройдуся, подышу перед сном воздухом. Встречу Веру.

— Иди, иди, сынок, — Сурия-ханум зевнула, прикрыв рот рукой.

На улице было тихо. Лишь откуда-то издали доносились невнятные шумы засыпающего города. А сверху на фоне нежного мерцания неба чернел силуэт старинной крепости Нарын-Кала. Ахмед не спеша шел по улочке, погруженный в сонную тишину. «Как странно устроена жизнь, — раздумывал он. — Людмила и Эльмира радостно приветствуют каждый новый день, ибо он приближает долгожданное шестнадцатилетие, желанный момент, когда, наконец, упадут преграды и можно будет без оглядки пользоваться всеми благами жизни, то есть, — Ахмед ласково улыбнулся, — ходить на вечерние сеансы в кино. Жизнь спешит им навстречу. А от человека, разменявшего

третий десяток, жизнь уходит. Оттого каждый новый день не радует его. Одним новый день прибавляет, у других убавляет. Время, казалось бы, для всех общее: сутки – двадцать четыре часа, час – шестьдесят минут. Но это только видимость. На самом деле – время разное, в зависимости от человека».

Ахмед вздрогнул. Кто-то, незаметно подкравшись сзади, закрыл руками его глаза.

– Вера! – он схватил ее руки, оторвал от своего лица и, обернувшись, с силой обнял жену и прижал к себе.

– Пусти! Пусти! Сумасшедший... на улице... – но он не отпускал, силясь поцеловать ее в губы. – Что ты, что ты, Ахмед, как не стыдно, – она пыталась вырваться, но безуспешно. – Отстань, все лицо исколол своими усами...

– Это ничего. Терпи. Усы украшают мужчину...

Наконец она вырвалась и убежала. Шагов за двадцать от него остановилась и обернулась. Видно было, как во тьме смутно белело её лицо.

– Обещаешь, что не будешь больше дурить? – в голосе ее зазвенела улыбка. – Не то побегу домой одна.

– Ладно. Обещаю. – Ахмед не удержался и тоже улыбнулся.

Когда они пришли домой, там было тихо. Все уже спали.

– Что это, Ахмед, – войдя в комнату и включив свет, спросила Вера. Взгляд ее остановился на ватмане.

– Проект реконструкции виноградников. Скоро, дорогая, на наших старых плантациях лопату заменят тракторы. Начнем вот здесь, с участка бригады Рахмана.

– Почему Рахмана? За что именно ему выпала такая честь?

– Он инициатор реконструкции. К тому же, Рахман у нас один из лучших бригадиров.

Вера вздохнула и грустно усмехнулась.

– Все вы, мужчины, хороши. Когда спите. Да еще, пожалуй, на работе. И то не всегда.

Ахмед пожал плечами и недоуменно взглянул на жену.

– О чем ты, Вера?
– Так, ни о чем.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего особенного. Так... – Вера умолкла и принялась стелить кровать.

– Нет, погоди, я слишком хорошо тебя знаю. Я вижу, что-то произошло.

– Ничего. Давай ложиться.

– Нет, постой. Ты что-то от меня скрываешь. Я же чувствую. Вера, меня не проведешь. Говори!

Вера присела на край расстеленной постели и рукой показала мужу, чтобы сел рядом.

– С Рахманом неладно. Ведет себя нехорошо. Грубит, кричит на жену, на детей. Начал пить. После партийного собрания, когда его не выбрали секретарем, пришел домой пьяный... Рахман переменялся. Совсем другим стал.

– Откуда ты все это знаешь?

– Хумор рассказала. Под строгим секретом... Перед дежурством я зашла в поликлинику. Заглянула в кабинет врача и кого, ты думаешь, увидела? Хумор. Сидит одна, бледная, заплаканная. Спрашиваю, что случилось? Молчит, плачет. Я приласкала ее, кое-как успокоила. Когда она отошла, рассказала мне все подробно. Все, без утайки, Ахмед задумался. Помрачнел. Закурил.

– Послушай, Ахмед, вы же друзья. Поговори с ним пока они вконец не рассорились. Они же любят друг друга.

На другой день Ахмед на винограднике несколько раз порывался поговорить с Рахманом, но все не получалось. То дела не позволяли, то люди были вокруг. Лишь под конец рабочего дня, когда колхозники собрались домой и сели в машины, Ахмед на ходу бросил Рахману.

– Приедем в город, зайди в парткабинет. Надо по-толковать.

Рахман хотел было спросить, о чем, но шофер нетерпеливо просигналил, и он поспешил взобраться в кузов машины.

В парткабинете было накурено и беспокойно. Каждую минуту входили и выходили люди. У всякого было дело к секретарю, так что разговор не клеился. Рахман сидел за длинным столом, заваленным брошюрами и подшивками газет и журналов, рассеянно листал иллюстрированный журнал с яркими цветными фотографиями и с досадой думал: «Чего ему от меня понадобилось? Зачем позвал и почему тянет резину, не говорит?»

Наконец воспользовавшись тем, что вышел последний посетитель, а новый еще не зашел, Ахмед подошел к двери и запер на ключ.

— Чтобы не мешали, — пояснил он, подошел к Рахману, сел рядом с ним и, положив свою ладонь на его руку, спросил: — Почему давно не заходил к нам домой?

Левая бровь Рахмана взметнулась кверху, глаз подозрительно прищурился. Тут что-то не то. Не затем же он вызвал, чтобы сообщить, что соскучился.

— Все некогда. Времени не хватает. Со временем просто зарез, — уклончиво проговорил Рахман.

— Все мы заняты. Но товарищи не вправе забывать друг друга. Фронтвые товарищи в особенности. Не так ли?

— Разумеется, — поспешно согласился Рахман и насторожился: куда все же клонит секретарь?

— Да и Вера относится к вам как к родным. Хумор для нее все равно, что родная сестра. Ты же знаешь, у нее здесь — никого. А к вам она привыкла.

— Ладно, зайдем как-нибудь. Как говорится, если бог даст, зайдем, — Рахман попытался улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой и печальной. Он встал, давая понять, что разговор окончен.

— Нет, погоди, — удержал его Ахмед. — Знаешь что, — он вдруг заговорил решительно и резко. — Не знаю, какой я друг, но дипломат я никакой. Словом, чего там финтить. Ты мне прямо скажи, что там у вас с Хумор происходит?

Рахман грузно опустился на стул,

— Ничего... Ничего особенного...— глаза его загорелись недобрым огнем. — А что, уже успела наклепать?

— Вот видишь, какой ты, Рахман. Я Хумор и в глаза не видел. Зачем на нее наговариваешь? Если б ты даже и избил Хумор, она о тебе все равно ни одного дурного слова не сказала бы. Ты ведешь себя недостойно. Нехорошо ведешь себя, Рахман. Об этом уже и слух пошел. Что-что, а худое разносится быстро. Так что ты крепко подумай о своем поведении. А на Хумор не обижайся. И на меня тоже не сердись.

Но Рахман был обижен и рассержен. «Что я сделал плохого? А если даже и сделал что не так, почему о моих взаимоотношениях с женой должен знать Ахмед? И не только знать, но и судить. Кто дал ему право вмешиваться в нашу семейную жизнь?»

Так рассуждал про себя Рахман. И чем дольше он думал, тем суровее осуждал жену, считал ее виновницей всех бед. Сколько Ахмед ни уговаривал его, он никак не успокаивался. Наконец, скрепя сердце, он все же дал обещание исправиться.

— Ну, вот и хорошо, — повеселел Ахмед. — На то и друзья, чтобы помогать друг другу. В жизни всякое бывает. И если случится потерять ориентир, настоящий друг всегда поможет выйти на правильную дорогу.

Ахмед, как и многие люди, простодушно полагал, что стоит человеку дать обещание исправиться, как все неминуемо переменится к лучшему. Так думал и Рахман. Когда он давал Ахмеду обещание, он был абсолютно искренен. Но в действительности все оказалось не так.

Придя домой, Рахман приветливо улыбнулся родителям, приласкал детей и, довольный собой, умиленный и размягченный, прошел в спальню с твердым намерением помириться с женой.

Хумор спала на полу, у окна. Широкая супружеская кровать, купленная тещей к свадьбе, стояла пустая. Вот уже сколько ночей Рахман спал один. «Как все это глупо», — с досадой поморщившись, подумал Рахман и улегся, не раздеваясь, на кровать. Он лежал, вслушиваясь в

тишину, — дыхания Хумор не было слышно, — и чувствовал, как растут в нем раздражение и злость. Начинать разговор надо было сейчас же, немедленно, но он не мог этого сделать: еще не спали старики. И он лежал, уставившись в темноту, и боролся с недобрыми чувствами, одолевавшими его. Сколько времени прошло, он не знал, то ли пять минут, то ли пять часов. Наконец, в доме все стихло. Рахман встал, снял башмаки и в одних носках, бесшумно ступая по прохладному полу, прошел в комнату родителей. Старики спали.

Он так же бесшумно вернулся в спальню, подошел к окну, присел на корточки и погладил жену по голове. Хумор вздрогнула.

— Я пришел к тебе с миром. И за миром. Встань, Хумор. Иди ко мне.

— Уйди, — глухо и зло проговорила она.

— Прости меня, Хумор. Извини, если я чем обидел тебя.

— Не трогай меня, — она с силой оттолкнула его руку.

— Мне не нужны твои извинения.

— Тебе не нужны мои извинения? — с горечью и печалью спросил Рахман. — Может, и я уже не нужен тебе?

— Нет. Не нужен.

— Так кто тебе нужен? — голос Рахмана сорвался на визг. — Может быть, плешиный Бебе с его вечными приставаниями? Ты думаешь, я не видел, как этот прохвост пялил на тебя глаза на свадьбе? Думаешь, не слышал дурацкую песню, которую он тебе пел? Я вижу, Бебе милее тебе. И не один я заметил это. После того вечера немало людей то же самое заметили, — Рахман понимал, что несет вздор, но злость захлестнула его, и он, как ни желал, уже не в силах был остановиться.

— Как тебе не стыдно, — Хумор скинула с себя одеяло и села на матраце. — Я тебя ждала всего войну. Бебе засылал сватов, задаривал шелками, золотом. И гнала их всех в шею, забрасывала камнями. И вот теперь слышать такое... — она заплакала, тихо и жалобно. — Нет, Рахман, не знала я, что ты такой человек.

— Значит, я нехороший? Значит, я никуда негодный человек?

Хумор молчала. И плакала, тонко всхлипывая. В слабом луче света, струившегося из окна, ее лицо выглядело бесконечно печальным. Плечи мелко вздрагивали. С левого сползла бретелька и тоскливо повисла на руке.

К горлу Рахмана подкатил горький комок. Он сделал усилие и проглотил комок. Уязвленное самолюбие, ущемленная гордость, злоба пересилили жалость, смягчившую было его. Он встал и отошел от Хумор. Уже на ходу бросил.

— Если я нехорош, ищи себе другого. Пожалуйста. Скатертью дорога.

Рахмаи лег на кровать и укрылся с головой одеялом, стараясь ни о чем не думать и ни к чему не прислушиваться.

Хумор встала, поспешно оделась, подхватила на руки спящую дочку, та вскрикнула во сне, но, успокоенная матерью, замолчала.

Хлопнула дверь, и в комнате вновь стало тихо.

— Хумор, — вполголоса позвал Рахман.

Никакого ответа.

— Послушай, Хумор...

Он вдруг понял: произошло нечто дурное, постыдное, почти непоправимое, то, что надо немедленно исправить. Он сбросил одеяло, вскочил, зажег свет. В комнате было пусто. Детская кроватка тоже стояла пустая.

Рахман бросился на веранду.

— Хумор, куда ты? Вернись, Хумор! — в ночной тишине голос его прозвучал необычайно громко и самому ему показался до неузнаваемости чужим.

Стукнула входная калитка. Хумор ушла, забрав с собой дочку, ушла к матери, жившей напротив, через дорогу.

Разбуженные шумом, проснулись старики. Встревоженные, растерянные, полуодетые, они стояли на веранде и никак не могли понять, что же произошло.

— Что случилось, Рахман? — с тревогой спросил Азиз, поеживаясь от ночной прохлады.

— Ушла... Хумор ушла из дому.

— Лучше бы мне ослепнуть, чем увидеть такое! — закричала Баджи. — Лучше бы мне сгинуть со свету, чем дожить до такого черного дня. Чем ты обидел ее?

Рахман молчал. За него ответил Азиз.

— А я знаю. Я все знаю. Мой сын сошел с ума. Уже давно. С того самого дня, как его в начальство не выбрали.

— Одумайся, отец. Что ты говоришь?

— Не я говорю, все говорят. Потому что это правда. Совсем голову потерял. Решил, что умнее тебя никого на свете нет. Не переизбрали. Ну, и что ж? Дело общественное, кого хотят, того и выбирают.

— Да я об этом и не думаю.

— Нет, думаешь, шайтан, думаешь. Ведь тебя оставили бригадиром? Оставили. Так ты работай, не заносись. Ни отец твой, ни дед хакимами не были. Были мы бедными людьми, копались на чужой земле, не заносились. А ты выше головы норовишь прыгнуть.

Рахман не удержался:

— Да замолчи ты, наконец. Что ты на меня набросился?

— На тебя не набрасываться надо. Тебя сечь надо. Да стыдно. Взрослый уже.

Рахман больше не мог слушать отца. Но и пререкаться не стал. Закусив губу, он ушел в свою комнату.

Старики остались одни. Баджи как-то разом сникла. Притихшая, напуганная, она сидела на ступеньках веранды, сжавшись в комок, и растерянно приговаривала:

— Что же будет? Боже ты мой, что теперь будет?

Азиз, напротив, весь подобрался. Энергичный и решительный, он расхаживал по веранде и думал.

— Вот что, старая, — наконец, остановившись, заявил он. — Нечего нюни распускать... Надо быстро что-то делать. Пока по городу слух не пошел. Пока злые языки не

взялись за работу... Ступай к Хумор сейчас же. Уговори ее вернуться. Приведи с собой.

— Что ты, что ты, Азиз, — заплакала Баджи. — Лучше мне провалиться сквозь землю, чем идти туда. Стыд, позор...

— Иди, старая, иди, — голос Азиза звучал жестко и требовательно. — Так надо. Другого выхода нет.

Баджи со стоном поднялась со ступенек и прихрамывая побрела за калитку.

И Хумор и мать ее Мелка были еще на ногах. Они испуганно вскинули глаза на Баджи, появившуюся на пороге. Вид ее был страшен: с перекошенным, мокрым от слез лицом, она стояла в дверях, рвала на себе волосы и царапала в кровь изборожденные морщинами щеки.

— Успокойся, мама, ради бога, успокойся, — Хумор подбежала к старухе, усадила ее на стул, стала отпаивать водой.

— Вернись сейчас же, вернись домой, — прохрипела Баджи.

— Не могу... Не могу, мама. Нет больше сил терпеть его оскорбления.

— Ну, тогда мне остается одно, — Баджи решительно поднялась на ноги, — пойду домой, оболью себя керосином и подожгу.

То, что она сказала, было настолько нелепым, что Хумор еле сдержала улыбку. Впрочем, она понимала, что старуху в самом деле мучительно терзает горе, выразить же чувства у нее не хватает слов, простых, скупых и правдивых. И она пользуется старыми, затрепанными, давно потерявшими реальный смысл выражениями, которыми столь же бессмысленно пользовались веками ее предки и передавали своим потомкам из века в век. По-иному думала Мелка. Она знала, что существует не только горе, но и ритуал его. И исполнять его так же необходимо, как умываться по утрам или наряжаться, когда идешь на люди. Поэтому Мелка, подобно Баджи, рванула свои волосы и принялась царапать лицо ногтями.

— Ай, Баджи, ай сестра моя, — пронзительно, с громкими всхлипываниями рыдала она, — не обливай себя керосином. Не сжигай себя на огне. Не дай врагам своим радоваться. Пусть бог все несчастья твои взвалит на спину врагов твоих... А ты, дочь моя, — обернувшись к Хумор, деловито прибавила она, — вернись в свой дом. Утешь своих матерей.

— Хорошо, мама, — проговорила Хумор. — Я вернусь, — и Баджи и Мелка тут же перестали плакать, заправили волосы под платки. — Но не сейчас. Потом. Пусть он хотя бы немного почувствует то, что пережила я.

— Ладно, ладно, дочка, спасибо тебе, — Баджи заторопилась домой. — Пусть бог сделает так, чтобы часть моей жизни перешла к тебе и Рахману.

Старуха вытерла краем платка глаза и засемила к выходу. Мелка, провожая ее, на ходу говорила:

— Не убивайся, Баджи. Все утрясется. Люди они молодые — поссорились, помирятся.

Немало дней прошло с той ночи. Рахман все ждал и ждал. Но Хумор не возвращалась.

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ

Рабочий поезд Дербент-Махачкала отходил рано утром. В ту ночь Асаил почти не спал, не оттого, что боялся опоздать на поезд, а оттого, что беспрерывно думал о предстоящем дне. О том дне, которого он так долго ждал. Асаилу предстояла поездка в обком по вызову партийной комиссии.

Едва забрезжил рассвет, как старик встал, тихо, чтобы не разбудить жену, оделся и, мягко ступая на носках, двинулся к двери. Но навстречу ему вышла Евдит.

Она, оказывается, встала раньше и хлопотала на кухне, готовя мужу завтрак.

— Садись, поешь на дорогу. До поезда еще много времени.

Асаил отрицательно покачал головой:

— Спасибо, старая. Не хочу.

— Ай, Асаил, ты больной человек. Если себя не щадишь, пощади по крайней мере меня. Съешь хотя бы стакан простокваши.

— Разве мне до еды?

— Если ты протянешь ноги, скажи, какой будет прок в твоём партбилете?

— Глупая ты, старуха. Ну, как ты не можешь понять, что, когда я вновь получу партбилет, мне и умирать будет не страшно.

Евдит всплеснула руками:

— Вай, несчастная моя мать! Зачем выдала замуж за неисправимого человека? Зачем обрекла меня на мучения?

Старик примирительно улыбнулся.

— Ну, ладно, жена, тебя не переспоришь. Давай свою простоквашу. Съем стакан — и спору конец.

Хотя Асаил и пошучивал, чувствовал он себя неважно. Все время ныло под ложечкой.

Евдит поставила на стол стакан кислого молока. Старик одобрил его сахаром и ложка за ложкой, небольшими глотками, выпил. Боль постепенно улеглась.

— Ну, мать, спасибо тебе. А теперь я пошел.

— В добрый путь, Асаил.

Евдит проводила мужа до порога дома и, когда он переступил его, выплеснула вслед кружку воды. По старинному поверью это должно было принести удачу. Евдит не отличалась суеверностью, но дело, с которым столкнулся Асаил, было важным, и старуха так горячо желала благополучного исхода, что она не смогла удержаться, чтобы не призвать на помощь сверхъестественные силы...

В обком Асаил пришел рано. До начала рабочего дня оставалось еще двадцать минут.

— Пойдите погуляйте пока, — предложил дежурный.

Но разве старику было до прогулок? Ему не терпелось встретиться с секретарем парткомиссии. Однако делать было нечего, он отправился бродить по городу. Прошелся по улицам, по аллеям городского сада, посидел на скамье неподалеку от моря.

Здесь было хорошо. Утренний воздух, прозрачный и чистый, был напоен нежным ароматом цветов и солеными запахами моря.

Мимо проходили люди: веселые, грустные, озабоченные, легкомысленно пересмеивающиеся, спешащие и лениво бредущие – и никому из них не было дела до Асаила. Это казалось ему странным и непостижимым. Он сидел на скамье, глядел на пеструю толпу, текущую мимо, и никак не мог уразуметь, почему все эти люди не знают того, что известно ему и, казалось бы, должно быть известно каждому: они не знают, что вот сейчас решится то большое и чрезвычайно важное, чего он ждал столько лет и в чем видел смысл всей своей жизни. Ему хотелось встать, броситься к этим людям и рассказать им все о себе. Ему хотелось сделать всех этих людей богаче и счастливее, чем они есть... Взглянув на часы, он поднялся со скамьи и быстрым шагом пошел по направлению к обкому.

Прежде чем войти в кабинет секретаря парткомиссии, Асаил вынул из кармана маленькое зеркальце и придирчиво оглядел себя. Накануне он чисто выбрился, и теперь щеки отливали синевой. Глаза, несмотря на бессонную ночь, глядели бодро и весело.

Асаил поправил сбившийся набок галстук и вошел. В кабинете было двое. Один – моложавый, со смуглым, подвижным лицом, другого Асаил не разглядел: он сидел в кресле перед столом, спиной к двери.

– Проходите, товарищ Бинаев, присаживайтесь, – пригласил смуглолицый, сидевший за письменным столом, видать по всему, хозяин кабинета.

– Здорово, Асаил! Здорово, дружище! Сколько ж мы с тобой не виделись? Почитай, лет пятнадцать!

С кресла поднялся приземистый, коренастый человек с пышной седой шевелюрой и сжал Асаила в своих объятиях.

– Узнаешь?

– Еще бы не узнать – Фомичев.

– Он самый.

– Жив, здоров, ты и представить себе не можешь, как я рад тебя видеть! – взволнованно бормотал Асаил, щуря глаза, чтобы скрыть набежавшие слезы радости. – Ты из Москвы в командировку к нам приехал?

– Совершенно верно. Садись, старина. В ногах правды нет.

– Выходит, гора с горой не сходится, а старые знакомые, – улыбаясь, проговорил секретарь парткомиссии.

– Какие там знакомые – старые друзья, – перебил Фомичев. – Я же тебе говорил, мы с ним до войны вместе работали в Дербенте. Я секретарем райкома, он редактором газеты... Ну, Асаил, выкладывай, как все эти годы жил, работал. Что сейчас поделяешься?

Асаил подробно рассказал о своем житье-бытье.

– А как с общественной работой? – спросил секретарь парткомиссии.

– Долгое время проводил с колхозниками антирелигиозные беседы.

– А теперь?

– Не провожу.

– Почему? – насторожился Фомичев.

Старик нехотя рассказал о событиях, происшедших не так давно в колхозе «Дербент».

– Из-за меня пострадал хороший коммунист фронтовик, бывший секретарь колхозной партийной организации Рахманов. Обвинили в потере бдительности. За то, что доверил идейное воспитание людей бывшему раввину, чужаку, исключенному из партии.

Секретарь парткомиссии и Фомичев переглянулись.

– А Мамедов что по этому поводу думает? – спросил Фомичев.

– Не знаю. Не разговаривал с ним. Говорят, инструктор райкома вызывал Рахманова, отчитывал. Якубов его фамилия.

– Так, так, – Фомичев постучал карандашом по столу, вытащил пачку «Казбека», закурил. Сизое облачко дыма потянулось к открытому окну. В комнате стало тихо. С улицы донеслись звонкие голоса детей.

— А почему ты до сих пор не подавал заявление о восстановлении в партии? — спросил Фомичев, и голос его прозвучал неожиданно резко. — Неужто обиделся?

— Что ты, что ты! — бледное лицо старика покрылось слабым румянцем. — Обидеться на партию?! Да я за партию Ленина, не задумываясь, жизнь отдам. Партия для меня и отец и мать. Все эти годы, сколько я ни страдал, ни мучился, ни минуты не чувствовал себя беспартийным. Всей душой, всем существом своим был с партией. Читал лекции, выступал с докладами, проводил беседы, да разве словами расскажешь, — он закашлялся, вытер пот, выступивший на лице, и продолжал. — Почему я раньше не подавал заявления? Разве не подавал! Сразу же после исключения подал. Сказали — подожди. Я ждал. Во время войны подал. Не сумели рассмотреть. Люди все время менялись в райкоме. Вот теперь снова подал. В ЦК написал, — старик вдруг слабо охнул и, словно надломившись, осел на стул.

Он согнулся, сжал обеими руками живот. Секретарь парткомиссии достал из шкафа бутылку минеральной воды, налил стакан, подал Асаилу.

— Выпейте, полегчает.

— Спасибо, — Асаил небольшими глотками опорожнил стакан. — Все в порядке. Уже прошло. Вы меня извините.

— Ничего, ничего, старина. А вот за здоровьем надо следить. Ремонтировать организм надо. Время от времени.

— Мы вас больше беспокоить не будем, товарищ Бинаев, — сказал секретарь парткомиссии. — Поезжайте домой. Берегите себя. А в обком вас скоро вызовут.

Асаил неприятно удивился. Он ждал, что дело его решится сегодня же, а тут новая проволочка. Но вслух ничего не сказал. И только прощаясь с Фомичевым, проговорил.

— Теперь ты живешь в Москве, далеко от нас. Но не забывай Дербент. Заезжай. Всегда будешь желанным, дорогим гостем.

Когда Асаил вышел, Фомичев, оставшись наедине с секретарем парткомиссии, задумчиво сказал:

— Знаешь что, я назвал бы этого человека фанатиком марксизма. Хотя, — он усмехнулся, — формулировка эта явно неуставная.

ПЕРЕД ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ

В поликлинике перед кабинетом, где работала Хумор, была большая очередь. Вызвать подругу никак не удавалось, шел приём. И Вера, запасшись терпением, ждала. Пришла она сюда по поручению мужа.

— Ты сходи к ней, — настаивал Ахмед, — обязательно сходи. — Сколько же можно. Надо, наконец, их помирить. Ведь любят же они друг друга, черт бы их побрал, а уперлись, как упрямые козлы на узкой дороге. И ни один не хочет первым уступить. На носу восьмое марта. Позови их к нам. Скажи, если, мол, не придешь с мужем к нам на праздник, обидимся. И веди себя так, будто и мысли не допускаешь, что они еще не помирились.

Приём, наконец, окончился, и Хумор вышла в коридор.

— Вера! Заболела? — удивилась и забеспокоилась она.

— Что ты, что ты, я здорова. И тебе того же желаю.

— Впрочем, оно и по тебе видно. Ты отлично выглядишь.

— Ты тоже, моя дорогая, — Хумор выглядела ужасно: бледное, осунувшееся лицо, черные круги под глазами, тусклый, унылый взгляд.

— Какое там, — Хумор махнула рукой. — Краше в гроб кладут.

— Что, опять дома неприятности?

— Устала. Работы много.

— Вот я и пришла, чтобы тебя отвлечь. А вернее сказать, развлечь. Восьмого марта не только наш общий, но и мой личный праздник. В этот день я родилась на свет. Так что прошу тебя вместе с Рахманом придти к нам. Если вы не придете, я буду очень огорчена. Значит, договорились?

– Посмотрим... Постараемся...

– Нечего смотреть. Ждем.

Она поспешно обняла подругу, расцеловала и ушла, довольная тем, что столь удачно справилась со своей дипломатической миссией.

В тот же день Ахмед встретился с Рахманом.

– Вера зовет тебя и Хумор на свой день рождения. Восьмого марта. Понял?

Рахман обрадовался.

– Придем, обязательно будем, – он решил, что лучшего предлога для примирения с женой и желать нечего.

Баджи, увидев Рахмана, радостно встрепенулась. Таким веселым он давно уже не приходил домой.

– Что, мама, Хумор не была? Старуха помрачнела:

– Лучше не спрашивай, сынок. Твоя мать скоро сойдет с ума! Пусть бог превратит в черные угли тех, кто наслал на нас эту беду. Подумать только – мать двоих детей, и бросила дом. Какой стыд! Какой позор!

– Ничего, мама, сейчас мы со всем этим покончим. Раз и навсегда.

– Что ты еще надумал? – старуха забеспокоилась. – Нет, Рахман, ты меня в гроб вгонишь.

– Пойду к ней и уговорю. Упрошу вернуться домой.

Первым желанием Баджи было кинуться к сыну, вцепиться в него обеими руками, не пускать. Подумать только, мужчина будет упрашивать женщину. Где это слыхано! Узнают люди, засмеют. Но, с другой стороны, что еще оставалось делать? Другого выхода нет. И старуха смирилась.

– Иди, – тихо проговорила она. – Да поможет тебе бог... Только предупреди Мелку, чтобы держала язык за зубами, не позорила нас.

Хумор была дома. Сидя на диване, она причесывала маленькую Марал. Мелка, присев на корточках перед низеньким столиком, на котором белел тонкий лист раскатанного теста, нарезала лапшу.

– Папа! Папа пришел! – вскричала Марал и, вырвавшись из рук матери, бросилась на шею отцу.

А, чтоб тебя... — рассердилась Хумор. — Иди сюда, я закончу тебя причесывать.

— Не пойду. Хочу побыть с папой, — упрямо проговорила Марал и еще сильнее прижалась к Рахману.

— Чтоб тебя шайтан забрал, — вспыхнула Хумор, но, встретившись взглядом с Рахманом, закусила губу и смолкла.

— Хумор, — усилием воли сдерживая себя, проговорил Рахман. — Восьмого марта именины Веры. Нас приглашают. Не пойти нельзя. Слышишь?

— Пойдите, обязательно пойдите, — вмешалась в разговор Мелка. — Не надо обижать людей.

— Вот хорошо, — захлопала в ладоши Марал. — И мне принесите гостинцев с именин. Конфет, шоколаду.

— А что мы ей подарим? — спросила Хумор.

— Я уже купил коробку «Сюрприз» и косынку.

Хумор криво усмехнулась:

— Так я и знала. Хуже ничего не мог придумать?

Рахман смущенно развел руками:

— Разве на вас, женщин, угодишь? Пойдем вместе, купим то, что надо, — он обрадовался, разговор разыгрывался, как по ногам.

Хумор молчала.

— Конечно, — поддержала Рахмана Мелка. — Ступай, это твое дело — выбрать подруге подарок.

— Всем давно известно, что у тебя лучший вкус в Дербенте, — он покраснел, лезть показалась ему слишком грубой.

— Ну, чего ты сидишь? Чего ждешь? — напустилась на дочь Мелка. — Лучше бы твоей матери сквозь землю провалиться. Вставай, негодница, сейчас же вставай. Человек сам к тебе пришел, первым. А ты лицо воротишь. Бесстыдница, с вышки минарета на мужа смотришь... Иди, иди к себе домой. Тебе здесь больше нечего делать.

Хумор покраснела, но вступать с матерью в перепалку не стала. Поднявшись, она подхватила на руки дочь и решительно проговорила:

— Пошли.

Когда они вышли во двор, Рахман, торопливо пробормотав, что сейчас вернется, бросился обратно в дом.

— Спасибо, мама, большое вам спасибо, — он обнял и расцеловал Мелку. — А на нее не сердитесь. Мы еще зайдем потом. Она попросит прощения,

— Да поможет вам бог, детки, — сквозь слезы растроганно проговорила Мелка. — Пусть враги ваши сгорят в огне и утонут в воде. А для меня нет другой жизни, кроме вашей. И другого счастья, кроме вашего.

— Рахман, ты скоро? — слышалось со двора.

— Иду! Иду!

ВОЛК В ОВЧАРНЕ

В доме Шамаиловых готовились к пасхе. Старуха Сенем, напавив на себя обноски, белила потолок. Кисть, которой она работала, была старой, и то и дело соскакивала с ручки, обдавая и ее самоё, и стены, и пол жирными брызгами.

— Лучше бы мне умереть, чем так мучиться. — Сенем в который уже раз насадила на ручку кисть. — Сколько просила Бебе починить — как горохом об стенку. В кого только он уродился такой? О доме совсем не думает. Вот и крутись день-деньской, как проклятая.

И мужскую и женскую работу делай, чтоб ему пусто было.

— Мама, о чем ты там? Я плохо тебя слышу, — крикнула со двора Либо.

— Это я так, сама с собой. Не обращай внимания. Делай свое дело.

Во дворе на длинной веревке были развешены ковры. Либо, вооружившись палкой, выбивала из них пыль.

— Что ты делаешь, дочь моя? Разве палкой ковры выбивают? — Сенем вышла во двор с ведром, наполненным белилами.

— А как же мне бить? Я же одна с ними не управлюсь.

– Погоди, вот окончу побелку, тогда мы вдвоем и вытряхнем их. А пока протри в доме мебель, приготовь воду, будем мыть полы.

Либо взглянула на небо. Солнце стояло в зените.

– Ай-вай, уже полдень. Когда же мы обед приготовим? Если не поспеть с обедом, твой сын устроит такой тарарам, из дому сбежишь.

– Лучше бы мой сын остался без матери. Разве на него угодишь? Есть в доме обед – сидит в ресторане. Нет обеда – он тут как тут со скандалом.

Старуха как в воду глядела. Не успела она это сказать, как появился Бебе.

– Что тут у вас творится! – недовольно пробурчал он.

– Сам не видишь?! Готовимся к празднику. До пасхи остались считанные дни.

Бебе нахмурил брови.

Только и знаете, что праздники справлять. Черт знает что, когда ни придешь домой – погром.

– Ты бы лучше помолчал. Живешь гостем. И пальцем не шевельнешь, чтобы что-нибудь по дому сделать. Не нагнешься, не поднимешь щепки с земли. Как тебе только не совестно. Старуха-мать замучилась. Посмотри, какой кистью приходится ей работать. Другой давно бы починил.

– Клянусь твоим рыжим отцом, мне остается только одно – поступить на курсы подготовки мастеров по ремонту кистей, – съязвил Бебе. – Других забот у меня нет.

– Оставь моего отца в покое, – не выдержала Либо, – тебе нет до него никакого дела. Так же как ему до тебя.

– Конечно. Ведь я уже не работаю на винном складе. Тогда рыжий кулак не мог без меня обойтись.

– Замолчи! Не смей так говорить о моем отце! Ты не стоишь его мизинца.

– Ай-вай, детки, – попыталась умиротворить их Сенем. – Ссориться перед праздником – бога гневить.

– Что вы ко мне лезете со своим богом, – вопреки логике Бебе кричал не на мать, а на жену. – Мне сейчас не бог, а обед нужен. Я голоден, как собака. Обед готов?

Женщины понуро молчали.

— Ну да, так я и знал, — обрадовался Бебе, — так и есть, жрать, конечно, нечего. Не дом, а шарашкина контора. Разогнать бы всех вас к чертовой матери. Дармоеды! Сил моих больше нет!

Все это по-прежнему адресовалось Либо. Сенем попыталась убаготворить сына:

— Не сердись, сынок. Успокойся. Сейчас я тебе яичек сварю.

— Не нужны мне твои яйца. Лопай их сама, — со злостью крикнул Бебе матери и ушел со двора.

Улицы в этот час, когда все находились на работе, были малолюдны. Лишь у коньячного завода торчало несколько человек. Расположившись в холодке, они о чем-то оживленно беседовали. Бебе искоса взглянул на этих людей и прибавил шаг. Он считал себя деловым человеком и не любил праздношатающихся. А это как раз были они. Забор коньячного завода издавна стал местом сборища городских шалопаев, своеобразным клубом, куда они сходились поточить ляды.

— Ай, Бебе, ай, джан-племянник! Постой!

От группы отделилась некая личность, заросшая до ушей седой щетиной, в остроносых галошах на босу ногу, с длинной немилосердно, дымившей трубкой в зубах. Это был Танхум.

— Ну, чего тебе? — не замедляя шаг, спросил Бебе.

— Дело есть, — Танхум нагнал племянника и на ходу стал жаловаться. — Плохи мои дела, ох, как плохи. Хуже некуда. Зарботков никаких. Хотел было поехать на Дальний Восток с вином — случая нет. А надвигаются праздники. И ни копейки в кармане. Детишек надо поить, кормить, одевать...

— Сказка про белого бычка. Кто о чем, а ты об одном и том же. Как только не надоест... Что ты хочешь от меня? Нет у меня денег. Понимаешь, нет. Ведь теперь я на винном складе уже не работаю.

– Не сердись, не черни свою кровь, дорогой племянник. Призови на помощь намять. Вспомни старое. Как я помогал тебе, как на ноги поставил.

– Ну вот, опять завел свою пластинку. Что тебе от меня нужно? Чего ты хочешь?

– Поговори со знакомыми. Замолви словечко.

– А у тебя знакомых нет, что ли? Скажем, твой старый дружок Ханука. Теплое местечко отхватил. Жирный кусок. Мог бы и с тобой поделиться.

– А что он теперь делает? – заинтересовался Танхум.

– На ферме учетчиком работает. И коровы, и птица, и мясо, и яйца, и молоко – всё в его руках.

– Ишь ты, шайтан, изловчился, – восхищенно проговорил Танхум и, помолчав, умозаклучил: – Пролез волк в овчарню.

Бебе презрительно усмехнулся:

– Дорогой мой дядя, ты хоть и седой, а глупый. Знаешь, дорогой, не суди и не судим будешь. Вместо того, чтобы глупости болтать, – он остановился и огляделся по сторонам, – сходил бы к Хануке, взял у него кур, яичек, молока и отдал ребятам. А они – все это на базар. Выручка – тебе и Хануке. В результате и ты и он не в накладе.

Танхум слушал, разинув рот. Вдруг в глазах его появилось выражение испуга.

– Ва-а... Но это же воровство, спекуляция. Поймают – верная тюрьма.

– А ты что хотел, чтобы деньги тебе прямо в постельку принесли с поклоном? Кто любит свежую рыбку, не должен бояться холодной воды. Чьи это слова? Помоему, твои.

– Так-то оно так, но ведь эго преступление.

– Ша, тихо. О чем разговор? Какое такое преступление? Колхоз так или иначе будет продавать мясо и молоко государству. А у колхоза продукты заготавливаю я. И документы оформлю тоже я. Так что сходи к Хануке и скажи, что пришел от меня. Все будет оформлено чин по чи-

ну. Документы будут в полном ажуре. Словом, тебе бояться нечего.

Танхум обрадовался, появилась возможность хорошо подработать. Но он и струсил — что если поймают? Впрочем, последние слова племянника его успокоили. Все будет оформлено. «Документы будут в полном ажуре». Больше всего на свете Танхум верил документам, даже если они заведомо фальшивые.

— Только одно условие: что бы ни случилось, я в стороне. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не слышал. Понял?

— Понял, понял. Дай бог тебе сто лет жизни, дорогой племянник.

Повеселевший Танхум распрощался с Бебе и потрусил на колхозную ферму.

Глава третья

СОЛДАТ ПАРТИИ

Асаил брел по узкой окраинной улочке. Несмотря на нещадный зной полуденного солнца, его голова, низко опущенная на грудь, была непокрытой, шаг сбивчив и не-тверд. Вдруг старик остановился, оглянулся, Улочка была пустынной. Лишь в самом конце ее виднелась женщина, идущая по теневой стороне тротуара с кошелкой в руке.

Асаил вынул из кармана платок, вытер глаза и вновь побрел. Он возвращался с кладбища, куда теперь ходил каждый день. Там, неподалеку от стены, затерявшись среди заросших травой дорожек, находился свежий могильный холм. Под ним покоилась Евдит. Все горести и все невзгоды, — а ими изобиловала большая и беспокойная жизнь Асаила, — она делила с мужем. Плечом к плечу сопровождала его по рытвенному и тернистому пути, не сходя с него ни на шаг в сторону. И вот, когда, наконец, долгожданная радость пришла, Евдит не довелось насладиться ею. Вскоре после восстановления мужа в партии она умерла, в одночасье, от кровоизлияния в мозг.

Теперь дом не радовал, а печалил старика. Без Евдит комнаты как-то сразу опустели, стали холодными и не-уютными, хотя в них оставались жить две дочери, трогательно заботившиеся об отце.

Асаил теперь старался меньше бывать дома. С самого раннего утра, пока берег еще пуст, он уходил к морю, сидя на песке, глядел на колышущуюся зеленую ширь и беззвучно рыдал.

Потом, когда пляж заполнялся людьми, шел на кладбище, а оттуда не домой, а в близлежащий сквер, где на одинокой скамье и проводил остаток дня.

Остаться один на один с горем плохо. Но еще хуже, считал Асаил, навязывать свое горе другим. Потому он сторонился людей и даже с родными дочерьми старался бывать как можно меньше.

У входа в сквер стояла Сара, младшая дочь Асаила. Она беспокойно поглядывала по сторонам. Завидев отца, появившегося из-за угла, Сара бросилась ему навстречу.

— Что случилось, доченька? — спросил Асаил запыхавшуюся от бега девушку.

— Папа, я тебя с самого утра ищу. За тобой из райкома приходили. Сказали, чтобы к Мамедову шел, срочно.

— Хорошо, доченька. К обеду не ждите. Я в столовой поем.

— Опять, папа... Сколько ж это можно. Ты себя губишь. С твоим здоровьем питаться в столовой... Нет, как хочешь, а я тебя больше туда не пушу. Ни за что, — в голосе девушки задрожали слезы.

— Ну ладно, ладно, — Асаил ласково погладил Сару по голове. — Ступай, дочка. Я приду обедать домой.

* * *

Мамедов встал из-за письменного стола и поспешил навстречу появившемуся в дверях Асаилу. Он крепко пожал старику руку и усадил в кресло, стоявшее перед столом. Сам сел напротив.

— Ну, как жизнь? — спросил он, чтобы с чего-то начать разговор.

— Ничего. Идет потихоньку. Двигается, так сказать.

— Пенсию получаешь?

— Да, спасибо, — Асаилу недавно была назначена персональная пенсия.

— Дома все в порядке? — Мамедов осекся, привычный вопрос в данном случае звучал неуместно. Мамедов знал о

горе, постигшем старика. — Я в смысле дочерей, — поправился он и густо покраснел.

— Я тебя понял, товарищ Мамедов, — печально улыбнулся Асаил. — Спасибо за внимание.

— А вообще, дядя Асаил, бороться с горем в одиночку трудно. Думаю, тебе надо больше бывать с людьми. Так лучше и для тебя, и для людей. Чаще посещай колхозы, выступай с лекциями, беседуй с людьми, изучай их настроения, помогай добрым словом и мудрым советом. Словом, включайся в партийную жизнь. Скоро уборка винограда. Каждый день, каждый час будут на счету. Я боюсь, что наступят религиозные праздники и опять все пойдет по-старому. Люди потянутся в синагогу вместо того, чтобы идти на работу. Так что для тебя, дядя Асаил, дел неувпроворот.

Через несколько дней в колхозном клубе собрались люди. В первом ряду среди других стариков восседали седобородый Эсеф и его друг Азиз.

— Тихо, — прикрикнул на расшумевшийся зал заведующий клубом и протянул руку с выставленной кверху ладонью. — Сейчас состоится лекция на тему «Религиозные праздники и их вред». Лектор товарищ Бинаев, то есть всем известный дядя Асаил.

Зал мгновенно притих, Асаила любили слушать. И действительно, говорил он просто, доходчиво, со страстной убежденностью. Его лекция изобиловала меткими определениями, примерами, то и дело пересыпалась острыми шутками.

— Вот, скажем, — говорил Асаил, — в канун судного дня, кипура, верующие режут кур. Вернее, не сами режут, а относят раввину, чтобы он зарезал. Перед этим курицу вертят над головой и приговаривают молитву. В ней молят бога вселить в жертву, то есть в курицу, все беды и несчастья человека, совершающего жертвоприношение. А потом что получается? Зарезанную раввином курицу дарят к празднику родственникам — брату, сестре, дяде, племяннику. Выходит, что все беды и несчастья перекладываются на шею ни в чем неповинных людей. Справедливо, не-

правда ли? И делается это с помощью бога и его верных слуг раввинов.

Зал зашумел. Одобрительные возгласы, крики протеста, смех, хлопки, шиканье слились воедино.

Асаил выпил воды и продолжал.

— Как видите, тот, кто справляет кипур, оскорбляет близких, желая им всего наихудшего. Если бы все верующие понимали смысл совершаемого ими обряда, то давно отказались бы от столь бесчеловечного праздника.

— Правильно, дядя Асаил! Крой их, чертей полосатых! — восторженно заорал какой-то парень.

— Заткнись, харамзада! — зашипел Эсеф. Заведующий клубом постучал стеклянной пробкой о графин.

— Мы должны справлять революционные праздники, — закончил Асаил. — Первое мая, годовщину Октябрьской революции, день Конституции. Они являются праздниками дружбы и братства, свободы и труда. А религиозные праздники лишь сеют ядовитые семена раздора.

Многим слушателям очень понравилась лекция. Но были и такие, которые вышли из клуба хмурыми, недовольными.

На другой день слух о лекции разнесся по городу. Достиг он и синагоги. Раби Хаим и старейшины религиозной общины вновь ополчились на Асаила, на чем свет браня и понося его. А когда неделю спустя местная газета опубликовала лекцию о судном дне, ярость раби Хаима достигла предела. Рано утром, придя в храм, он вместо того, чтобы подняться на амвон и начать молитву, собрал вокруг себя стариков и принялся за громкое чтение. Читал он сбивчиво, по слогам, немилосердно коверкая русские слова, но газету из рук не выпускал, не доверяя чтение кому-либо другому. Руки раби Хаима при этом дрожали, голос осип, на лбу проступили крупные капли пота. Они медленно, одна за другой, скатывались вниз, на широкую бороду.

Старик Шафадие, тот самый, который в свое время столь нсудачно пытался вернуть Асаила в лоно синагоги,

отшвырнул в сторону четки, которые все время перебирал, и решительно проговорил:

— Клянусь могилой Моисея, клянусь могилой отца своего, такого богохульства я еще в жизни своей не слышал. Проклятый старик спятил с ума. Оскорблять всемогущего господа, чернить святую книгу наших отцов! Ах, шайтан!

— Вай-вай-вай, почтеннейший Шафадие, для тебя это новость? — раби Хаим саркастически усмехнулся. — Он еще сорок лет назад предал веру отцов, восстал против бога. Вот этими самыми ушами я слышал его поганую речь, он произнес ее тогда на митинге.

— Так чего мы церемонимся! — Шафадие покраснел как индюк. — Лишить иудейства! Прогнать из стада паршивую овцу.

— Правильно, — раби Хаим удовлетворенно почмокал губами, — надо объявить ему от имени общины: «Когда ты умрешь, шелудивый пес, мы тебя не станем хоронить по законам отцов и дедов».

На том все и порешили.

В полдень Асаил сидел как обычно в скверике на одной из отдаленных скамеек. Парило. Небо все больше и больше темнело. Вдруг налетел ветерок, беспокойно зашуршал листвой. Где-то за морем пророкотал раскат, похожий на невнятную канонаду.

Старик протянул руку. На нее упало несколько редких капель.

Асаил встал и пошел прочь из сквера. Подойдя к дому, он увидел щуплого мужчину, сидящего на лавочке у калитки. Беспокойно поглядывая на небо, он теребил редкую черную бороденку.

— Здравствуй, дядя Асаил, а я тебя жду.

— Что надо?

— Меня послала община.

— Община? — Асаил нахмурился. — Какие у меня могут быть с ней дела?

— Не у тебя с ней, у нее с тобой... Может быть, зайдем в дом? Начинается дождь.

— В моем доме тебе делать нечего. Говори здесь.

— Как хочешь, — старик поднял воротник пиджака: дождь усиливался. — Здесь, так здесь. Я на тебя не в обиде. Только и ты на меня не обижайся. Пойми, я тут не причем. Мое дело маленькое. Мое дело передать тебе то, что решили другие.

— Кто решил, что решил? О чем ты болтаешь?

— Сейчас все будет ясно. Только ты на меня не кричи. Я человек маленький, — он собрался с духом и решительно выпалил: — С сегодняшнего дня ты исключен из нашего списка.

— Из какого списка?

— Из списка иудеев. Так что, когда ты, не дай бог, умрешь, община не будет хоронить тебя по обряду.

Посланец растерянно смолк, сам испугавшись того, что сказал.

Асаил расхохотался.

— Только и всего? Ну, и напугали вы меня. Аж все поджилки задрожали, — он вдруг посуровел. — Хотя, что с вас взять? Кто вы? Невежды, жалкие дикари... В общем, передай своему раби Хаиму: меня похоронят коммунисты, рабочие, колхозники... Так что иди к своему раби Хаиму и скажи ему, чтоб он лучше позаботился о своих собственных похоронах.

— Ай-вай, дядя Асаил, зачем так говоришь?

— Какой я тебе дядя? Твой дядя раби Хаим. Вот к нему и ступай. Передай все, что я сказал. И еще прибавь: я до последнего вздоха буду бороться с религией и выводить на чистую воду всех раввинов и попов.

Дождь припустил что есть мочи. Теперь он уже лил как из ведра. Асаил посмотрел, как яростные косые полосы проглотили щуплую фигуру посланца раби и вошел в дом.

КАНУН «СУДНОГО ДНЯ».

Вечерело. Лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь густую листву вьющегося винограда, играли на лице и

курчавых волосах Марал. Рахман сидел с дочкой в беседке и тихо напевал песенку о девушке, чьи глаза – спелые виноградинки.

Стукнула калитка. С улицы в сад вошел Азиз.

– Дедушка! Дедушка пришел! – обрадовалась Марал.

– А-а-а, моя крошечка, иди ко мне.

Девочка соскочила с рук отца и повисла у деда на шее.

– Вот кому я завидую. – Азиз усадил внуку к себе на колени и ласково погладил по голове. – Ей по крайней мере пока не надо ни о чем тревожиться.

– О чем ты, отец?

– Да все о том же. Только что поругался с Эсефом. Этот старый ишак разозлился на Асаила. «Он, харамзада, – говорит, – смешал с грязью наши обычаи, нашу веру, наших духовных отцов!» «Ай, джан Эсеф, – спрашиваю я, – почему надо верить этой старой лисе раби Хаиму? И почему надо злиться на такого порядочного человека, как Асаил?» Молчит, думает, потом отвечает: «Потому что еще отец учил меня: будь верен богу и слугам его. Вот я и выполняю завет отца». «Он, джан Эсеф, – говорю ему, – был темным человеком. Потому и верил раввинам. А теперь другие времена. Пойми, Советская власть вот уже скоро полсотни лет как просвещает нас»... Так знаешь, что мне ответил мой друг Эсеф? «Иди, говорит, со своим просвещением к ишаку под хвост».

– Ай, Азиз, что ты там распустил свой язык! Хотя бы постеснялся ребенка, – крикнула Баджи с веранды, где она пекла лаваш. – Иди, внученька, в сад, погуляй.

– Иди, Марал, иди. Тебе неинтересно слушать разговоры взрослых, – согласился с матерью Рахман.

– Почему, папа? Очень даже интересно.

– Иди, поиграй с Шамаем. Он, наверно, уже сделал уроки, – Азиз ссадил девочку на пол, и она убежала в сад.

– Ты напрасно нападаешь на отца, мама. И он и дядя Асаил правы. Большинство раввинов – плуты и пройдохи. Они от верующих требуют одно, а сами делают другое.

Недаром в народе говорят — не делай то, что велит раввин, а делай то, что он сам делает.

Старуха бросила тряпню и вышла в сад.

— Я знаю, куда ты клонишь. Завтра кипур, так вы решили лишить меня праздника... Несчастливая моя голова. — Баджи всхлипнула. — Мне осталось немного жить на этом свете, так не заставляйте меня грешить на старости лет. Дайте спокойно умереть.

Она разрыдалась. Рахману стало жаль мать, он ее обнял и стал успокаивать.

— Ай, Баджи, кто тебе не дает праздновать кипур? — засуетился Азиз. — Мы не мешаем тебе. Празднуй на здоровье. Но что касается нас, так мы завтра пойдем на работу. Убирать виноград будем.

— Да, да, мать, мы не принуждаем тебя. Придет время — сама поймешь.

— На том свете, — сквозь слезы и всхлипывания проговорила Баджи.

— Ладно, пусть ее празднует на здоровье. — Азиз усиленно подмигивал сыну, дескать, не перечь, пусть поступает, как знает. — Делай свое дело, старая.

Старуха разом повеселела, утерла краем платка глаза и кликнула внука.

— Что тебе, бабушка? — спросил подошедший Шамай.

— Сыночек мой, чтоб мне умереть на этом месте перед тобой и твоим отцом, бери курицу и неси к раби Хаиму резать.

Шамай молчал и не двигался с места.

— Что же ты молчишь? Ты не слышал, что я сказала, чтоб мне онеметь?

— Я не понесу, бабушка, — тихо, но твердо проговорил мальчик. — Это же позор — пионеру нести к раввину курицу.

— Раз ребенок не хочет, не надо его заставлять.

— А кто его заставляет, глупая твоя голова, — она вздохнула. — Видно уж придется мне самой пойти.

Бормоча что-то под нос и неодобрительно поглядывая то на сына, то на мужа, старуха вошла в дом, надела ши-

рокое кашемировое платье и темный калагай – шелковый платок. Потом направилась в сарай и вернулась оттуда с петухом и курицей в руках.

– Аи, Азиз, – позвала она мужа. – Иди-ка сюда.

– Зачем?

Азиз и Рахман покинули беседку и подошли к Баджи.

– Не бойся, я не пошлю тебя к раби Хаиму. Возьми эту птицу и покрути над нашими головами. А уж я схожу сама.

– Только не над моей головой, – Шамай убежал.

– И не над моей, – сказал Рахман.

Азиз глянул на жену, на сына и хитро прищурился.

– Ну, что, жена, выходит, кроме тебя других охотников нет? Так и быть, ладно, давай свою живность, покручи ее над твоей головой.

– Смеешься? Ай, Азиз, ты не надо мной, ты над богом смеешься, – помолчав, Баджи с горечью и тихой печалью добавила, – жалко мне тебя, Азиз. От всей души жалко. На старости лет ты потерял разум. Стал слушаться детей, плясать под их музыку. Ну да бог с тобой. Не мне судить тебя. Господь бог, вот кто твой судья... А теперь, – она заговорила деловым тоном: – Крути курицу над моей головой, петуха над своей, что же касается яичек, я их сейчас принесу, положу в шапки Рахмана и Шама и в платки Хумор и Марал, и ты их тоже покрутишь... Так тоже можно. Я спрашивала раввина, он разрешил,

– Еще бы, – Азиз рассмеялся. – Он все разрешит. Ему лишь бы свое получить.

Баджи рассердилась.

– Дай бог, чтоб сестра твоя в могиле сгорела, не раздражай меня, – она взглянула на небо и заторопилась. – Скоро стемнеет, раби Хаим откажется резать. Пошевеливайся, старый.

... Раби Хаим, заложив руки за спину, рассказывал по своему двору, ожидая очередного посетителя. Двор был большим, просторным, с добротными сараями и пристройками.

— Добрый вечер, раби! С наступающим праздником.

Во двор, низко кланяясь, вошла Баджи.

— Спасибо, сестра. Дай бог счастья твоей семье. По-
дойди поближе.

Баджи оглядела двор. На плотно утрамбованной земле тут и там видны были ржавые пятна крови. На стене подле двери висел мешок, из него торчали перья.

Старуха отдала раввину петуха, курицу и два рубля денег — по целковому за голову.

Раби Хаим взял петуха, ловко скрутил ему шею, ощипал и аккуратно спрятал перья в мешок, висевший у двери.

«Так вот оно что, — подумала Баджи, — оказывается, ему мало денег за кур. Он еще и куриные перья собирает, чтобы потом продать на перины. Ну и жаден старик. Сколько ни имеет, все ему мало. И зачем? Зачем же он копит эти деньги? Ведь один, ни детей, ни жены. Должно быть, собирается выложить всю свою могилу деньгами».

— Ай, сестра моя, ты что, заснула? — прервал ее размышления раби Хаим, — возьми своих кур и ступай себе с богом.

Во двор уже входил новый посетитель — сухощавый старик с двумя курицами и петухом в руках. Петух уставился на Баджи злым и растерянным взглядом, и, изогнув шею, отчаянно закукарекал.

ХВАТИВШИ ЛИШКУ

Заведующий молочнотоварной и птицеводческой фермами Аббас Аббасов был человеком простым и бесхитрым. В прошлом чабан, ездовой, бригадир, он на склоне лет выбился в начальство и очень гордился этим. Свое выдвижение Аббас рассматривал как законную дань трудолюбию, добропорядочности и честности, которыми он действительно обладал. Единственное, чего не хватало Аббасу, — это элементарной грамотности. Как был он на заре колхозного движения темным, малограмотным крестьяни-

ном, так и остался им. Всякий раз, когда ему приходилось ставить свою подпись под одной из многочисленных бумажек, ежедневно уходивших с фермы в правление, он вздыхал, пыхтел, сокрушенно качал головой и в конце концов, натужившись, выводил крупными пляшущими каракулями: «Абасц».

Но при всех своих неладах с письменностью в одном Аббас разбирался отлично — в цифрах. Какими бы многозначными ни были числа, складываемые из них, Аббас оперировал ими бойко и безошибочно. Он быстро и точно подбивал итог, споро умножал, вычитал, делил. Одним словом, с пестрой цифирью управлялся не хуже, чем в свое время с беспокойными отарами овец.

Но на этот раз, просматривая длинные колонки цифр, Аббас растерялся. То, что он увидел, привело его в величайшее недоумение. Он еще раз пробежал глазами сводку, лежавшую на столе, трубно высморкался пятерней, вытер пальцы о бороду, что он делал всегда, когда волновался, и оторопело проговорил:

— Ничего не пойму. Или я пьян, или цифры пьяны, или ты в доску был пьян, когда составлял этот отчет.

— О чем ты говоришь, Аббас-даи? — отозвался Ханука, сидевший за столом напротив Аббаса и щелкавший на счетах. — Я, конечно, не дурак, выпить люблю... Но на работе, ты же знаешь, убей — каплю в рот не возьму.

Аббас с сомнением покачал головой и подошел к окну. За окном сиял золотистый день. Склоны гор, к которым прижались подстройки фермы, курчавились зеленью виноградников. А выше, за виноградниками, вздымались к бледно-синему поднебесью гранатовые и инжирные деревья. Чуть слышные, доносились с далеких горных лугов переливы пастушьей свирели.

— Непонятно. Ничего непонятно, — Аббас вернулся к столу. — Выходит, мы уже выполнили свой годовой план. Так, что ли?

— А как же. Ты что, сам не видишь? — Ханука, не отрываясь от счетов, протянул своему начальнику испи-

санную цифрами бумагу. — Скоро и годовое обязательство выполним.

— Ва! — не то обрадовался, не то удивился Аббас и закурил. В тесной конторе удушливо запахло самосадным дымом. Аббас нагнулся над столом и принялся внимательно изучать цифры. — Послушай, — наконец, проговорил он, — мы продали государству от силы сто тонн молока. А у тебя здесь записано сто пятьдесят. Или я разучился считать?

Ханука отодвинул в сторону счеты и поднялся с места. Он покраснел и, чтобы скрыть это, обогнув стол, встал за спиной Аббаса.

— Нет, не разучился. Мы продали сто пятьдесят тонн,

— Постои, постой, — худое лицо Аббаса вытянулось, длинные усы беспокойно зашевелились («точно две пиявки извиваются», — отметил про себя Ханука). Ты что-то путаешь. Если у меня еще не отшибло память, у нас на ферме только пятьдесят дойных коров. Разве каждая корова дала по три тонны молока? — вдруг он озлился и заговорил резким, обиженным тоном. — Ты думаешь, юлдаш Ханука, если Аббас человек неученый, так его можно обкрутить вокруг пальца? Шалишь.

— Ва-вай, Аббас-даи, о чем ты говоришь? О каком таком пальце? — Ханука явно струхнул.

— Не перебивай, ишачий хвост. Слушай, что я говорю, — загремел на всю контору Аббас, — я пока еще не проглотил свою голову. И хорошо помню, что коровы, закрепленные за Ненейгыз, дали не больше чем по две тысячи литров и коровы Алагёз по столько же.

Ханука понял, что провести начальника не удастся, и решил пойти ва-банк. Нагло ватопухнувшись и на всякий случай отступив на шаг, — Аббас славился тяжелой рукой, — он, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Разве я не говорил тебе, Аббас-даи, что мы частично сдали яички и кур взамен молока? С заготовителями я договорился, так что тут полный порядок... А что в этом плохого? — он говорил теперь вкрадчиво, стараясь излагать свою мысль как можно более убедительней. — В этом году

у нашего колхоза много птицы. Она нас и выручит. А вообще, не все ли равно? Главное, не остаться в долгу перед государством. Главное, выполнить план. А мы его не только выполнили, но и перевыполнили.

Аббас молчал, растерянно моргая длинными ресницами.

— Ты, Аббас-даи, получишь премию. А ферме присудят переходящее Красное Знамя.

Аббас, казалось, не слышал того, что говорил Ханука. Он сумрачно и сосредоточенно думал. «Так мне и надо, старому ишаку. С первого дня создания колхоза работаю, как вол. Никогда никого не обманывал. И никогда никого не подводил. Интересы колхоза — мои интересы. Интересы государства — тоже мои интересы. А теперь попался на удочку плута. Стал обманщиком».

Он двинулся на Хануку, гневный, решительный, злой:

— Паскудник! Ты забыл, что работаешь в колхозе. Здесь все не твое, а колхозное. Кто тебе позволил распоряжаться колхозным добром, как своим? Кто, я тебя спрашиваю?

Ханука попятился к двери.

— Ай, джан Аббас, ведь мы не себе взяли птицу, гори она ясным огнем. Мы продали ее государству, заготовителям. Чин-чинарем, по квитанции, А что птица пошла за молоко — кому какое дело? Квитанции у нас на руках. Бумажка к бумажке. Полный порядок.

— Зямолчи, шайтан, — Аббас как-то разом смяк. Сняв папаху, он вытер рукавом вспотевший лоб и тяжело опустился на табуретку. — Прохвост ты, Ханука, — чуть слышно проговорил он. — Жулик. Знал бы, что ты такой, за тысячу верст не подпустил бы к ферме... Ведь надо же, я твоего отца с детства знаю. Хороший человек, честный. А вырастил брандахлыста. Видно, не зря говорят в народе: шипы рожают розу, а роза — шипы.

— Ай-вай-вай, зачем так говоришь, Аббас-даи?

— Я с тобой еще не так поговорю!

В это время за окном остановилась линейка. С нее сошел Ахмед и быстрыми шагами направился в контору.

— Добрый день, — войдя, он поздоровался за руку с Аббасом и Ханукой. — Где доярки? Ну-ка, быстро соберите их.

«Все. — Аббас побледнел. — Началось. Наверно, в городе раскрыли плутни Хануки».

— Что с тобой, Аббас-дан? — удивился Ахмед. — Кажется, я ничего плохого не сказал. Только попросил собрать доярок.

— Сейчас, сию минуточку.

Ханука выбежал из комнаты. Аббас смотрел на Ахмеда жалкими глазами собаки, только что выскочившей из-под палки. Он было рванулся вперед, чтобы все начисто рассказать. Но в последний момент струсил. Подленькая мысль о том, что, разоблачая учетчика, он тем самым подводит под удар и себя, парализовала его. «Какой же ты руководитель, — рассуждал Аббас, — если подчиненный обвел тебя? Тебе не фермой заведовать, а гонять отары овец». Перспектива снова стать рядовым чабаном никак не прельщала. Больше того, решительно отвращала Аббаса. Не говоря уже об утрате материальных благ, — а расставаться с ними ему, уже успевшему вкусить сладость начальственного пирога, никак не хотелось, — его основательно пугала и моральная сторона дела. «Пересесть со скакуна на ишака! Кому после этого покажешься на глаза?».

Ахмед прервал невеселые мысли Аббаса.

— Ну, вот и люди пришли, — оживленно проговорил он, — здороваясь с вошедшими в контору доярками. — Может быть, пройдем в красный уголок, там просторнее?

— Да, да, — поспешно согласился Аббас.

Его немало удивило, что Ахмед, судя по всему, был в отличном расположении духа, улыбался дояркам, шутил. «На его месте, — думал Аббас, — я бы не смеялся, а плакал. Обман государства. Разве тут до смеха!»

Он вконец растерялся, когда в красном уголке Ахмед вынул из кармана газету и, развернув, радостно сообщил:

— В сегодняшнем номере хвалят вашу ферму. Вы за три квартала выполнили годовой план по молоку. Это

большая победа. Поздравляю вас, дорогие товарищи. Мы призовем всех колхозников равняться на вас. Вы — наши маяки!

Слушая Ахмеда, Аббас не знал, куда себя деть от стыда. Ханука же, напротив, сиял, расточая улыбки то одной, то другой доярке. Но девушки сидели хмурые. Известие, принесенное газетой, видать, не очень обрадовало их.

— Что вы, девушки, приуныли? — недоумевал Ахмед.

— Или случилось что?

Доярки молчали.

— Такая радость, а вы скучные. Странно.

— Вот и мне странно, товарищ Ахмедов, — со своего места с решительной порывистостью поднялась молодая доярка Рукият, в ее черных глазах сверкали недобрые искорки. — Как мы могли выполнить годовой план за три квартала! Ведь многие у нас и по две тысячи литров с коровы не надоили. Откуда же взялись сто пятьдесят тонн? Тут какая-то особая арифметика. Нас в школе такой не учили.

Ахмед непонимающе посмотрел на Аббаса. Тот отвел глаза. Ханука беспокойно заёрзал на стуле.

— Я не знаю, где Аббас-даи взял столько молока, — продолжала Рукият, — чтобы досрочно выполнить план. Может быть, купил у других колхозов? Пускай тогда скажет.

— Ай, Рукият-ханум, — Ханука скроил умильную рожицу. — Мы не купцы. Мы ответственные работники.

Дружный взрыв хохота покрыл его слова.

— Что все это значит, Аббас-даи? — Ахмед помрачнел.

Аббас встал, подергал кончики усов и начал было отвечать, как вдруг послышался шум подъехавшей машины. Все обернулись к двери. Она резко распахнулась, и в комнату влетел Мукаил. По тому, как он на ходу сорвал с себя плащ и со злостью швырнул на скамейку, Ахмед понял, что случилось нечто неладное.

— Сколько за девять месяцев надоено молока? — с места в карьер напустился Мукаил на Аббаса. — А ну-ка скажи!

Аббас ткнул пальцем в Хануку.

— Вот он, учетчик, пускай он и ответит.

Мукаил побагровел.

— Я не его, а тебя спрашиваю, — он сорвался на крик. — Фермой заведешь ты, ты и отвечай!

— Спокойно, Мукаил, — осадил его Ахмед. — Крик плохой помощник в делах.

Мукаил достал клетчатый платок, вытер покрасневшую лысину, сел к столу и тихо проговорил:

— Давай сюда все бумаги, проверим учет надоенного молока... А вы, девушки, идите работайте. Потом мы вас соберем.

Ханука, порывшись в шкафу, выложил кипу документов.

Руки его при этом заметно дрожали.

— Учет надоя правильный, юлдаш Мукаил, — он спрятал руки за спину. — Внимательно выслушайте меня, юлдаш Мукаил. Я все разъясню...

Увидев, что запыряться бесполезно, он сознался во всем.

— Почему ты это сделал? Кого обманул?

— Ва, дорогой Мукаил, я же не себе брал. Я для колхоза старался.

— Врешь, негодяй! Ты себе премию выколачивал, — снова не сдержался Мукаил. — А ты, где ты был? — набросился он на заведующего. — Куда смотрел?! На кой черт мы тебя заведующим поставили?

Аббас чуть не заплакал. Это еще больше разозлило Мукаила.

— Шляпа! Только не хватало, чтоб ты слюни распустил. Зови народ.

В красном уголке собрались все работники фермы, и Мукаил рассказал обо всем, что случилось. Потом, попрошавшись, сел вместе с Ахмедом в машину и уехал.

— Ты понимаешь, — дорогой рассказывал он Ахмеду, — когда в райкоме прочли газету, меня обозвали очковтирателем. А я краснел, как последний дурак. Что мог я ответить на правду? Нет, ты только подумай, какой мерзавец этот Ханука. Подвел под монастырь. Тут я виноват. Проморгал. Прошляпил. Давно уже ходили слухи, что спекулянты торгуют на рынке курами с нашей птицефермы, все собирался проверить, да так и не собрался. Руки не дошли. Текучка заела.

— Это наша общая вина... Хануку надо гнать. Чтобы и духа его поганого на ферме не было. А вместо Аббаса придется подбирать другого заведующего. Он человек честный, но малограмотный. Такой воз ему не под силу.

Мукаил молча кивнул головой. Разговаривать ни ему, ни Ахмеду больше не хотелось. Так в полном молчании и доехали они до правления.

Не успела улечься пыль за колесами председательской машины, как Ханука заторопился в город. Он хорошо понял, что на ферме ему больше делать нечего. Ханука, будучи от природы человеком решительным и энергичным, не привык тратить время на бесплодную скорбь по случившемуся. Он сразу же принимался думать о будущем. Тем более сейчас ему было над чем поразмыслить.

Ханука отчетливо понимал, что над ним нависла угроза суда и исключения из партии. В том случае, разумеется, если будут раскрыты связь с Танхумом, воровство колхозных кур, спекуляция ими на рынке. И теперь все мысли его были устремлены к тому, чтобы этой угрозы избежать.

Но сколько он ни ломал голову, ничего путного сам придумать не мог. И потому, едва дождавшись вечера, поспешил к своему испытанному дружку и советчику Бебе.

Ханука шел по городу, обволакиваемому задумчивыми сумерками, по притихшим улицам, что сменяют деловую суету дня на мирный покой вечера, мимо окон, зажигающих первые огни. Он видел людей, собравшихся за столом на вечернюю трапезу, утомленных, но свободных от забот

и потому спокойных, И ему было грустно, грустно и печально оттого, что он лишен всего этого нехитрого и, вероятнее всего, самого мудрого счастья жизни, счастья усталости и отдохновения, счастья хорошо прожитого трудового дня.

Под ногами тихо шуршал палый лист. Из раскрытого окна плыл печальный и невыразимо прекрасный голос скрипки. Где-то далеко, быть может, в Москве, а, может быть, за морем, тосковала скрипка, и радиоволны, то затухая, то разгораясь, несли ее певучую жалобу.

Ханука остановился, с минуту постоял, качая низко опущенной головой, потом со злостью поддал спичечный коробок, валявшийся под ногами, и пошел своей дорогой.

У калитки перед домом, подперев руками двойной подбородок, сидела на лавочке Либо. Рыхлое лицо ее, густо скрепленное веснушками, освещал фонарь, висевший у ворот.

— Добрый вечер, сестра! Видно, моего друга Бебе нет еще дома?

Либо вздохнула и мысленно послала проклятие и своему благоверному и его другу.

— Твой приятель не из тех, кто приходит с вечера домой.

— Да, он человек занятой. Дела...

Ханука снял кепку и стал обмахиваться ею. Либо удивилась: «С чего это его вдруг бросило в жар? Солнце, вроде бы, не печет».

— Как ты думаешь, сестра, где я мог бы его найти? «Тебе лучше знать. У какой-нибудь бабы. Сам не раз с ним ходил».

Либо пожала плечами.

То, о чем подумала Либо, пришло в голову и Хануке. Словно мгновенно сработал телепатический телеграф и передал мысли на расстояние.

«Наверно, у какой-нибудь бабы», — решил Ханука и поспешно распрощался с Либо.

Он направился в вокзальный ресторан. «Если Тамара сегодня выходная, значит, Бебе у неё дома», — умозаключил он.

В ресторане в этот час было пусто. Тамара, пышнотелая блондинка в белом переднике и белой наkolке, стояла у стены и вяло перебрасывалась словами с другой официанткой.

Ханука огорчился.

«Плохо дело. Она здесь, его нет. Спросить? Не обиделась бы. Чего доброго, обругает и выставит из ресторана. Разве вор признается, что на руку нечист?»

Ханука с минуту подумал и наконец нашел выход. Он подошел к Тамаре и заискивающе захихикал.

— Я извиняюсь, сестричка. Потерял, понимаешь, друга. И никак не найду. Такой полный, интересный мужчина. С редкими волосами. Он тут частенько бывает. Бебе его звать, а по-русски — Борис. Может быть, вы случайно даже знаете его.

Тамара загадочно улыбнулась.

— Да, такой человек бывает в нашем ресторане. Он постоянный наш гость. Но сегодня не был. Так говорите, пропал? — она игриво повела глазами.

— Как сквозь землю провалился. А мне он нужен, позарез. С ног сбился искавши... Посоветуй, сестричка, что делать, куда идти?

— Одну минуточку, — Тамара с непостижимой для ее комплекции легкостью вспорхнула с места и понеслась меж столиками принимать заказ от двух военных, появившихся в зале.

Ханука мучительно думал. «Где искать проклятого Бебе? Может быть, у вдовы Аснат? Но как найти ее дом?» Однажды он по пьяной лавочке был вместе с Бебе у Аснат, но адреса, конечно, не запомнил.

— Эй, гражданин! У нас не полагается одевши!

Это кричал усач-швейцар.

— Сейчас, дорогой, сию минуту уйду. Только скажу человеку два слова.

Перед швейцаром стоял Бебе. Собственной персоной, в новом демисезонном пальто нараспашку и фетровой шляпе, лихо сдвинутой набекрень.

— Ва, Ханука, что ты тут делаешь? Наверно, хороший калым зашиб. Решил обмыть... Еще бы, молоко, курочки, яйца...

Он громко, на весь ресторан, расхохотался.

Ханука пугливо стрельнул глазами.

— Выйдем на улицу. Есть серьезный разговор.

— Успеешь. Мне нужно кое-кого повидать.

— Потом. Не сбежит твоя Тамарка. Здесь она.

Они вышли на привокзальную площадь, завернули за угол, в темный переулок.

— Ну, что опять натворил?

Бебе вынул коробку «Казбека», закурил.

— Дай и мне папироску, — попросил Ханука.

— Надо поменьше пить, да побольше своих иметь, — Бебе был в отличном настроении. — Знаешь пословицу «Кто хочет есть дерьмо, тот должен носить при себе ложку»?

Ханука молчал. Ему было не до пословиц.

— Ладно, — разрешил Бебе. — Говори.

Ханука подробно рассказал обо всем, что утром произошло на ферме. Бебе слушал вполслуха, невозмутимо попыхивая длинной папироской,

— Ну, и что же ты хочешь всем этим сказать? — лениво спросил он, когда Ханука окончил свой рассказ.

— Как что! — растерялся Ханука. — Ведь меня сотрут в порошок!

Бебе молчал, разминая в пальцах горящую папиросу. Ханука не спускал с него глаз, с нетерпеливой тревогой ожидая ответа.

Бебе аккуратно стряхнул пепел.

— Послушай, Ханука. Хватит с меня твоих грязных делишек. Я достаточно помогал тебе. А теперь конец, баста. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Сам нагадил, сам и убирай. А меня не запутывай. Понятно? — глаза его

смотрели на Хануку в упор, стальные, пустые, бесстрастные.

— Ва, что ты говоришь, ай Бебе. Ведь все эти беды свалились на мою несчастную голову из-за твоего знаменитого дядюшки. Ты же сам велел сдавать ему птицу и яйца. Ты же обещал в случае чего помочь. Разве не ты говорил — рука руку моет, а руки моют лицо.

— Я еще раз повторяю: раз попал в дерьмо, там и сиди, не рыпайся и не чирикай. Заложишь меня, тебе будет плохо. Очень плохо, — он помолчал и уже другим тоном добавил: — Из колхоза тебя, конечно, исключат. Ну, и пусть. Не велика беда. Я помогу тебе устроиться. Но заруби себе на носу — обо мне молчок! Ни слова!

Ханука задумался.

— А если исключат из партии?

— Тут уж ничем помочь не могу. Но помни, без работы не останешься. И голодать не будешь... Ну, ладно, нечего горевать. И не такое перемалывали. Пошли, — он взял Хануку под руку и повел в ресторан.

Ночью Хануке спалось плохо. Он перепил, и его без конца рвало. Лишь под самое утро ему, наконец, удалось уснуть.

Проснулся он от сильных и частых толчков в бок. Ими его потчевала Хагило.

— Вставай, вставай, проспийшь работу,

— Уйди, голова болит.

— Надо меньше пить, пьяница проклятый.

— Пошла вон, дочь шелудивого пса, — Ханука пнул жену ногой в живот.

Хагило пронзительно взвизгнула.

— Ой, чтоб твоя мать в могиле сгорела!

— Что ты сказала? — Ханука, опухший, лохматый, страшный, поднялся с кровати, схватил палку, стоявшую в углу комнаты, и принялся дубасить жену.

Хагило пыталась обороняться, но сбитая сильным ударом, упала на пол. Озверевший супруг настиг ее и принялся бить еще сильнее.

На отчаянные вопли Хагило сбежались соседи. Они с трудом уняли разбушевавшегося Хануку и увели Хагило к себе.

Через несколько дней Хануку вызвали на партийное бюро. Здесь ему припомнили все: и неблагоприятные дела на ферме, и неоднократные нарушения дисциплины, и пьянство, и зверское избиение жены.

— Мы с тобой немало возились. Да, немало возились, — сказал в заключение Ахмед. — Но как волка ни корми, он все в лес смотрит. Всему есть предел, Ханука. В том числе и нашему терпению, таким, как ты, не место в партии.

— Какое вы имеете право так со мной разговаривать — огрызнулся было Ханука, но его прервал Мукаил.

— Есть предложение исключить.

Остальные члены бюро единодушно согласились с ним. Ханука выслушал решение со спокойным безразличием и, только выходя из комнаты, где происходило заседание, так хлопнул дверью, что стены пошли ходуном.

НЕПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Всю ночь напролет сыпал снег. Последний снег старого года и первый снег года нового. Снег выбелил город, и он стоял обновленный, будто только что родился на свет.

Асаил проснулся на ранней заре. Его разбудила боль под ложечкой. Старик взглянул в окно и обмер. Крыши домов, мостовая, тротуар лучились голубовато-белым мерцанием, нежным, спокойным и тихим. Глядя на чудо, в одну ночь преобразившее природу, Асаил невольно проникся тем ощущением бодрости, какое приходит к человеку с первым снегом. Даже боль, и та, казалось, унялась.

Он встал, умылся, — захолодевшая за ночь вода из умывальника в сенях обожгла и еще больше взбодрила его, — оделся, наскоро проглотил стакан простокваши и тихо, чтобы не потревожить дочерей, вышел из дому.

На улице было так славно, что он на миг даже зажмурился. Как все же хорошо жить на земле, где воздух удивительно чист, прозрачен, где в первозданной тиши существуешь лишь ты и природа в единой и неразрывной слитности.

Хриплое побряхтывание заставило его обернуться. Из-за угла появился человек. Тяжело ступая по глубоко-му снегу, он шел, согнувшись под тяжестью взваленного на спину мешка.

Асаил сразу узнал прохожего и хотел было свернуть в сторону. Прохожий, — это был Танхум, — тоже непрочь был избежать встречи. Но сворачивать некуда. Улица была слишком узка.

Танхум остановился, сбросил ношу в снег и, выдавив жалкое подобие улыбки, проговорил:

— Асаил, как я рад тебя видеть. Доброе утро, дорогой.

— Доброе утро, — буркнул Асаил.

Ни у него, ни у Танхума не было оснований радоваться неожиданной встрече. Первый испытывал ко второму презрение, вторым владело чувство острого и жгучего стыда.

То, что в свое время произошло между ними, Асаилом и Танхумом, не было чем-то выдающимся, выходящим из ряда вон. То была самая тривиальная история, каких в ту пору, — а дело происходило в тридцать седьмом году, — случалось немало. Но явление оттого, что оно обыденно, не теряет своей сути и остроты. Предательство остается предательством, трусость трусостью, мерзость мерзостью, в каких бы масштабах они ни встречались.

Хмурым осенним утром Танхум, тогда секретарь райкома, пришел на работу. Не успел он войти в кабинет, как зазвонил телефон. Не тот, что соединяет с городом, а особый, прямой. Танхум вздрогнул, он знал, от кого может исходить этот звонок.

И не ошибся. В трубке раздался повелительный басок Мамаева.

— Никуда не отлучайся. Я сейчас зайду.

— Хорошо, товарищ Мамаев.

Танхум повесил трубку на рычаг и сокрушенно покачал головой. Хотя в комнате никого не было, он все же пугливо огляделся по сторонам. «Наверно, опять кого-нибудь собирается посадить».

Вскоре в кабинет вошел Мамаев, невысокий, скуластый, с мрачным, подозрительным взглядом маленьких глаз. Как был, не снимая фуражки с голубой тульей и шинели с двумя шпалами на малиновых петлицах, он похозяйски опустился в кресло и швырнул Танхуму свежий номер газеты:

— Посмотри, что натворил твой Бинаев!

Танхум еще не знал, в чем согрешил Асаил, но догадывался, о чем могла идти речь, раз это связано с визитом Мамаева. Поэтому, даже не заглядывая в газету, он поспешно проговорил:

— Почему мой! Что он мне сват, брат? Он такой же мой, как и твой. Его не я, а бюро утверждало редактором. А бюро проводил Фомичев. Так что я персонально никакой ответственности за него не несу.

Танхум загодя отрекся от Асаила, хотя именно ему был обязан всем, начиная со вступления в партию.

— Ты вот здесь посмотри, — Мамаев ткнул пальцем в газетный лист.

Танхум прочел подчеркнутое красным карандашом слово. В газету вкралась нелепая и по существу смехотворная опечатка.

— Политическая ошибка, — Танхум побелел.

— Вылазка! Вражеская вылазка! — Мамаев вперил в Таихума подозрительный взгляд своих маленьких глаз,

— Совершенно верно, товарищ Мамаев. Типичная вылазка врага. Что будем делать?

— Исключить. Созывай бюро. А потом.., — он небрежно махнул рукой.

Танхума будто лихорадило. Он вспомнил то далекое прошлое, когда Асаил, бывший служитель синагоги, с восторгом встретил свержение самодержавия, сбрил бороду, бросил синагогу и, выступив на митинге, призвал на-

род идти за Лениным и большевиками. Он вспомнил Асаила, сражающегося в рядах красных партизан, Асаила, пламенного оратора на всех народных собраниях, Асаила, одного из организаторов первых колхозов.

— Так говоришь, исключить?

— А ты что, сомневаешься? — Мамаев повысил голос. — Это не случайная опечатка. Тут надо смотреть в корень. Кем был до революции Бинаев? Раввином. Он явный чужак. Враг народа, тихой сапой пробравшийся в партийные ряды. От него давно надо было очиститься, да вот Фомичев либеральничал. Зато теперь все, крышка. И запомни, дорогой товарищ, кто примиренчески относится к врагу, тот сам становится врагом. Таков железный закон классовой борьбы. А она, как тебе должно быть известно, по мере нашего движения вперед все сильнее обостряется.

В отличие от малограмотного Танхума Мамаев слыл образованным человеком и очень гордился этим.

После обеда Танхум созвал бюро. На нем присутствовал и Асаил. Докладывал Мамаев. Он же предложил исключить Бинаева из партии. Все было решено в течение нескольких минут.

Не успел Асаил выйти из райкома, как его тут же арестовали.

... Снова пошел снег. Крупные хлопья, лениво рея, медленно опускались на землю. Две снежинки сели на бороду Танхума и не таяли. «Красиво, — подумал Асаил, — Точно морские звезды, запутавшиеся в водорослях».

— Куда ты собрался в такую рань? С такой тяжелой ношей? — спросил он, чтобы нарушить ставшее тягостным молчание. — Что там у тебя?

Он пнул носком сапога мешок. Внутри что-то зашуршало.

Танхум потупился.

— Чеснок. Не хочу от тебя скрывать, Асаил. В этом мешке чеснок. Еду в Сибирь, проводником вина. Так вот, решил прихватить мешок чесночку. Там он в цене. Приходится изворачиваться. У меня дети, семья... Только ты об этом ни слова. Видишь, я тебе все по-честному. Пото-

му что не хочу от тебя ничего скрывать. А уж ты, ради бога, меня не продавай.

— А что ты стоишь? Тебе и раньше, в лучшие для тебя времена, цена была та же самая — грош.

Асаил легонько рукой отстранил Танхума с дороги и зашагал прочь.

— Ай, джан Асаил, — плаксиво закричал вдогонку Танхум. — Я, конечно, трус и подлец. Но сам посуди, время-то какое было...

Асаил не обернулся. Танхум безнадежно махнул рукой, надвинул на уши папаху и, кряхтя, поднял тяжелый мешок. У дома Ханука он закурил трубку и тихонько постучался в окно.

— Наконец-то, — недовольно проворчал Ханука, отворяя ему дверь. — Ты, как любимая девушка, заставляешь себя ждать. Где тебя черти носили?

— Ай, джан Ханука, ты же знаешь, я уже немолод. Думаешь, легко тащить такой мешок? Совсем из сил выбился, пока дошел.

— Так тебе и надо. Не жмотничай. Мог бы взять такси. Они теперь в Дербенте на каждом шагу. Так нет, скорее удавишься.

— Не говори так, обижусь.

— Ну, ладно, не будем ссориться на дороге. Проходи, Бебе уже ждет.

Если бы не Бебе, не видать бы им этой поездки. Это он помог устроиться проводниками и раздобыть вагон.

— Голова на плечах есть, значит, будет и заработок, — продолжал Бебе прерванный приходом Танхума разговор. — Но если бог наказал тебя и вместо головы приставил кочан капусты...

Ханука вспыхнул:

— Знаешь, Бебе, моя покойная мать говорила: человека губит язык. Иногда не мешает чикнуть по нему ножичком. Чтобы стал покороче.

— Ты на что намекаешь! — Бебе угрожающе поднялся. Танхум силой усадил его обратно на стул.

— Ну, будет вам. Кидаетесь друг на друга, как собака на кошку. Ты же знаешь, дорогой племянник, мы без тебя все равно, что без рук.

— То-то же... Словом, так: винные бочки, которые вы повезете, большие. Если из каждой выкачать по два-три ведра и вместо них подлить воду, никакой беды не случится. Только подбавьте немного спирта да подсыпьте табаку, для крепости. Свой товар реализуете по пути, на станциях. Охотники до дербентского вина всюду найдутся.

Предложение привело Хануку в восторг:

— Ай умница, ай голова, хоть и плешивая. У тебя, Бебе, не котелок, а целая академия наук...

Троица выпила посошок и отправилась на товарную станцию, где уже формировался состав.

СЛУЧАЙ В ПУТИ

Вагон был большим и просторным. Одну его половину занимали бочки с вином, в другой расположились проводники. Они устроились как дома: расстелили на полу пестрый горский палас, на паласе положили вдоль стенки, по-дагестански, матрацы с шерстяными одеялами и пуховыми подушками. На стенку повесили табасаранский ковер и овальное зеркало. В углу особняком стояли небольшие бочонки, ведра и железные мерки для продажи вина в разлив. У самой двери виселась чугунная печка. Подле нее аккуратной поленицей были сложены распиленные дрова. Рядом с ними лежал топор.

Ханука, взобравшись с ногами на матрац, неприятно поглядывал на Танхума и в такт колесам мурлыкал под нос какую-то песенку. На нем был ватник и стеганые штаны. Танхум, по-кавказски поджав длинные ноги, сидел на полу, у раскаленной печки и не переставал дымить трубкой, набитой самосадом. Хотя в вагоне было тепло, он не снимал зимнего полупальто с меховым воротником. Танхум то и дело кашлял и смачно отхаркивался прямо на

пол. От всего этого Хануку мутило. Наконец, он не вытерпел:

– Слушай, Танхум, это тебе не квартира, а вагон. У себя дома можешь даже мочиться на пол. Никто из родных тебе слова не скажет. А здесь ты не один. Веди себя культурно. Как не стыдно, а еще был руководителем целого района.

Худое бледное лицо Танхума налилось кровью. Он не любил, когда вспоминали о днях его бывшего величия.

– Заткнись, бесхвостый шакал. Не тебе меня учить.

– Ва, он еще недоволен. Всю дорогу харкает, и я еще ему виноват. Видно, я действительно согрешил перед богом, как говорят наши старухи.

Он поднялся, подтянул сапоги, подошел к двери и приоткрыл ее. В проёме замелькали снежные шапки крестьянских изб, оголенный кустарник, одинокие деревья, столбы.

– Ай, Танхум. лучше иди сюда, подыши свежим российским воздухом. Здешнюю зиму не сравнить с нашей дербентской.

Товарный состав несколько часов назад покинул Ростов-на-Дону. Приближалась большая узловая станция.

– Слушай, Ханука, кончай базар, закрывай дверь. От этого проклятого холода можно заработать воспаление легких.

– Не воспаление легких, а чахотку. От твоего дыма и плевков.

Танхум вскочил. Он был разъярен.

– Ты перестанешь, наконец, действовать мне на нервы! Присосался, как пиявка, и сосет мою кровь.

Ханука рассмеялся, но дверь все же закрыл.

Он снова улегся. И опять запел. На сей раз во весь голос – песню ашуга из оперы «Кер оглы». Пел он плохо, дурным голосом и фальшиво. Пение его ещё больше, чем разговоры, раздражало Танхума.

– Только этого мне не хватало.

Танхум зажал пальцами уши и прилег у печки. Убаюканный мерным покачиванием вагона, сморенный теплом, он незаметно для себя уснул.

А Ханука лежал на матраце и прикидывал будущие дивиденды. Впереди маячил солидный барыш. Ханука представил себе триумфальное возвращение в Дербент. Деньги, попойки, кутежи. Жизнь без трудов и забот. Мечтательная улыбка заиграла на его лице. Он вновь обрел благодушное расположение духа.

— Танхум, — окликнул он своего напарника. — Не обижайся. Вставай, срежемся в картишки. В очко или в шестьдесят шесть.

Ответа не последовало. Танхум спал сном праведника.

Ханука встал и отодвинул дверь. День клонился к исходу. Смеркалось. На прозрачно-голубом небе прорезались первые звезды. На железнодорожных путях зажигались огни.

Поезд, оглушительно громокая, вклинился меж составами, стоящими на многочисленных путях.

— Станция, — перекрывая стук колес, прокричал Ханука. — Ай, Танхум, вставай! Узловая станция.

Танхум проснулся, закурил.

— Ну, что?

— Надо узнать, сколько простоим? Может, успеем загнать немного вина.

— Иди узнай.

— Слушаюсь, товарищ начальник, — отдав честь, весело проговорил Ханука, натянул сапоги и прыгнул с резко затормозившего поезда.

Танхум стоял в двери и наблюдал жизнь большой станции. После целого дня, проведенного в полутемном вагоне и в обществе такого спутника, как Ханука, ему все показалось интересным. Вдали на перроне загорелись фонари дневного света, яркие и одновременно мертвенно бледные. Таких Танхум еще не видел. На путях маняще мерцали разноцветные огни — зеленые, красные, сиреневые. Издалека доносились обрывки музыки, невнятный шум людских голосов, паровозные свистки, звяканье и

лязг сцепленных вагонов, звонкое постукивание молотка о колеса.

— Ой, какой интересный дядечка!

Внизу меж путями стояла неизвестно откуда взявшаяся молодуха, статная, дородная, с крутым гитарным станом. Из-под дымчатого пухового платка весело поглядывали глаза пронзительной синевы.

В Танхуме взыграло ретивое. Несмотря на годы, он не мог упустить такую добычу, тем более, что она сама шла в руки.

Танхум сладко улыбнулся и поманил пальцем молодуху.

— Что скажете, молодой человек?

Грубая лесть сработала безотказно. Танхум еще больше распалился. Присев на корточки, он проворковал:

— Знаешь что, красавица. Если наш поезд не уйдет, приходи через полчаса, — он многозначительно подмигнул. — Есть кое о чем поговорить, — эту фразу из старого анекдота Танхум неизменно брал на вооружение в подобных случаях.

Молодуха понимающе хохотнула.

— Придется зайти, если приглашаете, — она игриво стрельнула глазами, пригнулась и скрылась под вагонами так же неожиданно, как и появилась.

Некоторое время спустя прибежал запыхавшийся Ханука.

— Ай, Танхум, мы здесь простои́м до утра. Я нашел покупателей. Давай сюда два бочонка. Поеду в город. Если задержусь, не волнуйся.

Танхуму только этого и надо было. Когда Ханука ушел, он, не теряя времени, стал деятельно готовиться к встрече. Подложил в печку дров, достал из чемодана консервы, открыл, поставил разогревать, засветил лампу, налил в трехлитровый баллон вина. Вино было не красное, и не розовое, а цвета воска, как лицо Танхума.

— А я уже здесь, — донесся снизу приятный женский голосок.

— Ах ты, мое счастье, иди сюда, поднимайся в вагон.

– Вы один? Я боюсь мужчин.

– Зачем так говоришь, душа моя. Я не зверь, не тигр, не барс. Я человек, Всего-навсего слабый человек. Особенно, когда разговариваю с такими красавицами.

Он галантно протянул свою воловную руку и помог женщине взобраться наверх.

– Как у вас уютно, – восхищенно проговорила гостья, оглядывая вагонное великолепие.

– А ты что думала. Мы люди культурные,

– Ай, боюсь. У вас тут топор.

– При чем тут топор? Разве в таких случаях в топор дело? – Танхум игриво подмигнул.

Молодую оценила остроту и, взвизгнув, захохотала.

– Ты лучше скажи, какое вино будешь пить? В нашем ресторане все сорта имеются: сухое, мускат, нармал, дагестанское полусладкое.

– Что вы, что вы! Я боюсь пить. Не то, чего доброго...

– Не бойся, роза майская, пока я с тобой, тебе плохо не будет.

Танхум принес вино, закуску.

– Ну, джан красавица, садись за стол, угощайся. Гляжу я на тебя и думаю – в мой темный вагон заскочила горная джейран. Я помолодел на сто лет.

– Да вы и так не старый. В самом соку, – она ласково усмехнулась.

– А вот ты сейчас узнаешь, какой я есть.

Танхум сгреб женщину в объятия, но она неожиданно сильной и твердой рукой отстранила его.

– Пустите. Так нехорошо.

Она встала, сняла пальто и платок, аккуратно сложила их на табуретке, поправила перед зеркалом причёску. Волосы у нее были на диво красивы. Скрепленные на затылке высоким пучком, они золотистыми волнами обрамляли миловидное лицо.

Танхум залился довольным смехом.

– Ты не женщина, ты мёд. Сладкий-пресладкий. Разве будет плохо, если я поцелую твои сладкие губы?

Молодуха застенчиво закрыла лицо руками. Но села не на табуретку, а на матрац.

Танхум плюхнулся рядом и тут же придвинулся вплотную. На этот раз она не отстранилась, а, напротив, прижалась мягким, теплым бедром.

– Ай, молодец, джейран. Выпей сладкого вина. Оно вкусное. Как ты.

– Сначала выпейте сами.

– Я уже пил, теперь хочу тебя угощать.

– Я не видела, как вы пили. Пейте со мной.

Они чокнулись, выпили. Потом еще стакан. Потом еще, еще и еще...

Наконец, Танхум решил, что пора приступать к главной части программы. Он поднялся и направился к двери. Мягкие, как вата, ноги плохо слушались его.

– Ой, что вы делаете? Зачем закрываете дверь?

– Не бойся, я оставлю щелочку.

Тяжелая дверь не поддавалась. Танхум чертыхнулся.

– Наплевать... хрен с ней, с дверью, – неожиданно проговорила женщина, язык ее заплетался. – Иди ко мне...

Под утро вернулся Ханука, веселый, хмельной.

– Эй, Танхум! Открывай! – прокричал он снизу.

Открывать было нечего. Дверь зияла пустым проёмом. Ханука выругался: «Дрыхнет с раскрытой дверью, ишак», – и полез в вагон.

Очутившись внутри, Ханука остоленел. В луже крови ничком лежал Танхум с раскрытым черепом. Рядом валялся топор, словно ржавчиной испятнанный запекшейся кровью. Исчез ковер. Исчезли бочонки.

Ханука бросился к мертвецу. Карманы его были пусты. От десяти тысяч рублей не осталось и копейки.

И тут Ханука не выдержал. Закричал. Так громко и страшно, что к вагону стал сбегаться народ.

ССОРА

Бебе проснулся часов в девять утра в отменном расположении духа, какое бывает у человека, когда он хоро-

шо выпится. По обыкновению он выпил натошак стопку водки, закусил голубцами, оставшимися от ужина, затаился папиросой и уже было собрался выйти из дому, как в дверь постучали:

— Примите телеграмму.

Бебе поморщился. «Неужто от дяди? Вроде рановато возвращаться ему домой. Только недавно выехал... Наверно, денег просит». Он вздохнул, распечатал телеграмму, лениво и нехотя пробежал ее и, как подкошенный, свалился на диван.

— Мама... Мама... Горе, ужасное горе... Дядя убит, — чуть слышно прохрипел он. Но с кухни в комнату уже вбежала Сенем.

— Что ты говоришь! Да чтоб твоя мать все свои волосы вырвала, чтоб твой отец в своей могиле сгорел...

— Вот здесь все написано. Убит дядя. Ханука отлучал телеграмму.

Старуха взвыла не своим голосом, бросилась на пол, стала рвать волосы, царапать лицо.

— Ай-вай, дорогой брат мой, — голосила она. — Откуда Азраил прилетел по твою голову! На кого ты покинул бедных сироток! Зачем мне теперь жить! Лучше бы мою душу забрал беспощадный Азраил! Ва-а-ай!...

Сенем колотила себя ладонями по коленям, била кулаками по голове, потрясала руками над головой, слала проклятия тем, кто сгубил ее брата.

Бебе тем временем, оправившись от первого удара, размышлял. «Какая-то загадочная история. Почему вдруг убит дядя, а Ханука остался в живых? Ведь они ехали вместе, в одном вагоне. Почему именно убит дядя, а не Ханука?»

На вопли старухи прибежали соседи. Дом содрогался от женского плача и причитаний. Мужчины же вполголоса выражали всякие догадки и предположения. Одни считали, что Танхума убил Ханука, не поделив с ним барышей, другие предполагали, что Танхум поссорился с покупателями и сложил голову в пьяной драке, третьи говорили о бандитах, напавших ночью на вагон с вином.

Бебе во всех этих разговорах не участвовал. Он весь был поглощен большой и напряженной внутренней работой. Он искал решение и наконец принял его.

— Мама, — перекрывая стенания женщин, позвал он Сенем. — Я все узнаю и все выясню. Никто не уйдет от расплаты. Сегодня же вылетчу туда самолетом.

В тот же день Бебе прибыл на место происшествия.

— Какое несчастье! Какое горе! Кто бы мог подумать, ай, Бебе...

На Хануке не было лица.

— Мы еще с тобой поговорим, бандит. Это тебе даром не пройдет.

Ханука опешил. Такого он никак не ожидал.

— Что ты говоришь, ты только подумай, что ты говоришь, Бебе. Ты выслушай меня, ты расспроси в милиции. Пусть все мои предки будут прокляты, если я в чем-либо виноват.

Бебе локтем оттолкнул путавшегося под ногами Хануку, нанял грузовик, погрузил в него труп и поехал в Дербент.

Похороны проходили согласно правилам адата. Мертвеца положили на пол. В углу комнаты зажгли лампу. Соседки и родственники заполнили тесное, душное помещение. Женщины сидели на полу, в голос плакали и колотили себя по коленям и голове. Либо, жена и сестра покойного всерьез, до кровоподтеков, остальные больше для вида и приличия, чтобы выказать свое сострадание.

В комнате уже не было места, а люди все шли и шли. В сенях раздавались приглушенные голоса:

— Ты уже показала на глаза вдове?

— Тебя видела Сенем?

Пока в тесной и душной комнате, прижавшись друг к дружке, покрытые темными платками, женщины хором оплакивали покойника, во дворе собрались мужчины. Они не оплакивали покойника, травили, что называется, баланду. Рассказывали анекдоты, вполголоса пересмеивались.

Вдруг все смолкли. Прихрамывая, окруженный свитой старцев, во дворе появился раби Хаим. Он молча отвесил поклон джамаату.

— Садись, раби Хаим, прошу тебя, — пожилой мужчина с пунцовой бородавкой на носу встал и уступил равнину свое место на скамье.

Раби Хаим, ничего не сказав и даже не кивнув в ответ, сел.

Мимо прошли двое бородачей в каракулевых папах. За ними проследовали двое молодых парней с большим обитым цинком деревянным корытом в руках.

Раздались голоса:

— Сейчас начнут обмывать.

— Теперь уж осталось недолго. Скоро вынесут.

Корыто внесли в дом.

— Женщины, освободите комнату.

Кричащая толпа женщин удалилась. Двое бородачей позвали старшего сына Танхума, раздели покойника, уложили в корыто. Зачерпнув из бака теплой воды, один из мужчин сказал сыну Танхума:

— Держи черпак, полей отца. Так требует адат.

Сын Танхума безмолвно исполнил приказание. Покойника обмыли, зашили в саван и уложили на особые носилки — мид.

— За переднюю ручку мида должен ухватиться сын, — приказал раби Хаим.

Стали выносить. Женщины заголосили истощнее прежнего. Сенем иступленное прежнего рвала на себе волосы.

— Женщины останутся дома, — распорядился раби Хаим. — На кладбище пойдут только мужчины.

Процессия двинулась со двора. Впереди, опираясь на палку и прихрамывая, степенно шагала раби Хаим, в новой каракулевой папаше и в пальто с меховым воротником.

На кладбище он произнес речь над свежей могилой Танхума. Вспомнил его отца, деда и прадеда, расхвалил весь его род, а самого назвал скромнейшим, верным богу и семье членом общины.

— Заверяю вас, мои дорогие единовѣрцы, — закончил раби Хаим. — Покойнику уготовлено место в раю. Он будет вдыхать аромат цветов, питаться райскими плодами, наслаждаться всеми благами рая. Аминь, аминь, аминь!

Прочли молитву. Старейшины общины приступили к сбору пожертвований.

— Кто сколько может, верующие, — басил старик Шафадие.

Люди полезли в карманы.

— Ну и жулье, — проворчали за сниной раби Хаима. И тут обирают людей. Грабят среди бела дня.

Раби Хаим обернулся, стрельнул косым глазом в толпу.

— Кто там богохульствует!

Никто не отозвался. Все спешили в город, где в доме покойного широко расставленные столы ломились от вина и закусок.

Начались поминки. Они длились семь дней и семь ночей. Целую неделю родня, близкие, друзья и знакомые не покидали дом Танхума. Три раза в день в присутствии десяти мужчин раввин читал молитву за упокой души усопшего. На восьмой день зарезали корову, и пиршество вспыхнуло с новой силой, теперь уже не только обильное и хмельное, но и веселое. Словно всего несколько дней назад не проводили человека в могилу, а удачно женили.

То, что Ханука узнал, вернувшись в Дербент, привело его в ужас. И немудрено: по городу полз чудовищный слух, что он убийца Танхума. Все, что Ханука делал в жизни, не было образцом добродетели, он прекрасно это сознавал. Но лишить жизни человека — такое ему и в дурном сне не приходило в голову. Даже если этот человек был таким ничтожным и жалким создан!

Хануке было известно, что первоначальный источник и главный распространитель слухов Бебе. Поэтому, даже не отдохнув с дороги, чуть ли не прямо с вокзала он бросился разыскивать его. Это оказалось далеко непростым делом. На работе Бебе не было, идти же домой к нему Ханука не решился.

Оставалось одно: положиться на случай и провиденье. Тем более, что Дербент не Москва, в нем не так уж трудно повстречать на улице нужного человека.

Весь день он, голодный и злой, неприкаянно бродил по городу, кляня и свою несчастную долю, и покойного Танхума, и его неуловимого племянника.

И вдруг уже поздно вечером на одной из далеких окраинных улиц чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Бебе.

Тот едва держался на ногах. Он возвращался от вдовы Аснат и был сильно пьян.

— Ай, Бебе, наконец-то я нашел тебя, — Ханука не на шутку обрадовался. — Весь день искал, чтобы поговорить.

Бебе разом протрезвел. Не останавливаясь, он прибавил шагу, на ходу зло бросил:

— Убирайся ко всем чертям, падло!

Ханука догнал его, схватил за руку, но Бебе вырвался и с такой силой оттолкнул Хануку, что тот отлетел в сторону и стукнулся затылком о стену дома.

— Уйди с глаз моих, сволочь! Чтoб духу твоего поганого не было!

С трудом оправившись от удара, Ханука потрогал затылок. Ладонь стала мокрой и липкой, от нее пахло железом.

Оттерев кровь о брюки, Ханука заспешил за удаляющимся Бебе

— Ты что, соображаешь, что делаешь, — жалобно и удивленно проговорил он, — Я же хочу тебе объяснить... Поймай, Бебе

Он догнал его и ухватил сзади за плечи. Бебе обернулся, отпрянул и что есть силы ударил Хануку в подбородок. Ханука охнул и упал на мостовую. Бебе огляделся. На темной улице — ни души. Тихо. Лишь вдали лениво брешет собака.

Бебе приблизился к лежащему на боку Хануке и ударил его носком сапога в живот. Раз, другой, третий. Неторопливо, без злобной запальчивости, методично и деловито.

Ханука скорчился и заикался, Бебе пошел прочь.

— Ах ты гад... Ах ты гад ползучий... С ним, как с человеком, а он...

Ханука выворотил из мостовой булыжник и швырнул вдогонку Бебе. Он не метился, а потому попал точно в цель. Удар пришелся по затылку. Бебе рухнул наземь.

Тогда Ханука поднялся и, пошатываясь на нетвердых ногах, направился к нему. «Теперь, — думал он, — мы квиты. Теперь самая пора объясниться спокойно и, наконец, достичь примирения».

Он подошел к дружку, склонился над ним, чтобы подать руку и помочь встать, и вдруг невероятной силы боль пронзила все его тело. Словно молния, неожиданно обрушившись не с неба, а с земли, ударила в него. Ханука, даже не успев вскрикнуть, свалился на Бебе. А тот, выпроставшись из-под отяжелевшего тела Хануки, встал на ноги, вытер финку, которой только что пырнул врага в живот, и бросился наутек.

Лишь под утро случайный прохожий обнаружил истекавшего кровью Хануку. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу.

В ту ночь дежурила Вера. Она срочно вызвала хирурга. Заспанный, хмурый, с тяжелым и неподвижным лицом, он лишь мельком взглянул на раненого и тут же приказал:

- Готовить к операции.
- Будем делать переливание крови?
- Непременно и экстренно.

Проверили кровь. Первая группа с отрицательным резусом.

— Придется вызывать донора, — сказала Вера. — Такой крови у нас в запасе не осталось.

— Нет времени ждать. До прихода донора ему не дотянуть. Слишком много потерял крови.

Что делать? Хирург знал, что у Веры требуемая группа крови. И Вера это знала. У него у самого кровь была такой же. И Вера это тоже знала. Они взглянули друг на друга и мгновенно, без слов поняли один другого.

- Я дам ему свою кровь, — сказал врач.

— Нет, — сказала Вера, — это сделаю я, — она не могла допустить, чтобы пожилой человек, годившийся ей в отцы, пошел на жертву, а она, молодая, цветущая женщина, спокойно приняла ее.

— Хорошо, сестра, — просто проговорил хирург, снял очки и протер их. — Приступайте.

Вера вернулась домой лишь днем, смертельно усталая, бледная. От еды, предложенной Сурией-ханум, отказалась. И чай тоже не стала пить.

— Единственное, что я сейчас хочу, мама, — это спать.

Она быстро разделась и как легла в кровать, так сразу же и заснула.

ПРОЩЕНИЕ

Дни мчались курьерскими поездами, проскакивая разезды и полустанки и лишь накоротке задерживаясь на крупных станциях, — Весне, Зиме, Лете. Время, как известно, лучший целитель, а если ему приходят на помощь и профессиональные врачи, человек, как бы тяжело ему ни было, встает на ноги.

Поднялся наконец и Ханука. Месяцы, проведенные в больнице, не прошли для него даром. Долгими днями и ночами, прикованный к койке, он о многом передумал, многое понял и многое переоценил. Счастье нередко слепит человека. В горе он чаще всего прозревает. Случившаяся беда принесла прозрение Хануке. Он прибыл в больницу одним человеком, выбыл из нее другим.

Перед выпиской Ханука раздобыл ученическую тетрадку в крупную линейку и вечером после отбоя, когда все больные уже спали, тайком забравшись в процедурную, засел за письмо. Писал долго, с трудом и мучительно: и потому что руки, не привычные к карандашу, плохо слушались, и главное, потому, что мысли никак не хотели укладываться на бумагу. Настолько непривычны и новы были они.

Наконец, письмо было готово. Адресовалось оно Ахмеду.

«Дорогой товарищ Ахмедов, — писал Ханука. — Что мне делать, чтобы искупить свою вину? Мне кажется, я не стою даже пылинок, которые отлетают от подошв твоих башмаков. Когда я вспоминаю свои поступки, я со стыда прячу голову под одеяло и плачу горькими слезами, как последний мальчишка. Больше всего меня тревожит мысль: как после выздоровления взгляну тебе в лицо? Тебе, а также другу твоему — Рахману. Сколько неприятностей доставил я вам! И подумать страшно. После всего, что я сделал, ты имеешь полное право изничтожить меня, стереть в порошок. Но я прошу только об одном — помоги мне возвратиться в бригаду Рахмана, искупить свою вину. Ведь я сын своего отца. Он до старости лет трудится в поте лица, не щадя сил и здоровья. И я буду точно так же трудиться. И увидишь, я стану таким же честным и порядочным человеком, как он... И еще я хочу тысячу раз поблагодарить тебя и твою замечательную подругу жизни Веру. Она спасла меня. Если бы не она, лежать бы мне под сырым и холодным одеялом.

Позвольте мне, мои дорогие, считать тебя своим братом, а Веру родной и кровной сестрой. Я готов всю жизнь целовать землю, по которой ступали твои ноги и ноги моей дорогой сестры Веры.

Ахмед, дорогой, прости, что я так пишу. Иначе я не могу. Лучшее никак не получается. Да и нужно ли лучше? Ведь дело не в словах, а в том, что они выражают.

Если в тебе есть хоть капля обиды на Веру, умоляю тебя, прости ее. Она человек большой души и чистого сердца. Её поступок достоин славы,

Еще раз прости меня, дорогой Ахмед.

Твой Ханука».

Пока Ахмед читал это письмо, Вера стояла у дверей. Исподлобья взглянув на мужа, она встревожилась:

Что-нибудь случилось? Неприятное?

— Нет. На вот, почитай.

Совершая свой поступок, Вера не думала о возможных последствиях. Меж тем они не замедлили сказаться. Весть о том, что она отдала кровь Хануке, быстро распространилась среди дербентцев. Начались всяческие пересуды. Злые языки утверждали, что сделано это неслучайно, что просто так, за здорово живешь женщина не пожертвует собой ради мужчины. Ахмед, совсем недавно выступавший как враг Хануки, неожиданно и всем на удивление стал его кровным родственником. Парторг в роли кровного кунака проходимца и жулика — это вызывало смешки и ехидные перешептывания.

Вера на все это не обращала внимания. Она знала, что сделала то, что должна была сделать, поступила так, как должен был поступить на ее месте любой порядочный человек.

Иначе думал Ахмед. Кривотолки и сплетни не только раздражали, но и огорчали и удручали его. Дошло до того, что он стал сторониться людей. Ему чудилась в их глазах скрытая насмешка.

Дома он тоже был хмур и неразговорчив. Веру избегал, даже детей, и тех как бы не замечал.

Веру поведение мужа и расстроило и возмутило. Но она не показывала вида, ожидая, когда он, наконец, сам обо всем заговорит. Ахмед же молчал, упорно и недоброжелательно. Возникший между ними холодок все возрастал, постепенно переходя в отчужденность. Пока вдруг не пришло это письмо.

Увидев, что жена кончила читать, Ахмед подошел к Вере, обнял ее и тихо проговорил:

— Прости меня... Проклятые пережитки... Прости меня, Вера...

ДОЖДИ

Старый Эсеф, держась рукой за правый бок и побряхтывая, вышел из дома на веранду. Над городом вставала заря. Юная и ясная, она заливала нежно-розовым светом крыши домов.

Старик вздохнул и присел на скамью. За последнее время он очень изменился. В несколько месяцев постарел на целое десятилетие. Из-под седых кустистых бровей печально поглядывали потухшие глаза, спина выгнулась серпом, будто на ней вырос горб. История с Ханукой не прошла для него бесследно. Лишь после возвращения сына из больницы он стал понемногу отходить.

На веранду вышел Ханука. Бледный, исхудалый, с размягченным и грустно умиленным лицом, он ничуть не походил на прежнего, нахально разбитного.

— Зачем ты так рано встал, отец? Не надо. Ступай, отдыхай. Я поработаю за двоих.

— Нет, сынок. Мне не усидеть без дела. Недаром твоя бабушка родила меня на работе, копаясь в огороде. Вся моя жизнь прошла в труде. Без него мне гибель. Если хочешь моей смерти, заставь меня остаться дома.

— Что ты, отец?

— Тогда собирайся. А не то машины без нас уйдут. На колхозном дворе их встретили Азиз и Рахман.

— Давайте быстрее залезайте в машину!

Ханука подошел вплотную к Рахману, спросил:

— Ты простил меня?

— Да будет тебе, залезай в кузов. Думаешь, мне больше не о чем думать?

Ханука просительно улыбнулся:

— Забудь прошлое. Слышишь?

— Ладно, как говорится, кто старое помянет...

На винограднике стройными рядами стояли поднятые на шпалеры кусты. На каждом висело по несколько десятков гроздьев. Виноградники были еще зелеными, маленькими. Их предстояло выходить, уберечь от болезней, отстоять от своеволий природы.

Бригада приступила к делу. Так как в колхозе еще не доставало тракторных опрыскивателей, работа частично шла вручную. Азиз, Эсеф и другие колхозники, неся за плечами опрыскиватели, пускали струю зеленой жидкости на кусты винограда. Рядом, в других клетках, тракторист Мухтаров проводил культивацию, а несколько мужчин, женщин и юношей делали прополку вокруг кустов.

Не прошло и получаса, как солнце уже ушло за облака, а еще немного погодя небо заволокли тучи.

— Вот, так оно всегда, — заметил Эсеф. — Если на заре ясно, потом погода обязательно испортится. Будь она неладна.

— Думаешь, пойдет дождь? — с тревогой в голосе спросил Азиз.

— Может быть. Вполне может быть.

И действительно, вскоре заморосил дождь, частый и обложной. Ничего другого не оставалось, как сесть в машины и отправиться в город.

— Печально, — проговорил Эсеф, когда они сошли с машины и поднялись на веранду колхозной конторы. — Теперь от него не скоро избавишься. Теперь он надолго зарядил.

— Да, плохо дело, — задумчиво согласился Азиз.

— Еще бы, хуже не придумаешь.

Эсеф, как и Азиз, хорошо знал, что дождь совсем не нужен тогда, когда на кустах уже повисли ягоды. Необходимую влагу даст винограду оросительная сеть. Есть сроки полива, агрономы знают их. Дождь же, идущий не ко времени, лишь вредит винограду.

— Я человек старый, — говорил Эсеф молодым колхозникам, собравшимся вокруг него, — и на опыте изучил всю эту агротехнику. Запомните: если на кусте уже висят гроздья и вдруг полил дождь, надо тут же опрыскивать. Иначе заболит виноград, пропадет. И потом от дождя идут в рост сорняки. А они тоже источники болезней. Значит, надо, не теряя времени, полоть, очищать кусты от сорняков. И еще запомните: после каждого дождя надо опрыскивать. А то нет гарантии от болезней.

— Все это мы и в книжках читали, — зевнув, проговорил черный, как смоль, курчавый паренек.

— А книжки кто написал? Не такой же человек, как я? Правда, я не обучен грамоте, зато сама жизнь меня научила.

— Правду говорит старик... Все правильно, до точки, — раздалась одобрительные голоса.

— А кто с ним спорит? — оправдывался смуглый паренек, — Я только говорю, что читал в книжке: после каждого дождя надо опрыскивать виноградники.

Старик Эсеф оказался прав в своем предсказании погоды. Дожди, действительно, зарядили надолго. Работы на виноградниках приостановились.

В комнате партийного бюро совещался актив, советовался о том, как спасти урожай, не допустить его гибели. Здесь были бригадиры Рахман и Рамазан, агроном Арутюнов, секретарь партийного бюро Ахмедов, звеньевые, опытные виноградари — старики. Не было только самого председателя — Мукаила. Он готовился к свадьбе дочери и с разрешения правления колхоза выехал в Москву за приданым. Когда вместо председателя выступил замещавший его Арутюнов, кто-то недовольно пробурчал:

— Не нашел лучшего времени ехать за приданым. В самый разгар работ.

Агроном меж тем заявил:

— Я одного боюсь — перестанет дождь, а для опрыскивания у нас не хватит инвентаря. Мало у нас опрыскивателей.

Маленький щуплый Рамазан смерил долгим взглядом высокую, грузную фигуру Арутюнова и недовольно спросил.

— Где же вы до сих пор были, товарищ агроном? А то, когда на охоту ехать, так и собак кормить, да? — и неожиданно озлившись, вскричал: — Пора кончать этот шалтай-балтай, товарищ дорогой, делом надо заниматься.

Арутюнов опешил. Его пышные черные усы беспокойно зашевелились. Ероша свою седую шевелюру, он недоуменно произнес:

— Да ты что? Соображаешь, что говоришь? Я-то тут причем? Что, я председатель, что ли?

— А кто? Пятое колесо в телеге? — разозлился Рамазан. — Сколько трудодней получаешь?

Рамазана поддержал Ахмед:

— Да, разве ты маленький человек в колхозе, товарищ Арутюнов? Ведь ты правая рука председателя.

Рахман, молчавший до этого, поднял руку, попросил слова.

— Сейчас не время для перепалки, — сказал он. — Бесплодный спор пользы не принесет. Надо искать выход. Дождь вечно не будет идти. Он перестанет, а нам опрыскивать надо плантации. Нельзя терять время.

— Давайте сегодня же пошлем людей в Махачкалу и Баку, — предложил Ахмед. — Не может быть, чтобы там не нашлось опрыскивателей.

Рамазан ухмыльнулся.

— Пока ваши люди приедут в Баку, мильдю съест виноград...

— Надо использовать все возможности, — твердо проговорил Ахмед. — Попытаемся и на месте кое-что сыскать. А вам, товарищ Арутюнов, я не советую играть роль жеванского наблюдателя.

На том и порешили. К вечеру члены правления выехали, один — в Баку, другой — в Махачкалу.

В ту ночь Азизу спалось плохо. Старик беспокойно ворочался в постели, то и дело просыпался, вслушиваясь в струи дождя, безумолчно барабанившего по крыше. Он часто вставал, смотрел в окно, выходил на веранду.

— Ай старик, что это тебе не спится? — недовольно окликнула его Баджи.

— Молчи, ай джан Баджи, разве я могу спать? Ты что сама не спишь? Льет как из ведра. Мне кажется, будто вода уже просочилась за ворот моей рубахи. Ах, сердце сжимается, болит.

— Все от бога, — вздохнула старуха. — Против его воли не пойдешь.

— А ну тебя с твоим богом! — досадливо отмахнулся от жены Азиз.

— Вай-вай-вай, что слышат мои глухие уши! Да чтоб ты лишился своей сестры за такие слова!

— Чтоб с моей сестрой провалилась и ты! — парировал Азиз.

Баджи привстала на постели.

— Я слышала, некоторые люди на старости лет теряют рассудок. Ты, наверно, из таких.

— Ай, Баджи, закрой свой граммофон. Мне сейчас не до музыки.

Он оделся, вышел во двор. Вставал мутноватый, дождливый рассвет. В саду тускло поблескивали лужи. Азиз с горечью смотрел на мокрые гроздья винограда, на усыпанные крупными каплями ветви яблонь и груш, устало сникших книзу. «Пропадет урожай, погибнет виноград, весь наш труд погибнет», — с тоскливым отчаянием подумал старик.

Ближе к завтраку подул ветер и расшвырял по небу тучи. Дождь перестал.

— Ай, Рахман, вставай, вставай скорей, дождь прошел, — обрадовался Азиз.

— Ну и что! — отозвался сонный Рахман.

— Ва! — удивился старик. — Разве ты не рад этому? Рахман встал, оделся, вышел из спальни.

— Рад я, отец. Конечно, рад. Но сегодня мы не сможем работать. Видишь, какие лужи всюду стоят. На виноградниках такая грязь, что ни один трактор не пройдет.

На участке бригады Рахмана виноградники были рядовыми и опрыскивание проводилось трактором. Потому Рахман и не торопился.

— Ай, сынок, медлить нельзя. Надо сегодня же начать опрыскивать, если не хочешь заразить виноград мильдью.

— Что же ты предлагаешь?

— Собрать бригаду и опрыскивать вручную.

— А где взять опрыскиватели? Ты же слышал, их нет в запасе. Люди уже поехали за ними в Баку и Махачкалу.

— Нельзя ждать, ты понимаешь, нельзя, — твердил свое старик. — Соберем сколько есть. Вот и у нас дома есть свой старенький. Я знаю, они есть и у Эсефа, и у Мардахая, и у Зарбаила. Найдутся старые и на колхозном складе. Надо собрать все, какие можно, и поскорей начать работу.

Рахман подумал и наконец согласился:

— Хорошо, отец. Пока земля не подсохла, попробуем опрыскивать вручную. Но пойдут ли на это люди?

— А как же, обязательно пойдут, если только они совесть не потеряли.

Над морем поднимался багровый диск солнца.

— Слава богу, погода совсем прояснилась, — Азиз довольно осклабился и погладил свою остrokонечную бороду.

— Доброе утро, Азиз! — во двор, прихрамывая, вошел Эсэф.

— Доброе утро, старина! Какие новости?

— Ва, разве сам не видишь? — Эсэф — кивнул на солнце. — В такую погоду разве усидишь дома? Думаю, схожу-ка к Рахману, посоветую начать опрыскивание. Пока трактора не пойдут, сами пойдем. Возьмем каждый по опрыскивателю и сделаем свое дело.

Азиз радостно засмеялся:

— Мы с тобой одинаково думаем. Мы с тобой вместе и умрем, брат.

— Придет время — умрем, а пока давай работать. Рахман, ты согласен с нашим предложением?

— Согласен, дядя Эсэф.

— Тогда я пойду за своим старым опрыскивателем, — сказал старик.

— Бери, бери. И приходи прямо на колхозный двор.

— Весть об инициативе бригады Рахмана быстро донеслась до Ахмеда и Арутюнова. Они обрадовались. Вызвали шоферов, заправили машины, отвезли людей на плантации.

— Надо поднять и другие бригады, — предложил Ахмед.

— Поднять-то можно. Да где взять опрыскиватели?

Ахмед рассердился.

— Видите, как у нас получается, товарищ Арутюнов. На охоту едем — собак кормим. Если бы заранее подумали... Вот что значит беспечность. Ничего не знаю, вы агроном, вы замещаете председателя, вы и побеспокойтесь. Найдите, где хотите!

Большой спор разгорелся между парторгом и агрономом. В него включились и подошедшие бригадиры. Одни ругали председателя, другие агронома, третьи упрекали парторга за плохой контроль. Наконец договорились собрать все, какие есть, ручные опрыскиватели и начать работу.

К счастью, погода больше не портилась. Солнце основательно прогрело землю, и песчаная почва подсохла. На рядовых виноградниках начали работать тракторы, ручные же опрыскиватели были переброшены на старые бессистемные виноградники.

Часть людей приступила к прополке, часть работала на опрыскивании. Но так продолжалось недолго. Дня через два небо вновь заволокли тучи, стало темно, пасмурно, опять пошел дождь. Что за напасть! — расстроился Ахмед. Он стоял в саду под проливным дождем и весь промок. Рядом с ним был Арутюнов, хмурый и взволнованный.

— Пошли прахом все наши труды — в сердцах произнес он. — Теперь начинай все сначала. Непроизводительная трата сил и средств.

Ахмед ничего не ответил. Он был недоволен агрономом. «О легкой жизни мечтает. Ему чтобы все само собой в руки шло». Постояли еще немного, подождали. Дождь не переставал. Тогда дали команду садиться в машины и отправляться по домам.

Утро опять было ясное, безоблачное. Но люди уже не верили, что хорошая погода продержится весь день.

— Подождем, пока окончательно установится погода, — говорили они.

Но Рахман не соглашался.

— Как выходили на работу, так будем и дальше выходить.

Рахмана поддержал Ахмед. Они собрали свои бригады и отправились на плантации.

Много раз за месяц шли дожди. И после каждого передовые бригады, не теряя времени, опрыскивали кусты.

— Ты только обрати на него внимание, — как-то во время работы указал на Хануку Рахман. — Совсем другим стал.

— Еще бы! Словно его подменили. Это очень хорошо, — ответил Ахмед и рассказал о письме, присланном из больницы.

— Наконец-то образумился. Мне так больше всего жаль было старика Эсефа. Теперь жизнь в их семье пойдет нормально.

Шли дни. В труде и борьбе со своенравной природой проходило лето. Возвратился из Москвы Мукаил. Погода к тому времени уже установилась. Ясная, сухая. Под живительными лучами солнца виноградные ягоды набирали сок, росли, созревали.

Мукаил, объезжая участки, тщательно осматривал каждый куст. Ему сразу же бросилось в глаза, что на участках Рэхмана и Ахмеда гроздьи большие, ягоды крупные, здоровые. А на участках других бригад гроздьи редкие, ягоды мелкие, поврежденные мильдью.

— В чем дело? — недовольно спросил он агронома.

— Разве не видите? Мильдью.

— Что, у нас не хватало ядохимикатов?

Агроном усмехнулся:

— Дожди шли непрерывно. Тракторы не могли работать. А ручных опрыскивателей как кот наплакал. Пока поехали в Баку и Махачкалу, пока привезли опрыскиватели, мильдью уже свое дело сделала.

— А почему сумели побороть мильдью Рахман и Ахмед?

— На то они и передовые бригадиры. Инициативные. А Рамазан, тот только мастер критиковать да требовать. У самого же никакой инициативы.

Мукаил вздохнул, закурил:

— Значит, по-твоему, во всем виноваты только бригады да звеньевые. А ты, агроном, что же, только общее художественное руководство призван осуществлять? Мы с тобой, стало быть, товарищ Арутюнов, должны лишь руководить и руками разводить.

Агроном ничего не ответил, только пожал плечами. Мукаил швырнул наземь окурок.

— Давай, поехали!

ПОКА СТУЧАТ СЕРДЦА

Асаил, желтый, как воск, исхудалый и неподвижный, лежал в спальне на мягкой, покрытой белоснежной простыней перине. Около кровати, у изголовья и ног больного сидели на стульях родственники, соседи, друзья. Азиз и Рахман вошли в комнату.

Азиз кашлянул, проглотил комок, подкативший к горлу, и по возможности бодро спросил:

— Как себя чувствуешь, старина? По всему видать, лучше?

Больной ничего не ответил. Он лишь приоткрыл глаза и жалобно посмотрел на пришедших. Потом, собравшись с силами, тихим, словно чужим голосом, проговорил:

— Подойди поближе, Азиз. Я и тебя, и сына твоего люблю не меньше своих братьев и детей... — ему трудно было говорить. Он вновь устало закрыл глаза, помолчал и еще тише прежнего прибавил: — Простите меня. Много говорить не могу, тяжело мне.

— А ты не говори, — посоветовал Азиз.

— Да... Хотя бы немного поправиться. А то нет сил, мучаюсь.

Азиз попытался подбодрить больного:

— Даст бог, поправишься. Отлежись, отоспись, отъешься — и поправишься.

Азиз старался подбодрить больного, хотя знал от Хумор, что положение его безнадежное.

– Нет, ты меня не утешай. Мне уже не поправиться. Я скоро умру, – неожиданно твердо и абсолютно спокойно произнес Асаил.

– Не дай бог!

Больной горько усмехнулся:

– Причем тут бог!

Все мы смертны. Если б не умер мой отец, не умерла бы моя мать, и я бы не умер. От смерти никому не уйти...

В комнате воцарилась тишина, тягостная и неловкая. Все безмолвно смотрели на Асаила. Каждый хотел сказать что-то утешительное и не находил слов.

За окном буйно пламенел багровый закат. Будто кто-то разжег огромный костер.

Молчание нарушил Асаил. Чуть приподняв голову с подушки, он проговорил, обращаясь к Рахману:

– Баркалла, сынок, я слышал, ты сумел спасти виноград от болезни. Молодец. Вот так должен работать каждый колхозник.

Рахман смутился:

– Баркалла надо сказать всем членам бригады. Я тут не при чем. Урожай спасли лелей Эсеф, Ханука, Исмаил...

– Хорошими работниками тоже надо руководить...

Чем дольше Асаил говорил, тем крепче становился его голос и тем лучше делалось его самочувствие. Улучшилось настроение и всех присутствующих. В разговор вступили братья больного, родственники, друзья. Когда поздно ночью Азиз и Рахман покидали Асаила, он уже говорил свободно, и Азизу показалось, что друг его поправляется. Вскоре Асаил попрощался с посетителями и спокойно уснул.

Проснулся он рано утром, приободренный, повеселевший.

– Папа, – обратилась к отцу Сара. – Мы выйдем на улицу. Немного подышим воздухом. Хорошо?

– Идите, дочки, идите. Вы мне не нужны.

Дети вышли на улицу. Уселись под окном, в тени ветвистого чинара. Здесь были три дочери, невестка –

вдова покойного сына, внуки и внучки. Старик плохо слышал, о чем говорили дочери. Он сейчас слышал только стук своего сердца. Чем дальше, тем сильнее стучало оно и тем труднее становилось ему дышать.

– Дочка, Сара, иди сюда, милая.

Сара сорвалась с места и влетела в комнату.

– Что с тобой, папа? Тебе опять плохо?

– Нет, ничего, дочка, ничего. Мне сейчас даже хорошо... Видишь ли, как тебе сказать... Только ты, доченька, не плачь. Я чувствую, мне осталось немного жить. А за мной долг. Я не могу унести его с собой в могилу...

Старик пошарил рукой под подушкой и вынул партийный билет. Показал дочери.

– Вот, посмотри, кажется, за август не уплачены членские взносы.

– Да, папа, за август, – еле сдерживая слезы, ответила Сара.

– Иди, дочка, попроси нашего парторга Ахмеда. Пускай придет примет. Сам я не в состоянии к нему прийти.

– Зачем торопиться, папа? Выздоровеешь – тогда и уплатишь.

Старик горько усмехнулся:

– Нет, дочка. Мне уже не встать. Смерть настигает. А я не хочу оставить белое пятно в своем партийном билете. Я коммунист, Сара. И пока сердце стучит в моей груди, я буду выполнять свой партийный долг...

Сара разрыдалась. Заплакали и другие дети.

– Что за слезы, дети мои? Я ведь еще не умер.

Дочь спрятала партийный билет под подушку и сказала:

– Ладно, папа. Сейчас я схожу за парторгом.

Она отвернулась, утерла платком глаза и направилась к двери.

– Ай, Сара, послушай еще меня... Когда я умру, чтоб ни одного раввина не было на похоронах. Никаких старых обычаев, слышишь? Никаких религиозных обрядов. Это мой наказ вам. Слышишь? Пусть меня хоронят рабо-

чие и колхозники, коммунисты и комсомольцы. И хочу, чтоб меня похоронили в гробу. Поняла? Ты меня слышишь, дочка?

— Да, отец, — чуть слышно ответила Сара.

Секретаря партийного бюро она застала в окружении колхозников, за яростным спором.

— Это мы еще посмотрим, кто сколько винограда соберет! — кричал маленький Рамазан.

— Сам с наперсток, а шумит, как верблюд, — усмехнулся старик Эсеф.

Рамазан вспыхнул, но сдержался.

— Молчу... Молчу... Но только из уважения к вашей длинной бороде, — буркнул Рамазан.

— Вам кого, девушка? — спросил Ахмед вошедшую Сару.

— Я к вам... Мой отец у вас на партийном учете. У него не уплачены членские взносы за последний месяц. Отец тяжело болен, и сам не может придти. Он очень просит вас придти к нему, если можно... Или я деньги вам принесу, если можно...

Эсеф узнал девушку:

— Да это же Сара, дочь Асаила. Как я тебя сразу не узнал, дочка? Как себя чувствует отец?

Сара заплакала.

— Хорошо, хорошо, сестра, — поспешно проговорил Ахмед. — Вы идите домой. А я сейчас следом за вами приду, только вот возьму ведомость.

— И я с тобой, — сказал старик Эсеф.

Однако, когда они пришли, Асаила уже не было в живых. Он лежал на кровати, строгий и сосредоточенный, с отрешенным от всего земного и чуть надменным лицом.

На следующий день состоялись похороны. Воздать последние почести покойному пришло много народу. За гробом, обтянутым красным кумачом, шли русские и азербайджанцы, таты и кумыки, армяне и лезгины.

На кладбище состоялся митинг. У могилы произнесли траурные речи старый товарищ Асаила Адигезал, Ахмед, Мамедов, старый Азиз и юная пионерка Эльмира Абба-

сова. Над могилой Асаила пролили прощальную слезу старики и молодые, мужчины и женщины, родные и знакомые. Все они — Адигезал и его сын Ахмед, Эсеф и его сын Ханука, председатель колхоза Мукаил и секретарь райкома Мамедов, друг юности Азиз и его сын Рахман, — склонив головы над могилой старого коммуниста, говорили:

«Мир твоему праху. Прощай, наш дорогой товарищ, друг, единомышленник...»

Стоял ненастный день. Небо заволокли густые облака, заслонив собой солнце.

— Вот так, — тихо проговорил Азиз, когда первые комья земли застучали по крышке гроба. — Асаил верно служил народу, и народ с почестями похоронил его.

— Да, брат, — подтвердил старый Эсеф. — Народ ничего не забывает — ни хорошего, ни плохого. Асаил был хорошим человеком. Он честно прожил свою жизнь, хотя и перенес много невзгод.

— Ничего. Его жизнь была интересной, — сказал Азиз.

КОГДА СОЗРЕЛ ВИНОГРАД

В Дербенте началась уборка винограда. Машина за машиной подходили к воротам консервного комбината. Возили сначала столовый сорт Агадаи. Консервный комбинат стоял недалеко от железнодорожного полотна, за переездом.

К станции подходил пассажирский поезд из Махачкалы, шагбаум был закрыт, и машины, выстроившись длинной вереницей, ожидали, пока его снова поднимут.

Этим поездом ехал Юсупов, командированный в Дербент на уборку винограда.

Прямо с вокзала он направился в райком и здесь у подъезда лицом к лицу столкнулся с Мамедовым, которого уже поджидала машина.

— Рад вас видеть, товарищ Юсупов. Как говорится, сколько лет, сколько зим... Вы ко мне?

Юсупов улыбнулся:

— Вообще-то к вам, а в частности — на виноградники.

Чуть заметная тень промелькнула на лице Мамедова.

— Тогда поехали вместе.

Машина шла по верхней дороге, рассекавшей надвое плантации. На виноградниках было малоллюдно.

— Почему так мало народу работает? — спросил Юсупов.

— А потому что винограда мало, — хмуро ответил Мамедов.

Через несколько минут они вышли из машины, пересекли дувалы, огораживающие виноградники, и принялись осматривать кусты. Гроздья были редкими, ягоды мелкими.

Юсупов покачал головой.

— Агадан, а ягоды меньше, чем у Нармы... В чем же дело?

Мамедов вздохнул, глаза его сверкнули недобрим огоньком.

— Не вовремя пропололи. Не успели опрыскивать. Да и вообще, — он с ожесточением махнул рукой. — Плохо подготовились к борьбе с вредителями. Председатель колхоза Мукайлов, например, вообще ухитрился уехать в Москву в самый разгар работ.

Юсупов сорвал виноградинку, положил в рот и тут же выплюнул. Ягода была кислой и водянистой.

— Странно, мне он казался неплохим руководителем, заботливым и рачительным...

— Зазнался. Потерял чувство ответственности. Хорошо еще, у него бригадиры толковые, с искоркой и пытливым, беспокойным умом.

И Мамедов рассказал Юсупову об инициативе Рахмана и Ахмеда, предотвративших заболевание виноградников.

— Садитесь, поедem к ним.

На участке бригады Рахмана виноградники были рядовыми. Между клетками пролегли широкие дороги.

По ним сновали автомашины. Они подходили близко к сборщикам, и те быстро взвешивали и грузили виноград.

— А вот и наши передовики, — показал Мамедов.

Юсупов еще издали узнал старика Азиза. Высокий, худой, в лохматой папахе и остроносых калошах, он нес на плече корзину с виноградом. В нескольких шагах от него работал Эсеф, рядом с ним — женщины, молодежь. Одни срезали гроздья винограда и укладывали в корзины, другие выносили их из клетки, ставили на весы, затем ссыпали перед сортировщиками.

— Золотые старики. Цены им нет, — проговорил Мамедов.

— Да, я их давно знаю. Могучая гвардия.

Из-за машины, груженной виноградом, вышел Рахман.

— Ва, Шими! Как хорошо, что ты здесь, — обрадовался он.

— Ну, как урожай, друзья? — спросил у колхозников Мамедов.

— Слава богу, не жалуемся, — ответил Эсеф, комкая в кулаке седую бороду.

Азиз недовольно глянул на друга.

— Если бы все бригады собрали такой урожай, юлдаш Мамедов, жить можно было бы.

Юсупов поглядел на кусты, увешанные тяжелыми гроздьями агадаи. Их было много — на каждом кусте по двадцать-тридцать гроздьев.

— Пойдемте, я покажу вам сорт агузум, — предложил Рахман.

Вошли в соседнюю клетку. Огромные гроздья, крупные янтарные ягоды. Все кусты подняты на шпалеры, лозы привязаны к проволоке. Ни одна гроздь не полегла, каждая ягода цела и невредима.

Юсупов нагнулся, сорвал виноградинку, попробовал. Замечательный аромат.

— Да ты сорви целую кисть. Попробуйте и вы, товарищ Мамедов. Винограда у нас много.

Послышался шум подъехавшей машины. Рахман оглянулся. Остановилась «Победа». Из нее вышел Мукаил. Заметив начальство, он прибавил шаг.

– Привет руководству, – весело проговорил он. – А я ездил в бригаду Рамазана.

– Ну, и как там у них, – спросил Мамедов, – хороший урожай?

Улыбка сползла с лица Мукаила.

– Не ахти. В среднем выйдет по шесть-семь тонн с гектара. А вот бригада Рахмана даст по двенадцать – четырнадцать тонн...

– Да-а-а, – недовольно протянул Мамедов. – Если бы вы пошевелили мозгами и лучше организовали дело, так всем колхозом собрали бы по двенадцать тонн. Замечаешь свои ошибки?

Мукаилу пришла на ум старая пословица: не ошибается один только господь-бог. Но вслух он ее не произнес, а уклончиво ответил:

– Что поделаешь, и на солнце бывают пятна.

Мамедов покосился на него:

– Насчет пятен не возражаю. Что же касается сияния, так у вашего солнышка его явно маловато... Поедемте, товарищ Юсупов?

– Я хотел бы еще побыть тут, товарищ Мамедов.

Они попрощались.

Солнце уже село далеко за горами, когда виноградари покинули плантации и расселись по машинам.

– Слушай, Рахман, может быть, пройдемся до города пешком, – предложил Юсупов. – Зайдем по пути на кладбище. Я хочу побывать на могиле Асаила. Как ни старался, так и не сумел вырваться на его похороны.

– Ладно, пойдем.

Они шли по главной дороге, проложенной меж виноградниками. Слева высилась Джалганская гора, справа зеленели воды Каспия. Они шли, не торопясь, и тихо, неторопливо беседовали. Вспоминали юность, пережитые годы минувшей войны, друзей.

Могила Асаила они нашли с трудом.

Они стояли с низко опущенными головами и вслушивались в спокойную тишину и негромкий стрекот цикад.

Рахман мягко тронул друга за плечо:

— Пошли.

До города оставалось немного. Друзья замедлили шаг, сняли пиджаки, стряхнули пыль. Неподалеку бил родник, он уже угадывался по хрустальному звону струй. Они умылись холодной ключевой водой, причесались и поспешили домой.

Вечер был тихий, теплый. Улицы Дербента утопали в зелени. За деревьями высились светло-серые корпуса жилых домов, школ, «А ведь совсем недавно здесь были пустыри, — подумал Юсупов. — Еще несколько лет — и своего родного города не узнаешь».

Вот и дом Рахмановых. Двор, сад. Он полон фруктовых деревьев, виноградных кустов, поднявшихся над головой. В прошлом году деревья были усеяны айвой и гранатом, а лозы — янтарными гроздьями Агадаи, Нармы, Хатмы и Гуляби. Нынче же урожай был плохой. Если кое-где и висели гроздья, то виноград был порченным, прелым.

— Рахман, — удивился Юсупов, — почему твой виноград сгнил? Ты же вырастил в колхозе замечательный урожай, И на больших площадях. А тут — маленький клочок, и почти все сгнило.

Рахман виновато улыбнулся:

— Дорогой Шими, ты сам знаешь, какой был год. Колхозному урожаю угрожала опасность. Что было делать? Вот и пришлось от зари до зари пропадать на плантациях. Если бы мы отдали силы своим виноградникам, погибли бы колхозные. Так вот все и получилось.

Юсупов подошел к Рахману, крепко обнял его и расцеловал.

В это время во двор вошла Хумор.

— Что я вижу! — шутливо всплеснула она руками. — Поцелуй! Шими, ты мне вконец испортишь мужа.

Не бойся, Хумор, — серьезно ответил Юсупов. — Твой муж слишком хорош, чтобы его можно было испортить. На твоём месте я бы день и ночь без усталости целовал бы его...

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ РАССКАЗЫ



В РОДНОМ АУЛЕ

Легковая машина перевалила через заросшую мелким кустарником гору и вышла в просторную долину. Дорога шла вдоль речки. По обе ее стороны раскинулись золотистые пшеничные поля, зеленые массивы кукурузы, а склоны гор и хребты украшали густые леса.

– Вот у моста, пожалуй, я и сойду, – произнес Рустам Лалаев. – Остановите, пожалуйста...

Шофер затормозил. Лалаев, поблагодарив его, сошел с машины. «Победа» умчалась.

Стоял тихий солнечный день, чистый горный воздух отдавал ароматом цветов. Рустам постоял минуту у дороги, расправил свои широкие плечи и жадно вдохнул свежий воздух. «Эх, хороши наши горы!», – произнес Лалаев вслух и, накинув плащ на левую руку, быстро зашагал в сторону аула. Аул – большой, утопающий в зелени садов, милый сердцу Рустама, – стоял посреди долины с вытянутыми в разные стороны улицами, словно собираясь взять в свои объятия Рустама.

В тяжелый 1941 год Лалаев впервые оставил родной аул. Двадцатилетним юношей, после окончания средней школы, он поехал на фронт защищать Родину. От рядового солдата танковой части Лалаев вырос до механика-водителя. В 1945 году он приехал домой. Но не долго пожил в ауле. Его потянуло в город. За десять лет в городе он прошел большую школу жизни. Рустам работал на заводе, женился и стал отцом трех сыновей. Год назад его избрали секретарем партийной организации. У Лалаева

оказались хорошие организаторские способности. Когда партийная организация обсуждала Обращение Центрального Комитета партии об укреплении отстающих колхозов опытными работниками, Лалаев изъявил желание поехать председателем колхоза. Коммунисты единодушно поддержали его просьбу.

Случилось так, что в числе отстающих колхозов оказалась сельхозартель «Красный партизан», где каждый человек, каждый кустик и каждый клочок земли были знакомы Рустаму. О делах в колхозе писал Лалаеву несколько раз его брат Абдул. В одном из писем он даже указал, что неплохо было бы, если б такой грамотный человек, как Рустам, стал председателем их колхоза. И Рустам Лалаев, подавая заявление в партийную организацию, попросил послать его в родной аул.

Теперь он шел домой, разглядывая знакомые места. Вот впереди большой овраг, покрытый зеленой травой. Сколько раз по его склонам бегал Рустам в детстве!..

За оврагом, на краю пшеничного поля, стоит комбайн, возле него возится высокий молодой человек, очевидно комбайнер. Несколько поодаль, на зеленой лужайке о чем-то горячо спорят четверо мужчин. Одни из них, узнав Рустама, встал с места и быстро побежал ему навстречу. Это был брат Лалаева — Абдул.

— Ва-а, дорогой брат, как мы тебя ждали!.. — воскликнул Абдул.

Рустам поздоровался со всеми, находившимися здесь земляками и комбайнером, расположился на лужайке и вынул из кармана пачку «Казбека».

— Угощайтесь, товарищи! — предложил Лалаев, протягивая папиросы, — расскажите, как идет уборка.

— Плохо, товарищ, с уборкой, — сказал комбайнер. — Я вот вчера еще прибыл сюда, а к уборке приступить не могу. Ждем бригадира.

— Кто бригадир? — спросил Рустам.

— Рамазан, — ответил Абдул, — сосед наш.

Лалаев задумался. Через минуту он поднялся, взглянул на большую гору, напоминающую верблюда.

— Там, кажется, тоже созрела пшеница, — сказал Рустам, — кто будет убирать?

— Там дело проще, — ответил Абдул, — хлеб косится вручную.

— Кто косит?

— А вы поглядите и увидите, — произнес комбайнер.

Лалаев еще раз внимательно посмотрел на гору и заметил нескольких женщин в широких пестрых платках. Они жали пшеницу серпами. Рустам поинтересовался, почему так мало людей.

— Не хватает у нас рабочих рук, — сказал Абдул.

— Не хватает? Я вижу здесь четырех мужчин. Чем вы заняты?

— Здесь мужчины занимают руководящие должности, — усмехнулся комбайнер. — Вы меня, конечно, извините, товарищ, но в этом ауле, видимо, полагают, что мужчины рождены для умственной работы, а женская доля — рожать детей и заниматься физическим трудом...

Абдул и другие аульча^{*} недовольно посмотрели на комбайнера. «Харрамзада!» — хотел сказать Омар, школьный товарищ Рустама, но сдержался. Такое отношение со стороны Омара и других мужчин на реплику комбайнера была не случайным. Омар, несмотря на свою молодость и здоровье, работал весовщиком, колхозник Магомед числился пастухом, а Абдул, как об этом давно знал Рустам, являлся заведующим складом.

Лалаев поднял свой чемодан и, дружелюбно взглянув на комбайнера, сказал:

— Ну, желаю успехов, мы еще встретимся.

И они вместе с Абдулом поспешили домой. Когда братья вошли в дом, их мать, старая Шахрузат, была в кухне.

— Мама, посмотри кто идет! — радостно воскликнул Абдул.

* Выражение досады (татский).

Шахрузат подняла с земли край своего длинного широкого платья, встала, выпрямилась, приложила правую руку к глазам.

— Ва-а, пусть мать будет жертвой вам, дорогие! — произнесла она и поспешила навстречу сыновьям. Она подошла к Рустаму, обняла его своими старыми руками, поцеловала в лоб. Лалаев увидел, как маленькие глаза матери, окруженные густыми морщинами, наполнились слезами.

— Мой ненаглядный, так редко приезжаешь, и почему ты один, где жена, где дети?

— Теперь, мама, я все время буду с тобой, — ответил Рустам, — и жена, и дети приедут скоро.

...Рустам сидел в кругу родных и друзей, делился городскими новостями, расспрашивал о делах в колхозе.

— Наш колхоз, сынок, всегда был хорошим, — сказала Шахрузат, — и люди у нас в ауле хорошие, только одного недостает — настоящего хозяина. Вот в чем наше несчастье...

Начатую мысль Шахрузат продолжали другие. Они говорили, что председатель частенько выпивает, нарушителей трудовой дисциплины к порядку не призывает, с людьми не ладит...

О неполадках в колхозе подробно рассказала Лалаеву Зейнаб Мирзоева, — секретарь партийной организации.

— Ты подумай, Рустам, разве женщины не могут быть у нас бригадирами? Или вот — весовщиком работает молодой, здоровый мужчина Омар, твой школьный товарищ. Его с успехом могла бы заменить одна из многих женщин-матерей.

«А разве моего брата, заведующего складом, не могла бы заменить женщина?» — подумал Рустам.

На другой день в переполненном и шумном зале колхозного клуба отчитывался старый председатель колхоза Усман Магомедов. Не успел он окончить свою короткую речь, как с разных концов зала раздались голоса: «Дайте слово!». Выступающие выражали свое недовольство работой Магомедова, бранили за пьянство, говорили о его бес-

хозяйственности, о том, как он всю тяжелую работу взваливает на женщин, особенно на тех, у кого нет мужей. Много упреков раздавалось по адресу мужчин, которые бегут от трудной работы, ищут легкой жизни, отсиживаются в конторах. Лалаев слушал справедливые замечания и ему становилось стыдно за своего товарища Омара, за брата, за других знакомых ему земляков.

В конце собрания, когда кончились выборы, слово попросил Рустам.

— Товарищи, мне трудно сегодня говорить, — произнес он, — многого о делах нашего колхоза я еще не знаю, но вы поправите, если я в чем-либо ошибусь. Вчера, когда я сошел с машины и проходил мимо созревших, хороших хлебов, увидел высокие многообещающие стебли кукурузы, прямо скажу, душа обрадовалась. Я с благодарностью вспомнил о вас, о всех колхозниках, вырастивших этот урожай. Но вот когда я встретился с комбайнером, со своим братом и моим товарищем Омаром, и тут же увидел на ручной уборке пшеницы одних женщин, — мне стало тяжело на сердце. Вы посмотрите, как много хлеба на полях. Если будем медлить с уборкой, пропадает добро, и никто этого не простит. Нам нельзя отсиживаться на складах, в конторах. Давайте лучше, мой брат Абдул, мой товарищ Омар, уступим свои места женщинам, а сами пойдем в поле.

В зале поднялся шум. Многие одобряли слова Рустама, другие, кого это задевало, выражали возмущение.

Утром за завтраком братья не разговаривали. Старая Шахрузат еще ночью, открывая двери, сначала одному сыну, потом другому, почувствовала, что между ними произошло что-то неладное. Но она промолчала. «Утро вечера мудренее», — решила мать. И теперь, подкладывая сыновьям лучшие куски мяса, она спросила:

— Не случилось ли чего-либо худого?

— Ничего, мать, все будет хорошо, — ответил Рустам.

— Кому хорошо, а кому — наоборот, — хмурясь заметил Абдул. — Что здесь хорошего, заведывал я несколько

лет складом, не воровал, все было на месте. И вот приехал родной брат и выгоняет с работы...

— Что ты говоришь! — воскликнула мать, потом посмотрела на Рустама. — Правда ли это, Рустам?

— Как сказать, — ответил Лалаев. — Что Абдул работал честно — это правда, а что выгоняю я его — неправда. Мама, ведь на днях ты сама говорила, что у нас в колхозе нет порядка, хозяйство разваливается, урожай пропадает. Надо же покончить с беспорядками, не правда ли?

— Пусть погаснет солнце, если это неправда, но почему наш Абдул не должен работать кладовщиком?

— Ты пойми, мама, что он коммунист, здоровый мужчина. Такие нужны в поле.

Потом Рустам, взглянув на брата, сказал:

— Абдул, как тебе не стыдно: твоя жена, мать маленьких детей, будет ходить на тяжелую физическую работу, а ты будешь отсиживаться на складе. Почему же не сделать наоборот?

— Нет, я этого не ожидал от тебя, Рустам. Жить в моем доме и делать мне пакости! — произнес Абдул. Рустаму тяжело было слышать эти слова. Он встал, снял плащ с вешалки.

— Куда ты? — спросила Шахрузат.

— Я пойду в правление, — ответил Рустам, и не задерживаясь, ушел.

С этого дня Лалаев стал жить в отведенной ему колхозом квартире.

В горячие дни уборки ему было не до дому. Каждый день от зари до темна он был на ногах. Надо было в короткий срок и без потерь убрать хлеб; вместе с колхозниками был он и в поле, ездил и в МТС, беседовал с комбайнерами, успевал заглянуть и в детясли — проверял, достаточно ли заботятся о детях.

Ну, а как Абдул? Он вынужден был сдать склад Кабировой — уже немолодой женщине, взять в руки серп и косить хлеб. В первые дни он ходил озлобленным, смотрел хмуро не только на брата, но и на членов бригады, с которыми работал в поле. Абдул не боялся работы. У него

за последние дни даже улучшился аппетит, он перестал страдать бессонницей. Но самолюбие не давало ему покоя. Однажды в разговоре с женой, молодой жизнерадостной Зухрой, он сказал:

— Все растут, выдвигаются, идут вперед, а я назад...

— О ком это ты, Абдул, о брате?

Он промолчал.

— Не советую тебе думать так о Рустаме, — рассердилась Зухра. — Он дельный руководитель. Пройдет немного времени и ты увидишь, как хорошо будет в нашем колхозе.

Зухра была права. Закончилась уборка и члены сельхозартели «Красный партизан» увидели плоды своего труда. Рассчитавшись с государством, колхоз стал выдавать аванс на трудодни. Впервые за последние четыре года членам сельхозартели, кроме мяса, сыра и других продуктов, еще причиталось по три килограмма пшеницы.

— Ты помнишь, в прошлом году, — сказала мужу Зухра, — урожай тоже был хороший. А получили мы сколько? По одному кило. А все потому, что не смогли вовремя убрать. Комбайн простаивал, председатель пьянствовал, вы, мужчины, в поле не выходили, а зерно осыпалось и пропадало.

— Хватит тебе, Зухра, я и так много пережил за последнее время. Еще ты нервируешь меня.

— Тебя совесть мучает, Абдул, — улыбнулась Зухра и испытующе посмотрела на мужа. — Я бы на твоём месте сходила к брату и помирилась бы.

— Мы с ним не враги, — ответил Абдул. — Но на поклон я не пойду.

Оставшись в комнате один, он задумался обо всем, что произошло в ауле с приездом Рустама. Когда он вспоминал деловую решительность брата, ему становилось не по себе. «Почему же я не такой, как брат?» — спрашивал он себя.

В это время открылась дверь и вместе с лучами уходящего далеко на запад солнца в комнату вошел Рустам.

— Не помешаю тебе, брат? — спросил Рустам.

Абдул растерянно оглядел комнату и молча подал брату стул.

— Все сердишься на меня? — спросил Рустам. — Нам не следует ссориться, Абдул. У нас одна цель, одни стремления -- поднять свой колхоз. Так давай же будем работать рука об руку.

— Да, да, рука об руку, дети мои, — сказала вошедшая Шахрузат.

Она была очень рада увидеть Рустама.

— Завтра приедут жена и дети, — сказал Рустам, — я прошу всех вас прийти, слышишь, Абдул?

ВЫ НАМ НЕ НУЖНЫ

Как только колхозный бригадир Мардахаев открыл калитку и вошел во двор, он услышал радостный возглас:

— Дядя Ханун, а что вы мне подарите за хорошую новость?

В дверях дома стоял высокий смуглый мальчик и весело улыбался. По тому, как радостно он говорил, как сияли его глаза, Мардахаев догадался, о чем идет речь. Ахса, жена Мардахаева, была в положении и в последние дни уже несколько раз собиралась в родильный дом. Но молодая неопытная женщина ошибалась во времени. «Ведь первый раз, не грешно и ошибиться», — успокаивала невестку мать Мардахаева Гюльбиче.

«Значит, уже...» — подумал бригадир.

Мардахаева со всех сторон окружили родные и соседи.

— С сыном, Ханун, с сыном поздравляем! — наперебой говорили гости.

Мардахаев сначала смутился, а потом, с теплой и радостной улыбкой оглядев собравшихся, низким поклоном ответил на их искренние поздравления.

— Мама, — сказал Мардахаев, обращаясь к Гюльбиче, — надо готовить угощение, чего ждешь?

— Угощение будет, сынок, всех угостим, кто придет в наш дом, — ответила счастливая Гюльбиче, — только ты не торопись, через семь дней, в день обрезания будет большое угощение!

— Что, какое обрезание? — воскликнул, изменившись в лице, Ханун и тут же замолчал.

Потускнели его улыбающиеся карие глаза, нахмурились черные смолисты брови, опустилась голова, словно свинцом налились ноги.

— Сын мой, не обиделся ли ты на меня? — встревожилась Гюльбиче.

Но Ханун уже не слышал слов матери. Он вошел в комнату, снял с себя рабочий костюм и задумчиво опустился на ковер. Тем временем гости начали по-одному расходиться. Вскоре в доме остались только Ханун и Гюльбиче.

На дворе стоял тихий октябрьский вечер. Небо над Дербентом окутывали набегавшие с юга густые темные облака.

«Видно собирается дождик. Это кстати, влага нужна теперь посевам озимых», — подумал Ханун и, выйдя во двор, почувствовал на своем лице холодные, частые капельки.

Вскоре пошел настоящий осенний дождь. Мардахаев возвратился в комнату. На столе стоял ужин и графин со свежим виноградным вином.

— Поужинай, сын мой, да пойдем проведем нашу Ахсу, — сказала Гюльбиче, вопросительно поглядывая на сына.

Ханун молча ел.

— Сын мой, пусть ослепнут глаза и оглохнут уши твоей матери, скажи, чем ты обижен? — спросила Гюльбиче.

Ханун встал, прошелся по комнате и, обернувшись к матери, сдержанно ответил:

— Твоими словами, мама. Ведь ты знаешь, я — комсомолец, колхозный бригадир. А что ты мне предлагаешь?

Делать обрезание ребенку, позорить свое комсомольское имя!..

– Какой же тут позор, сын мой, это обычай наших отцов...

– Мама, этот обычай плохой, отживший свой век...

– Э-э-э, сынок, этот обычай еще не отживший, попробуй только нарушить его, наши же родственники осмеют тебя, – возразила Гюльбиче, поправляя на голове большой шелковый платок.

– Пусть! – решительно произнес Ханун. – Родственники мне не указ, я буду поступать, как велит моя совесть...

Старая Гюльбиче, не ожидавшая от сына такого упорства, рассердилась, стала кричать, даже расплакалась.

– Пусть бог заберет мою душу, мне незачем жить на этом свете, если родной сын хочет сделать из меня посмешище.

– Мама, к чему здесь эти слова!

– Нет, нет! – кричала сквозь слезы Гюльбиче, – пока я жива, ты не можешь нарушить обычая наших отцов... Вай-вай-вай, зачем я тебя родила, кормила своей грудью, да зачем я родилась на свет! Лучше бы моя покойная мать камень родила вместо меня!.. И мне не пришлось бы теперь краснеть перед людьми!..

– Хватит, мама! – повысил голос Мардахает.

Губы его задрожали. Он сел, вынул из кармана портсигар, закурил.

– Что мне с вами делать! – прошептал Ханун, – и надо же было, чтобы все это произошло в канун моего отъезда. Сколько забот, сколько хлопот!..

Гюльбиче подошла к сыну.

– Куда это ты собираешься, сын мой? – спросила она мягче.

– В Махачкалу, на выставку, завтра ведь открытие... Заметил ли Ханун или нет, но лицо старой матери в эту минуту радостно засияло, морщинки словно разгладились. «Вот и хорошо, – подумала она, – сын уедет, пробудет там неделю-две, а мы тем временем сделаем свое дело».

– Поезжай, мой мальчик, счастливого тебе пути, поезжай и не думай о нас, бог велик, он поможет нам...

Ханун взглянул на мать с улыбкой и покачал головой.

– Думаешь, я не понимаю тебя? – спросил он. – Был недавно случай, одного товарища поругали за то, что сделал сыну обрезание. Он нашел оправдание: «Меня не было дома, родители без меня сделали»...

Гюльбиче заметила в голосе сына нотки примирения и, ласково обняв его, сказала:

– Мы так сделаем, что никто не узнает, прошу тебя, мой сын, не срами мать...

Ханун промолчал. Он не сказал ни «да», ни «нет». А утром в шелковой сорочке и новом костюме он уже сидел у стенда своего колхоза, на выставке. Посетители с интересом слушали рассказ бригадира о вкусном и ароматном винограде сорта «Хатми», рассматривали крупные зернистые початки выращенной в нынешнем году кукурузы, восхищались пшеницей «Сары-бугда».

– Этой пшеницы мы собрали по 25 центнеров с гектара, – гордо подчеркивал Ханун.

На стенде, над всеми экспонатами красовалась фото-витрина передовиков колхоза, с которой смотрел и Ханун Мардахаев – молодой, жизнерадостный.

За день мимо павильона дербенских колхозов проходило много людей. Среди них были старые горцы-чабаны, молодые доярки, рабочие-нефтяники, школьники, студенты, матери с детьми.

Взгляд Мардахаева задержался на женщине с ребенком на руках. Ребенок приподнимался и, смеясь, тянулся к спелым плодам. «Скоро и наш будет таким», – тепло подумал Мардахаев и, выбрав большое красное яблоко, протянул его малышу.

Потом ему стало грустно. Он вспомнил крохотное личико сына, которого ему вчера вечером показали в окно родильного дома и досадный разговор с матерью об обрезании. Он не раз видел и знает, как жутко происходит этот кем-то выдуманный и никому ненужный обряд. Однажды у соседки родился мальчик и его родители пригла-

сили раби Шафада делать обрезание ребенку. До сих пор помнит Мардахаев старого, хромого от рождствия и вечно пьяного учителя древне-еврейского языка и как тот перед совершением обряда вытирал свой грязный нож краем засаленного бешмета. Помнит Ханун и захлебывающийся крик младенца, переполох, поднявшийся в доме, рыдания молодой матери, оплакивавшей смерть своего первенца. От этих воспоминаний на душе Мардахаева становилось все тяжелее и тяжелее.

Мысли о доме, о молодой жене и ребенке не покидали Хануна ни в этот, ни в последующие дни. Земляки, дежурившие у стенда колхоза вместе с Мардахаевым, не могли не заметить перемены в бригадире. Он стал менее разговорчив, рассеянно отвечал на вопросы, путанно рассказывал экскурсантам о своем опыте. Однажды, показывая посетителям крупные зерна пшеницы «Сары-бугда», он вдруг заговорил о кукурузе и тут же смутился. «Нет, я не могу больше, я должен вернуться домой и не допустить этого страшного надругательства»... мелькнула у него мысль. О своих переживаниях Мардахаев рассказал председателю колхоза, когда тот приехал навестить своих колхозников.

— Отпустите меня, я поеду домой, — попросил Мардахаев председателя.

— Что же, поезжай, да не опаздывай, — согласился тот. — Сегодня твоя жена придет домой, а завтра сам знаешь, что может произойти...

После проливных дождей в Дербенте стояла теплая безветренная погода. Но осень все же давала знать о себе. Быстро желтели деревья, шелестели под ногами листья айвы и яблонь, оголялись виноградные лозы.

Раннее утро. В дом Мардахаевых вместе с первыми лучами солнца входили один за другим гости: родные, близкие, соседи. В передней комнате, на шерстяных матрацах вдоль стен расположились пожилые женщины, а в соседней комнате, вокруг большого стола, на новые венские стулья садились мужчины. Их было десять. Одни — бородатые, в черных каракулевых папахах, другие бритые,

в фуражках. В центре находился седобородый большеглазый мужчина в новой папахе – раби Нахшун.

С кухни доносился запах шашлыка. У печки, вокруг больших медных казанов возились «кайвани» – старые женщины, «опытные повара», которых всегда приглашают на свадьбы, поминки, или именины.

В маленькой спальне, завешенной табасаранскими коврами и пестрыми гардинами, около колыбели сидела и баюкала младенца Ахса. В полумраке комнаты ее бледное лицо, обрамленное темными косами, казалось худеньким и усталым. Молодая мать с содроганием думала о том, что должно произойти через несколько минут с ее младенцем и от этого ей становилось грустно и тяжело. Ахса раньше и в мыслях не допускала, что, став матерью, сделает своему ребенку обрезание. А теперь, возвратившись из роддома, она непрерывно слышала от старой Гюльбиче всевозможные нарекания. Свекровь старалась навязать молодой женщине свою волю. Ахса пыталась вразумить Гюльбиче, объяснить бессмысленность религиозных обрядов и суеверий, но каждый раз встречала резкое сопротивление. Только любовь к Хануну заставляла молодую женщину сдерживать себя и уступать свекрови.

Против воли Ахсы Гюльбиче пригласила раби Нахшуна, собрала родных, близких и, воспользовавшись отсутствием Хануна, решила совершить обряд старины. «Как некстати он уехал», – сокрушенно думала Ахса о муже.

А он в это время уже сходил с поезда. Как назло, поблизости не оказалось ни такси, ни попутной машины. Тогда Мардахаев пошел пешком. Он не разглядывал улиц, не замечал прохожих. Все его мысли были дома. Ханун спешил, боясь опоздать.

В доме в это время уже шли последние приготовления. Раби Нахшун, поднявшись, вынул из кармана завернутую в носовой платок бритву, протер ее краем грязного бешмета и повелительно произнес:

– Ребенка сюда!

Услышав эти слова, Ахса вздрогнула. Она хотела взять с кровати спящего сынишку, но руки ее задрожали, из глаз покатились слезы.

— Поторопись, люди ждут, — сказала прибежавшая за ребенком Гюльбиче.

Она быстро схватила мальчика, унесла его, положила на стол перед раби Нахшуном и скрылась. К тому времени перед мужчинами на большом столе уже стояли стопки с водкой, блюда с виноградным вареньем и различные яства.

Раби Нахшун хладнокровно посмотрел на расплакавшегося ребенка и, окинув взглядом собравшихся в комнате мужчин, медленно сказал:

— Отец младенца отсутствует, кто будет читать молитву?

— Здесь отец! — воскликнул Ханун, вбегая в это мгновение в комнату.

Услышав голос мужа, Ахса от радости заплакала и выбежала из своей комнаты, а Мардахаев взял со стола сына, бережно прижал его к груди и, гневно взглянув на раби Нахшуна, сказал:

— Ну, что стоите? Вы нам не нужны, обрезание не состоится!

Когда раби Нахшун покинул комнату, Ханун вежливо пригласил гостей к столу.

ПЕСНИ ГОРЯНКИ

Стоял прохладный осенний вечер. Над вершинами гор мерцали одинокие звезды. Наступали сумерки. На учарах¹ сидели старики в шубах и папах. Где-то в стороне раздавалась знакомая мелодия. Пели поочередно женщина и мужчина.

¹ Место сборов сельчан.

— Где это поют? — спросил седобородый Гюльмамед. Женский голос показался ему знакомым, и он насторожился.

— Э-эй, Гюльмамед-халу, — протянул его собеседник Селим-ага, — давно ли в этом божьем храме пел, подобно соловью, всеми уважаемый молла Муталим-Халил. А теперь... вы сами слышите, какие голоса там раздаются, даже тошно слушать!..

Гюльмамед понял, что песня слышится из колхозного клуба, бывшего здания мечети. Но кто там поет и почему женский голос показался ему знакомым? Старик вспомнил недавний разговор с женой. Старая Гюльсара рассказала, как колхозный парторг Абдулвагаб уговаривал невестку Латифу выступить в клубе.

— Не правда ли плохо поют? — спросил Селим-ага.

Гюльмамед старался лучше разглядеть лицо Селим-аги, но было уже темно. И старик, задетый за живое словами собеседника, поднялся и, опираясь на палку, направился к дому. «Змея подкодная, — произнес в сердцах Гюльмамед, — так и норовит ужалить...». Не любил Гюльмамед Селим-агу, не любили его и многие другие жители аула. «Этот плут может поднять нас на смех, — подумал расстроенный старик, — не дай бог, злые языки еще наговорят на мою невестку черт знает что»... Вздвигаясь, он ускорил шаг.

Дома его встретил сын, только что возвратившийся с работы.

Он был в хорошем настроении. Садоводческая бригада, возглавляемая им, в этом году снимала богатый урожай плодов, и Аслан рассказывал отцу, какую радость доставило колхозникам обилие фруктов. Гюльмамед плохо слушал сына. Он думал о невестке.

— Где Латифа? — спросил старик, обращаясь к жене.

— Не спрашивай меня про нее! — с раздражением ответила Гюльсара.

Сын с удивлением взглянул на мать. Он давно не видел ее такой расстроенной

— Что случилось, мама? — опросил Аслан, — почему ты волнуешься?

— Еще бы не волноваться, — чуть не плача ответила Гюльсара, — да лучше бы меня горы задавили, чем такой позор принимать на свою голову...

— О каком позоре ты говоришь, мама?

— Гм... ты еще спрашиваешь, — усмехнулась Гюльсара, — твоя любимая Латифа нарушила обычай наших предков. Какой грех! Да я, когда была молодой женщиной, в глаза твоему отцу не смела взглянуть, а твоя бесстыдница развлекает своими песнями весь аул. Это ли не грех?!

— Какой же это грех, мама? — спокойно произнес Аслан. — Может быть это раньше считалось грехом, а теперь ты должна гордиться своей невесткой.

— Молчи! — крикнула Гюльсара.

— Мама, пойми, что теперь не те времена, раньше люди были темными.

В разговор вмешался Гюльмамед.

— А теперь, думаешь, все люди преобразились? — размахивая дрожащими руками, сказал он. — Не забывай: наш аул не Москва и не Махачкала. Такие шайтаны, как Селим-ага, здесь еще не перевелись.

И он удалился в другую комнату. От веселого настроения Аслана ничего не осталось. Потускнели его искрившиеся глаза, потемнело лицо. Он молча накинул на себя пальто и вышел из комнаты.

— Сынок, поужинай сначала, — предложила мать.

— Спасибо, мама. Вы уже «накормили» меня, — ответил Аслан из-за двери.

Выйдя на улицу, Аслан глубоко вздохнул и медленно направился в сторону клуба. «Как же запретить ей петь, — подумал Аслан, — и что мне завтра скажет парторг Абдулагаб? Если бы она еще не была коммунисткой»... На полпути к клубу он повернул в сторону и долго ходил по узким каменистым улицам аула. Но кривая улочка все же привела его к зданию бывшей мечети и он отчетливо ус-

лышал приятную мелодию народной песни. Пела Латифа. «Ох, как она хорошо поет!» — подумал Аслан.

Он вспомнил свою первую встречу с Латифой у берега реки Гургурчай.

Это было два года назад, в конце лета. Аслан возвращался из города, куда он ездил учиться на бригадира-садовода. Он доехал до развилки дороги и, сойдя с машины, направился в аул пешком. Погода была жаркая, дорога пыльная. Аслан свернул с дороги и пошел по извилистой тропинке вдоль реки. Недалеко от аула он услышал знакомую песню на слова старого лезгинского ашуга Етима Эмина. «Какой чудесный голос!» — подумал Аслан. Он повернул к реке и увидел девушку с кувшином. Эта была Латифа. Заметив юношу, она умолкла и, набрав воды, собралась уходить.

— Вы уже уходите? Как жаль, — сказал Аслан.

Латифа посмотрела на него, застенчиво улыбнулась и ушла. А в ушах юноши еще долго продолжали звучать трогательные слова песни.

— Да, хорошо она поет, — повторил Аслан, подходя к клубу. — И как же можно запретить ей петь, разве это не будет преступлением?...

Но тут же, как кинжалом, поразили его насмешливые слова Селим-аги, доносившиеся из-за угла.

— Вы слышите? — говорил кому-то Селим-ага, — мужа оставила дома, а сама развлекает чужих мужей...

В ответ раздался хохот. Кровь закипела в жилах Аслана. Он сжал кулаки и готов был ринуться на Селим-агу, но опомнился, выругал его про себя, и вошел в клуб.

— Латифа, тебе придется все же оставить это дело, — еле сдерживая себя, сказал Аслан.

— Почему, разве тебе не нравятся мои песни?

— Латифа, я бы всю жизнь только и слушал твой голос, — сказал Аслан, — но ты лучше меня знаешь обычаи наших отцов. Смеются над тобой, позорят.

Латифа на минутку остановилась.

— Аслан, разве не ты говорил мне: вступай в партию? Значит ты кривил душой.

— Нет, нет, но ты понимаешь, как относятся здесь к выступлениям женщин на сцене?.. Не мучай меня... Ты знаешь, как я люблю тебя.

— Видно, плохо любишь...

Эти слова обидели Аслана.

— Не веришь? Я думаю, что нет в жизни для меня человека ближе тебя.

— И я так думала, — ответила Латифа, — а теперь не верю.

Аслан вышел из себя, бросил несколько колких слов в адрес жены и быстро ушел.

Немало встретили дома Латифу и старики. Как только она вошла в комнату, Гюльсара отвернулась от нее, бормоча под нос оскорбляющие молодую женщину слова, а Гюльмамед, нахмурившись, дымил трубкой. Никогда еще Латифа не видела их такими. Всегда они с ней были ласковы, хвалили ее и называли дочкой. Гробовое молчание в доме расстроило Латифу. На ее глазах появились слезы. Она вошла в спальню, бросилась на кровать и заплакала. Ей вспомнились просьбы колхозного парторга Абдулвагаба. «Ты знаешь, Латифа, наш аул отсталый, — говорил он, — девушки стесняются выступать на сцене, а злые языки разносят всякого рода слухи. Ты коммунистка, будь добра, покажи пример, пусть увидят, как ты выступаешь, и последуют за тобой. А то стыдно нам перед другими колхозами».

Латифа знала, что старики не одобряют ее участия в самодеятельности. Но она была уверена, что муж уговорит родителей. «Выходит, я ошиблась в Аслане», — подумала Латифа.

Мучительна была эта ночь для молодой женщины. С тревогой и волнением перебирала она в памяти события минувшего дня. До поздней ночи Латифа не могла сомкнуть глаз и только под утро немного вздремнула. Встала она рано. На веранде дома столкнулась со свекровью. Та враждебно посмотрела на нее, что-то пробормотала и прошла мимо. Утомившаяся, осунувшаяся за ночь, Латифа быстро собралась и поспешила на работу.

Тревожно провел ночь и Аслан. Проснувшись, он не нашел жены дома, еще больше расстроился и, не позавтракав, направился в сад.

Вечером Аслан пришел домой раньше обычного в надежде поговорить с Латифой, но ее не оказалось дома. Уже на дворе стало темнеть, зажглись электрические лампы, а ее все не было. «Может быть, в клубе?» — подумал Аслан и собрался туда.

Но в этот вечер участники самодеятельности не собирались.

Аслан решил пойти на молочно-товарную ферму, где работала Латифа.

Дорога на ферму шла по узкому ущелью через овраги и кручи. От сильного встречного ветра Аслан скоро устал. Но, заметив впереди огонек дома, в котором размещались колхозные доярки, облегченно вздохнул и ускорил шаги. «Поет», — проговорил Аслан, остановившись у двери. Латифа пела в этот раз грустную песню о любви и разлуке. А подруги, окружив ее, с затаенным дыханием слушали. Аслан постоял у двери, пока Латифа не кончила петь, и только после этого постучал в окно.

— Это ты, Аслан? — опросила Латифа.

— Латифа, пойми мое положение — отец, мать, родственники, да еще злые языки болтают всякую чушь...

Латифа подумала и сказала:

— Но я не могу отступить!..

С болью на сердце возвратился Аслан домой один. Всю дорогу он думал, искал выход, но не мог найти его. Он и сам был на стороне Латифы и осуждал вредные пережитки адатов, но и родителей не мог обидеть. Он вспомнил поговорку: «жену можно найти, а мать не найдешь», но тут же отбросил эту мысль, ибо не представлял свою жизнь без Латифы. В его ушах все время звенел ее голос и одна мысль о ней уже придавала ему силы...

Дни проходили один за другим, а Латифа не возвращалась. Пусто, холодно было без нее в доме. Аслан загрустил.

Однажды вечером, возвращаясь с работы, Аслан как-то невольно пошел по дороге, что вела к клубу. Здесь он снова услышал голос своей любимой. Теперь Латифа пела не одна. Вместе с ней пели девушки с молочно-товарной фермы и ученицы средней школы.

Как потом рассказали Аслану, многих девушек уговорила Латифа, и парторг Абдулвагаб был доволен, что, вопреки сторонникам старых порядков, женщины и девушки решили создать хор горянок. Чем ближе подходил праздник Октября, тем чаще собирались на репетиции участники самодеятельности. Теперь Аслан почти каждый вечер мог слушать голос Латифы, хотя она и не приходила домой. Часто Латифа возвращалась с девушками на ферму, а иногда оставалась ночевать у своей матери.

На свою судьбу она никому не жаловалась. Единственный человек, с кем делилась она своими мыслями, была мать. Она не осуждала поступок дочери, но и ссориться с мужем не советовала.

— Не забывай, дочь моя, — говорила она, — ты скоро будешь матерью.

Невесело стало за последнее время и в доме старого Гюльмамед. Аслан вечерами возвращался поздно, а старики молча коротали вечера.

— Скудной стала наша жизнь, — сказал как-то Гюльмамед жене.

— Иди в мечеть, там поет наша Латифа, она развеселит тебя, — сердилась старуха.

— И пойду, — отвечал старик. — Если хочешь знать, я ничего плохого не вижу в ее поведении. Все это из-за людей, из-за злых языков.

Но шестого ноября после торжественного собрания, когда объявили о выступлении художественной самодеятельности, Гюльмамед все же не решился остаться в зале, а примостился за дверью, в фойе клуба.

— Проходите в зал, Гюльмамед-халу, — приглашал старика Абдулвагаб, — хороший концерт будет сегодня у нас.

— Спасибо сынок, я посижу тут, там душно.

В зале действительно стояла духота. Много народа собралось сегодня здесь. Давно не было в ауле вечеров самодеятельности. А музыку, живое слово в ауле любили, как везде. Присутствующие шумели, хлопали в ладоши. Но вот на сцену вышел директор школы Муслим-Фатах и объявил, что концерт начинается выступлением женского хора.

Раздались аплодисменты. Открылся занавес. И, когда перед зрителями предстала большая группа горянок в разноцветных платьях, в зале воцарилась тишина.

— Песня о Родине, — объявил Муслим-Фатах, — запевает передовая доярка нашего колхоза Латифа Агаева.

Услышав имя Латифы, Гюльмамед шире открыл дверь и приподнял голову. Из дальнего угла зала радостно смотрел на жену и Аслан. Его охватило большое волнение, когда голос Латифы, слившись с голосами других горянок, мощно прозвучал в переполненном помещении клуба. А когда окончилась песня и в зале раздался гром аплодисментов, Аслан мысленно упрекнул себя: «Какой же я... не смог убедить родителей!..».

Успех женского хора в этот праздничный вечер положил конец и колебаниям старого Гюльмамед-ага. Когда в антракте к нему подошел Селим-ага и, лукаво улыбаясь, произнес: — «Слушай, Гюльмамед-халу, как поет твоя невестка!..», старик разозлился и ответил: — Подлец!.. Помни, что из-за паршивой блохи я не буду сжигать шубу!

МОЛОДОЖЕНЫ

Тетя Айшат, хочешь я спою тебе новую песенку? — крикнул, вбегая в комнату, соседский мальчик.

— Спой, Камиль, спой, а я послушаю, — обрадовалась Айшат.

Она была дома одна, скучала. Маленький четырехлетний Камиль спел, как мог, запомнившуюся ему песню

из индийского кинофильма «Господин 420». Айшат впервые слышала эту новую мелодию и ей она очень понравилась.

— Где ты слышал эту хорошую песенку? — удивилась Айшат. Она взяла ребенка на руки, поднесла к буфету и насыпала ему на ладоши горсть конфет.

— Мы с папой и мамой вчера в кино ходили, — сказал Камиль. — Там пел один высокий дяденька в широкой шляпе и рваных ботинках. У него была еще большая-большая палка, знаешь, как у чабана. Ты видела, тетя Айшат, чабана с палкой, — такой длинной-длинной?..

— Да, конечно, Камиль, — Айшат засмеялась, а потом ей стало грустно.

Опустив ребенка на пол, она подошла к окну и задумчиво посмотрела на улицу.

На дворе стояла зима. Хлопья снега лениво падали на землю. Айшат озябла.

Весть о присылке в районный центр нового фильма взволновала молодую женщину, вызвала в ее памяти недавнее прошлое. Минуло восемь месяцев с тех пор, как Айшат вышла замуж за Салмана Халилова, оставила родной аул, любимое занятие на колхозной пасеке. И за все это время она ни разу не была с мужем в кино, хотя районный Дом культуры находился совсем недалеко от их жилья. А кино Айшат любила, и до замужества не пропускала ни одной кинокартины. Не где-нибудь, а именно в колхозном клубе перед началом киносеанса впервые встретила она с Салманом.

Это было года полтора назад, в один из летних дней, когда высокие горы покрываются зеленым ковром. Секретарь районной газеты Салман Халилов приехал для организации материала в отдаленный колхоз. В этот день здесь находилась кинопередвижка. И так как работники кинофикации не часто баловали жителей горного аула своими приездами, колхозный клуб был переполнен. Пришла сюда и Айшат. Пасека, где она работала, находилась далеко от селения, и ей пришлось бежать всю дорогу, чтобы успеть побывать дома, переодеться и не опоздать в

кино. Она запыхалась, и лицо ее стало как розовое платье, ладно прилежавшее к ее статной фигуре.

— Видишь девушку в розовом платье? — указал председатель артели, обращаясь к Салману. — О ней я и просил тебя написать. Заслуживает. Сходишь на пасеку — сам убедишься.

«Какая красавица!», — чуть не вырвалось у Салмана.

После просмотра картины председатель колхоза пригласил Айшат в правление и в присутствии секретарей партийной и комсомольской организаций она рассказала корреспонденту районной газеты об опыте своей работы на пасеке. Вскоре в газете появился очерк о девушке-пчеловодке, после чего Салман Халилов зачастил в отдаленный горный аул. Салман был молод, обходителен и Айшат приняла его предложение. Только председатель колхоза был огорчен, что потерял лучшего специалиста по пчеловодству.

Выйдя замуж за Салмана и переехав в районный центр, Айшат не предполагала, что ей придется реже смотреть кинокартины. Наоборот, она радовалась, думая, что теперь для этого у нее будет больше возможностей. Но первые же месяцы совместной жизни принесли ей огорчение. В майские дни, когда все жители райцентра и ближайших аулов вышли на демонстрацию, Айшат нарядилась в свое свадебное платье, одела новые лакированные туфли.

— Ты куда это? — спросил Салман.

— Как куда? — удивилась Айшат, — с тобой на демонстрацию.

— Я пойду с организацией...

— Ну и что же, разве вам запрещают брать с собой жен?

Салман нежно обнял ее, поцеловал в порозовевшую щеку и умоляюще произнес:

— Прощу тебя, не надо. Погуляй с соседкой.

Айшат промолчала, но неприятный осадок остался у нее на душе. «Что это он, — подумала Айшат, — стесняется со мной выходить на улицу?» Она подошла к зеркалу,

посмотрела на себя и, не найдя ничего дурного, успокоилась. Однако не вышла на улицу, переделась в домашнее платье и стала готовить праздничный обед. «Ну ладно, пусть вернется, поговорю с ним», — решила Айшат. Но разговор не состоялся. Салман, как всегда, войдя в комнату, нежно поцеловал жену, похвалил ее за обед, рассказал о новостях, и она не решилась портить ему настроение.

Прошло несколько дней, и снова было задето самолюбие молодой женщины. В Доме культуры шла новая картина.

— Салман, я давно не была в кино, — сказала Айшат, — может быть сходим?

— Не могу, — ответил Салман, — я буду вечером работать в редакции. Как-нибудь потом...

Но проходили дни, недели, Салман не приглашал жену в кино. В то же время его часто можно было видеть в Доме культуры с товарищами и друзьями. Халилов не пропускал ни одной новой картины, ни одного выступления художественной самодеятельности. Об этом рассказали Айшат люди, встречавшие Салмана в Доме культуры.

«Ах, так!», — рассердилась Айшат и решила об этом больше не говорить с мужем. Она знала, что по старым обычаям в течение месяца после свадьбы молодая жена не может показываться на людях. Мало того, многие мужчины вообще в этом ауле не ходят с женами в клуб, не садятся с ними за один стол при гостях. Но Айшат никак не могла подумать, что этими пережитками заражен и ее муж Салман. «Может быть со временем изменится», — подумала Айшат. Она примирилась с создавшимся положением и, бывало, целыми днями сидела одна дома, а Салман не приходил даже на перерыв. Единственным утешением для молодой женщины были книги, да общение с соседкой — матерью Камиля.

И вот трогательная мелодия песни, услышанная из уст маленького Камиля, взволновала Айшат, и ей захотелось сходить в кино. «Да, придет Салман с работы, попрошу его...», — подумала Айшат, продолжая размышлять у окна.

На дворе смеркалось. Пришел Салман. Он нежно обнял жену, сказал несколько ласковых слов, но, заметив грустное выражение ее лица, спросил:

— Айшат, что с тобой, не обидел ли кто-нибудь? Она усмехнулась:

— Кто может обидеть птицу, заключенную в клетку?

— Я тебя не пойму, Айшат.

— Не поймешь, а еще поэт. Помнишь, как свои стихи читал мне?..

«Что с ней произошло? — подумал Салман, — чем она недовольна?»

— Что ты растерялся, Салман, садись, поужинай да пойдем в кино. Говорят, сегодня хорошая картина будет.

«Вот оно в чем дело, — догадался Салман, — сердится на меня». Потом, обратившись к жене, сказал:

— Айшат, нехорошо тебе сейчас показываться на людях, ведь ты в положении.

Молодая женщина вспыхнула.

— А я, дура, считала тебя культурным человеком. — Ей хотелось зарыдать, но она сдержала себя. — Тебе стыдно со мной ходить... Ты интеллигентный человек, а я простая колхозница. Зачем же тогда женился!..

— И чего ты сердишься, Айшат, — невозмутимо говорил Салман. — Я знаю, что до замужества ты часто ходила в кино. Но тогда ты была девушкой, а теперь женщина. Скоро будешь матерью. Пойми, Айшат, теперь ты — хозяйка дома.

— Как тебе не стыдно? А еще комсомолец...

Эти слова вывели Салмана из равновесия.

— Молчи, Айшат, у меня тоже нервы не железные! — крикнул он, и хлопнув дверью, вышел на улицу.

— Вот как! — произнесла Айшат.

По ее щекам потекли слезы. В эти минуты ей вспомнился родной аул. «Не уйти ли мне совсем отсюда?», — подумала Айшат, но потом с ужасом отогнала эту мысль. Ведь она скоро станет матерью... А любовь к Салману? Она чувствовала, что и он не может жить без нее. При всех своих недостатках Салман всегда был ласков с же-

ной, много помогал ей в хозяйстве и, что очень важно, не изменяет. В этом Айшат была убеждена.

«Нет, Салман, теперь я не буду птицей в клетке, и заставлю тебя считаться со мной», — наконец, после долгих размышлений, решила Айшат.

Салман, расстроенный ссорой с женой, долго бродил по улицам аула. Когда поздно ночью он возвращался домой, то увидел, что Айшат сидит за книгой, а на печке греется ужин. Жена, как всегда, накрыла на стол и пригласила мужа к ужину.

— Поешь, а то остынет, — сказала она, садясь против него.

Салман с недоумением взглянул на жену и не мог понять — куда девался ее гнев, что с ней произошло... Эта перемена его и успокаивала, и пугала. «Не задумала ли она что-нибудь?», — мелькнула мысль у Салмана. Он постарался не выдать своего волнения. О том, что произошло в этот вечер между молодоженами, больше никто из них друг другу не напоминал, однако Салмана не покидало чувство какой-то непонятной тревоги.

Через несколько дней Салмана пригласили в кино его друзья, Мансур и Манап. До начала сеанса оставалось несколько минут. В зале шумели, смеялись, спорили из-за мест. Вдруг за спиной Салмана раздался звонкий голосок соседского мальчика Камиля:

— Дядя Салман, садись с нами!

Салман оглянулся и своим глазам не поверил: Камиль сидел рядом с Айшат. Там же была соседка Муминат и ее муж Раджаб, агроном райсельхозуправления.

— Добрый вечер, Салман! — улыбнулся Раджаб.

Салман растерялся и не сразу смог ответить на приветствие. «Вот оно что, сюрприз, значит, готовила мне», — подумал про себя Салман. Он никогда еще так не обижался на жену, как теперь. Заметив его волнение, Мансур сказал:

— Что же ты, Салман, не сядешь с женой? Иди!

Салман уловил в голосе товарища нотки иронии. Он даже не слышал, что говорил Мансур. Посмотрев на него

неприязненно, Салман встал, поискал глазами, с кем бы поменяться местами.

— Дядя Салман, — сказал Камиль, — я освободил тебе место, иди сюда!

Раздался третий звонок, погас свет. Салман заторопился. Он даже обрадовался, что в темноте люди не заметят, как он переходит с места на место. Особенно он стеснялся Раджаба. «В самом деле, — рассуждал он, уже сидя рядом с женой, — почему Раджаб может брать с собой жену и сына, а я не могу?».

Салман плохо следил за картиной. В его памяти быстро неслись события минувших дней — отрывочные и неясные. Салман вспоминал, кого из знакомых встречал он в клубе с семьями. Много раз он видел здесь редактора газеты Османа Сардарова с женой и детьми, почти каждый раз брали с собой жен председатель райисполкома, главный врач районной больницы, учителя средней школы, председатель колхоза. Так почему же он, Салман, равнялся не на этих людей, а на своих дружков Мансура и Манапа, придерживавшихся старых взглядов? Теперь Салман боялся другого. Его знают все жители районного центра. Что скажут люди! Пойдут сплетни: «Салман пришел в кино с дружками, а жена — с соседями».

«Ну зачем она пришла, зачем!» — думал Салман и невольно отодвинулся от жены, а Айшат, не заметив его движения, положила свою теплую руку на его ладонь и слегка сжала его пальцы. Салман молчал и прерывисто дышал. Он хотел сказать жене что-то обидное, но слова застряли в горле. Когда окончился сеанс и загорелся свет, Салман встретился глазами с редактором газеты и секретарем райкома партии. Оба они были с семьями.

— Идем, Салман, домой вместе, — сказал редактор. И, взяв под руку жену Патимат, он направился к выходу. Патимат заговорила с Айшат, и так они вышли из клуба. Салман всю дорогу шутил и на оклики Мансура и Манапа не отвечал.

МАТЬ

Вы говорите, что не помните своих родителей?

– Не помню. И не знаю, что такое материнская ласка. Правда, в детском доме все няньки относились ко мне, как к родному сыну. Говорят, что родители мои были дагестанцы. И родился я в Махачкале. Мать умерла, когда мне было два года. Потом я попал в детский дом. В разгар войны, как мне потом рассказывали воспитатели, детский дом оказался в Средней Азии. Отец, как я полагаю, был на фронте. Не знаю, жив он или нет, но я его не помню...

– Да, я понимаю вас...

Этот разговор происходил между директором МТС Гафаровым и агротехником Алексеем, приехавшим после окончания учебы в один из южных районов Дагестана. Собеседники сидели на лесной полянке, неподалеку от станции Белиджи, а несколько поодаль, у проселочной дороги, связывающей станцию с аулами, эмтеэсовский шофер ремонтировал «ГАЗ-69».

Начинался знойный летний день. Стоявшую в этом большом лесу тишину нарушали время от времени проезжавшие по пыльной дороге машины и непрерывающийся стрекот кузнечиков.

– Хорошо в лесу, не правда ли? – спросил Алексей.

– Хорошо, – ответил Гафаров, – особенно я люблю подмосковные леса. Не бывали там?

– Нет, – ответил Алексей, и его взгляд задержался на старухе, идущей по дороге. Она еле двигалась и была вся в пыли.

– Посмотрите, – сказал Алексей, – будто из мельницы вышла.

– Надо захватить ее с собой, – Гафаров приподнялся и крикнул: – Мамаша, куда путь держите?

Старуха остановилась, выпрямила спину, подняла глаза и назвала свой аул.

– О-о, ведь это Мирвари-хола, – сказал Гафаров, узнав старуху. – Посидите с нами, отдохните, скоро поедем.

Женщина обрадовалась, поблагодарила попутчиков. Она стряхнула с широкого длинного платья серую пыль, присела на травку и развязала узелок с фруктами.

– Попробуйте яблок... Это мне на станции знакомые подарили.

«Нельзя обижать старуху», – сказал про себя Гафаров и откусил сочный «шафран».

– В гостях, значит, были в Белиджи? – спросил Гафаров, разглядывая невеселое лицо старухи.

– Нет, ездила в Махачкалу к сыну, да неудачно. Он у меня единственный, долго мы с ним не виделись. Думала – поеду, а может быть и останусь у него. Стара я уже и нездорова. Может быть, недолго осталось и жить, а умереть хочется на руках у сына. Да вот пришлось возвратиться...

– Почему же?

Мирвари взяла край темносинего гянджинского головного платка, осторожно протерла свои впавшие глаза и глубоко вздохнула.

– Нёспроста же у нас говорится: «лучше бы я была матерью твоей жены, чем твоей матерью».

– Да, понимаю вас, – произнес Гафаров.

Взволнованная Мирвари посмотрела на Гафарова, потом перевела взгляд на Алексея. Так знакомы были ей черты лица этого молодого человека. Разговор происходил на азербайджанском языке, и Алексей, знавший туркменский язык, понимал многое из того, что говорила старуха.

– Кажется ваш сын давно живет в Махачкале? – вновь спросил Гафаров.

Старуха утвердительно кивнула головой. Она не могла говорить. Слова застревали в горле.

Когда машина была готова и Мирвари, усевшись рядом с Алексеем, ехала по лесной дороге, она глубоко задумалась и вот уже который раз стала вспоминать свою прошлую невеселую жизнь. Потеряв мужа в гражданскую

войну, Мирвари овдовела еще молодой женщиной. Двое сыновей остались на ее попечении. Старшему — Рахману — было тогда восемь лет, а младшему — Юсуфу — два года. Тяжелое это было время: неурожай, голод... Хозяйство у молодой вдовы было убогое — ни лошади, ни коровы; даже козы не завелось. Бывало, целыми днями Мирвари оставляла малышей в ауле, а сама уходила в лес или в горы за ягодами, за съедобными травами. А то работала день-два у кого-либо в огороде или в саду.

Но скоро случилось так, что старший сын умер. Убитая горем Мирвари перенесла всю свою любовь на младшего сына. Если ей приходилось уходить из дому, то она привязывала ребенка к спине, боясь оставлять его без присмотра.

В молодости Мирвари была одной из самых красивых женщин в ауле. Не один жених находился для молоденькой вдовы, но она отвергала их. «Я молодая, — рассуждала она, — у меня будут еще дети. И, кто знает, как муж отнесется к неродному сыну. И тогда Юсуф может стать несчастным». Ради сына Мирвари отказалась от личного счастья, много работала, растила ребенка.

Легче стало вдове, когда организовался колхоз. К тому времени подросший Юсуф стал ходить в школу. После окончания семи классов он поступил на курсы бухгалтеров, получил специальность, работал сначала в колхозе, в Дербенте, а потом его перевели в Махачкалу.

Мирвари вспомнила, как всем колхозом справляли свадьбу сына и провожали молодоженов на новое место работы. Радости матери не было предела, когда она узнала о рождении внука. Неделью Мирвари гостила у сына, носила на руках новорожденного Ашира.

— Оставайся в Махачкале, живи с нами, мама, — просил Юсуф.

— Нет, сынок, не могу, привыкла в ауле. Дай бог вам счастья, живите себе на здоровье, а я уж поеду к себе в колхоз.

Несмотря на свои преклонные годы, Мирвари была энергичной, вырабатывала много трудодней, и частенько

сын получал от нее посылки с фруктами — летом свежими, а зимой сушеными. Хотя Мирвари редко видела сына, но была счастлива — ведь у нее теперь и сноха и внук.

Но вот вдруг Мирвари получила письмо с порванным краем. «Это признак несчастья — сказала женщина, — божь мой, что же могло случиться». Она попросила соседского мальчика прочесть письмо. «О, ужас! — крикнула Мирвари, царапая лицо ногтями. — Умерла сноха!».

Юсуф стал вдовцом. А Мирвари, приехав в город, нянчила маленького Ашира. Но ее, привыкшую к сельской жизни, тянуло домой.

— Рано или поздно тебе надо жениться, — сказала она сыну, а мне надо возвратиться домой.

— Я и сам об этом думал, но боюсь. Ты же сама когда-то рассказывала мне, как мачеха грумила над тобой. Не хочется сделать ребенка несчастным.

— Тогда я возьму ребенка в аул, — сказала Мирвари.

Юсуф не согласился.

— Ты уже немолодая, мама, с тебя достаточно и того, что вырастила меня...

Через некоторое время Юсуф женился.

— Милая Паху, — сказала Мирвари, прощаясь с невесткой, — будь доброй, жалей ребенка...

— Не беспокойся, мама, — успокаивала Паху.

Мирвари возвратилась в аул.

Это было незадолго до Отечественной войны. Когда началась война, Юсуф ушел на фронт. Паху в это время была в положении. «Что я теперь буду делать?» — говорила она, с жалостью глядя на маленького Ашира.

— Отдай его в детский дом, — советовали соседи. — Ведь тебе и так тяжело, скоро свой ребенок будет...

Паху долго думала, вспоминала мужа, просьбы свекрови, но в конце концов решила отдать ребенка в детский дом. Хотя она и жалела Ашира, но заменить ему мать так и не смогла.

Проходили дни за днями. Паху родила сына, а про Ашира забыла. Она была поражена, узнав, что детский дом, где находился Ашир, эвакуировался куда-то на вос-

ток. «Что я скажу теперь Юсуфу?! — ужаснулась Паху. Но родственники подсказали выход. Она написала мужу, что Ашир заболел тифом и умер. А Мирвари эту печальную весть узнала из письма сына.

Теперь, находясь в машине рядом с Алексеем, старая Марвари вспоминала все это и на ее глаза набегали слезы. Гафаров, часто поглядывая на своих попутчиков, заметил грустное лицо старухи и спросил:

— Вы говорите, что сын больше любит тещу, чем вас?...

Уклонившись от прямого ответа, старуха, как ни тяжело было ей, начала рассказывать о последней встрече с сыном.

— Принял он меня хорошо, дай бог ему здоровья и вам тоже, мои дорогие. Сердце мое наполнилось радостью, позабыла все свои горести, когда увидела трех внуков. А внуки — крошечки родные — прилипли ко мне. Но только один взгляд страшил меня — это недобрый взгляд снохи. Неприветливо встретила она меня, не разговаривала. «И чего она хмурится?» — подумала я и не могла разгадать причины. Пожила у сына день-два и какая-то неловкость появилась. Будто я в гостях нахожусь, стесняюсь. И еще я заметила одно — косо стали смотреть друг на друга Юсуф и Паху. «Видно, из-за меня», — решила я. Мое предчувствие оправдалось. Позавчера ночью, проснувшись, я услышала из соседней комнаты поразившие мое сердце слова.

— Сколько же можно меня упрекать! — плакала сноха.
— Это дело было давно, пора уже позабыть.

— Разве это можно забыть, — перебил ее Юсуф. — Ты нанесла мне тяжелую рану, бросила моего сына и написала, что он умер... Этого забыть нельзя.

— Но у тебя теперь еще трое сыновей.

— Нет, Паху, я вижу, у тебя не сердце, а камень лежит в груди.

— Ради бога, Юсуф, — умоляла сноха, — пусть об этом не знает мать. Тогда мне лучше умереть. Пожалей своих детей.

– Хорошо, тогда мать должна уехать отсюда.

Мирвари замолчала, задумалась. Потом, тяжело вздохнув, она продолжала свой рассказ:

– Я больше не хотела слышать, закрыла глаза одеялом и заплакала. А утром собрала свои вещи в узелок и собралась в путь.

– Да, «Я за тебя душу отдаю, а ты ногу мне представляешь» – вспомнил Гафаров народную пословицу.

– Правда, сынок. Такова уж моя судьба. Ладно хоть в колхозе ко мне хорошо относятся, дай бог здоровья нашему председателю Сулейманову. Совсем недавно он помог мне хорошо отремонтировать домик. Да некому теперь там жить.

Она снова взгрустнула. Гафарова осенила мысль:

– Мамаша, может быть, приютите у себя агронома, – он указал на Алексея. – Ведь ему где-то надо остановиться! А вам будет веселей.

– Пусть живет, если не побрезгует.

Когда вдали показался аул, Гафаров велел шоферу подъехать к дому старухи.

С этого дня молодой агроном стал жить у старой Мирвари, звал ее «мамой» и старуха быстро привыкла к юноше, полюбила его как родного, близкого человека. «Сынок, где ты так долго задержался?», «Сынок, какой ты бледный сегодня?», – часто говорила Алексею Мирвари.

Проходили дни, недели, месяцы. Алексей все больше привыкал к новой обстановке, приобретал себе друзей. Однажды, встретившись с ним, Гафаров спросил:

– Ну, доволен работой, хозяйкой?

– Очень, – улыбнулся Алексей, – помните, я вам говорил как-то о материнской ласке. Кажется, я теперь начинаю ее ощущать. Я нашел себе мать.

Вспоминал ли о своей матери Юсуф? Да, вспоминал часто и не раз упрекал жену, ссорился с ней. Вдруг из аула пришла телеграмма: «Мать при смерти, выезжайте...»

— Бедная мама! — расплакалась Паху. Юсуф не узнавал в эти минуты жену. Она плакала так, будто умирает человек, которого она любила больше всех на свете.

— Что же, Паху, поедem к матери.

...Стояла глубокая осень. Горы, возвышающиеся над аулом, окутал густой туман. Моросил мелкий дождь. Умиравшую Мирвари пришли навестить многие жители аула. Две комнаты и коридор не вмещали людей, оплакивающих бедную старуху. У изголовья Мирвари сидел расстроенный Алексей. «Мама, это я, Алеша, ты слышишь меня?» — говорил он.

— Дай мне твою руку, — слабым голосом произнесла Мирвари, — подойди ко мне поближе.

Алексей протянул руку и умирающая положила на них голову. Так и застали их вошедшие в комнату Юсуф и Паху.

— Мирвари-хола, — сказал председатель колхоза Сулейманов, — очнись, сын твой приехал, Юсуф, и сноха с ним...

— Где они? — Мирвари с трудом приподняла голову, открыла глаза.

— Мама, это я, — произнес Юсуф.

— Мама! — бросилась к старухе Паху.

— Отойдите от меня, — еле слышно сказала умирающая Мирвари. — Ваша ли я мать? Мои ли вы дети? Вот он мой сын, мой внук...

Юсуф и Паху встретились глазами с Алексеем. «Боже мой, — ужаснулась Паху, — как он похож на Ашира!...» Голова ее закружилась, в глазах стало темно и она упала в обморок.

...Хоронили старуху всем аулом. Погода с утра была теплая, солнечная, а когда народ возвращался с кладбища, подул сильный северный ветер, небо закрыли тучи, пошел дождь. Юсуф покинул кладбище позже всех. Шел, едва передвигая отяжелевшие ноги. Никого не замечал в эти минуты он — ни людей, ни проливного дождя, ни обогнавшую его подводку. «Мои ли вы дети?.. Вот мой сын, мой внук!..» вспомнил Юсуф последние слова матери. И

он мысленно встретился с карими, большими глазами Алексея, так поразительно напоминавшими ему глаза маленького Ашира.

ШЕКЕР

Над маленьким аулом, спрятавшимся в большом лист венном лесу, висел желтый месяц, напоминающий ломтик апельсина. Был один из теплых осенних вечеров.

— Какой хороший вечер, — сказал Азиз, взглянув на окруженную звездами луну, — неправда ли, Шекер?

Он улыбнулся своей возлюбленной и сорвал листик с орехового дерева.

— Да, хорошая осень нынче, — ответила Шекер, тоже улыбаясь своему любимому.

Они шли медленно по лесной тропе, держась за руки и радуясь своему счастью.

— Удачное время выбрали мы для свадьбы, правда? — спросил Азиз.

Шекер промолчала. Она в эту минуту думала о большом событии в ее жизни, которое произойдет завтра. Шекер была счастлива, что выходила за человека, которого любила от всей души. Она шла рядом с Азизом, радовалась и волновалась.

А на следующий день уже с утра над аулом раздавались звуки зурны и барабана. Мелодии народных песен сливались с звонкими голосами сельской молодежи. Люди пели, танцевали, шутили. Окруженная сельскими девушками, Шекер слушала их шутки, остроты, краснела и смеялась вместе с подругами.

Этот веселый день врезался в ее память на всю жизнь. И ей казалось, что теперь до конца жизни она будет счастлива. Именно с таким чувством пришла Шекер в дом своего мужа. Это чувство не покидало ее и в первые дни замужества. Азиз по-прежнему был с ней доб-

рым, часто смешил ее, а свекровь, еще не старая, плотная и сильная женщина, сама прибирала квартиру, доила корову, работала на огороде, стирала белье.

Единственное, что позволяла Ханум снохе, это готовить ужин. Шекер искусно стряпала голубцы, и Азиз очень любил их. Каждый вечер, возвращаясь с поля, где он работал на тракторе, Азиз заставлял на столе горячие голубцы, обернутые в виноградные листья.

— Ах, какие вкусные голубцы! — хвалил Азиз, — ты настоящий кулинар, Шекер.

И они вместе смеялись. Так продолжалось до тех пор, пока не кончился отпуск, представленный Шекер правлением колхоза. Однажды со свинофермы прибежал паренек и сказал:

— Тетя Шекер, на ферме начался опорос, дядя Залман зовет.

Шекер, не долго думая, собралась идти, а Ханум проводила ее недовольным взглядом. Вечером Шекер поспешила прийти домой раньше мужа, чтобы успеть приготовить ему любимую еду. Быстро переодевшись, она помыла руки и принялась рубить мясо.

— Не надо! — крикнула свекровь, — я сама...

— Почему? — удивилась Шекер.

Ханум ехидно засмеялась.

— А то сама не знаешь... Твои руки запачканы свиньями.

— Что вы, мама, я дважды вымыла руки, — тихо произнесла Шекер.

Свекровь усмехнулась.

— Харам водой не смоешь, я не позволю!.. — повысила голос Ханум.

Шекер побледнела. Ее серые глаза под черными ресницами повлажнели. Еле сдержав слезы, она вышла во двор. «Вот и кончилась моя радость, — подумала расстроенная Шекер».

На дворе уже было темно. Прислонившись к яблоне, что росла на приусадебном участке, Шекер вспомнила, как она по зову комсомола добровольно пошла в помощницы к

единственной в колхозе свинарке — русской девушке Марии Ломакиной и как набросилась на нее родная мать. Что только не говорила тогда старая Гюльпери: «Ты опозоришь нас! Мы не оберемся греха, никто тебя замуж не возьмет!», и много, много другого. Мать плакала, жаловалась на больное сердце и, наконец, убедившись в твердом намерении дочери, сказала:

— Иди, если желаешь, только живи себе там, со свиньями!

Но недолго гневалась Гюльпери на единственную дочь. Скоро, узнав, что дела на ферме идут хорошо и там уже работают три местные девушки, а Шекер заменила ушедшую Марию Ломакину, Гюльпери совсем успокоилась и сама стала навещать дочку. А со временем, увидев большую выгоду, которую дает колхозу свиноводство, старуха совсем забыла свою обиду и даже стала гордиться дочерью, фотокарточка которой красовалась на Доске почета.

Вспоминая начало своей работы на ферме, Шекер и не заметила, как прошел ее муж через двор в дом.

— Шекер, где Шекер, мама? — спросил Азиз, снимая с себя рабочую одежду.

— Лучше бы твоя мать умерла и ее глаза не увидели бы такую сноху в своем доме! — расплакалась Ханум.

Она отодвинула большую миску с рубленным мясом и стала вытирать слезы. Азиз с недоумением взглянул на мать.

— Что случилось, мама?

— Я не позволю ей топтать на моих глазах законы нашего адата, не позволю!..

Ханум расплакалась.

— Я не пойму тебя, мама. Скажи, наконец, толково, в чем дело?

Когда мать рассказала о вызове Шекер на ферму, о ее возвращении с работы и ее намерении готовить ужин, Азиз сказал:

— Я ничего в этом плохого не вижу.

Спокойный ответ сына снова вывел Ханум из равновесия.

— Вот как! — крикнула она. — И ты осмеливаешься говорить это матери, которая воспитала и поставила тебя на ноги? Да лучше бы я двадцать лет назад умерла вместе с твоим отцом!

Азизу стало очень жаль мать. Он вспомнил и рассказ о том, как двадцать лет назад бандиты в лесу убили его отца. Тогда ей было всего 21 год. Она имела возможность выйти замуж, устроить личную жизнь. Но молодая женщина отбросила всякую мысль о замужестве и решила посвятить себя воспитанию сына. Это самопожертвование Ханум усилило любовь Азиза к матери и он поклялся осклаивить ее старость.

— Мама, — тихо произнес Азиз, — ты знаешь, как я тебя люблю... Послушай меня... Что ты хочешь?

— Что может пожелать мать сыну? Только добра, — смягчилась Ханум. — Повлияй на Шекер. Ей нечего делать на ферме. Мы проживем и без ее трудностей.

— Но это невозможно, мама.

— А нарушать адаты возможно? — вспыхнула Ханум.

— Мама, дорогая, люди уже забыли о старых адатах, а ты все держишься за них.

Ханум не уступала. Она продолжала спорить, бранить сына.

— Ты не мужчина, если жена тебя не слушается! — крикнула она.

Эти слова услышала Шекер, войдя в комнату.

— Мама, молчи ты, наконец! — вышел из терпения Азиз.

Никогда не предполагал он, что ему придется из-за этого спорить с матерью. «Ведь она знала, что Шекер свинарка, — думал он, уже лежа в постели, — так почему же до свадьбы она ничего не говорила?»...

Не спалось в эту ночь Азизу. Не могла сомкнуть глаз и Шекер. Оба они молча думали. Азиз не мог обидеть жену. Он ее очень любил. Но и мать ему была дорога. Что же делать?..

«Если плюну вверх, задену усы свои, если плюну вниз, задену бороду свою», — вспомнил он народную поговорку.

— О чем ты думал всю ночь? — спросила Шекер, когда они оба рано утром вышли из дома.

Азиз виновато посмотрел на жену и сказал:

— Шекер, ты наверно слышала вчера наш разговор с мамой?

Шекер не ответила.

— Не хочется все же обижать маму, ты пойми меня, Шекер. Может быть ты все-таки оставишь работу. Ведь мы не нуждаемся в твоих трудоднях.

— Если все дело в моих трудоднях, я могу и не работать. Но...

Азиз перебил ее.

— Не надо, я знаю, что ты хочешь сказать...

Шекер понимала, что дальнейший спор может вылиться в семейный скандал. И это ее сдержало. «Что скажут люди? — подумала она. — Не успели пожениться и уже разлад в семье». В то же время она думала о том, какое впечатление произведет на товарищей ее отказ от работы на ферме.

— Я подумаю, Азиз, — ответила Шекер, — заставляя себя улыбнуться.

Они уже были на лесной поляне, недалеко от фермы. Азиз обрадовался, огляделся вокруг, нежно обнял жену и поцеловал в лоб.

— Иди, отработай последний день. Все будет хорошо.

Вечером Азиз возвратился с поля раньше обычного.

Шекер еще не было дома. И сын поспешил обрадовать мать.

— У тебя золотая сноха, мама, — оказал Азиз. — Ради тебя она оставляет свою любимую работу.

Эта весть вернула матери прежнее спокойствие. Она легко вздохнула, затопила печь, достала из погреба мясо, сорвала в саду виноградные листья.

— Пусть она приготовит твое любимое блюдо, — сказала Ханум.

Шли дни. Азиз по утрам рано выезжал в поле, поздно возвращался. Шекер целыми днями сидела дома, читала книги, газеты, слушала радио. Время от времени она работала на приусадебном участке. Но тоска по работе на ферме не покидала ее. Она часто вспоминала своих подруг Динар и Розу, маленького пастуха Давуда. «Хотя бы они приходили ко мне», — подумала однажды Шекер. И вот они пришли. Это было в один из ненастных дней, когда во всей округе шли проливные дожди. Азиз был вызван в МТС, а Ханум гостила у своей сестры в соседнем ауле. Шекер была очень рада увидеть своих подруг. Зато подруги были невеселы.

— Что-нибудь случилось? — спросила Шекер, — почему вы такие скучные?

— Нехорошую весть мы тебе принесли, Шекер, — сказала Роза. — В газете про тебя написали, на комсомольском собрании говорили.

Шекер вспомнила недавний разговор с секретарем комсомольской организации Максудом. «Опомнись, Шекер, — говорил ей Максуд. — Ты первая из наших девушек, кто наперекор отживающим адатам отозвалась на зов комсомола, взялась за хорошее, благородное дело. Твоему примеру последовали десятки горянок. Не бросай работу».

— Да, плохо я поступила, — сказала Шекер, — смалодушничала.

Подруги сочувственно посмотрели на повлажневшие глаза молодой женщины и думали о том, как помочь ей выйти из трудного положения.

...На юге Дагестана стояла теплая сухая зима.

На окружающих свиноферму пастбищах свиньи находили хороший подножный корм. Проводив стадо в поле, свинарки отдыхали на лесной поляне. В это время на опушке показалась Шекер. На ней был пуховый платок и плюшевое полупальто, которое она носила еще до замужества.

— Девушки, посмотрите, кто идет, — обрадовалась Роза.

Подруги побежали навстречу Шекер и тепло поздоровались с ней.

– Навестить решила нас? – спросили девушки.

– Нет, работать пришла.

С этого дня Шекер вернулась к своему любимому занятию, осталась на ферме. Девушки внесли в комнату койку, которая после свадьбы Шекер была разобрана и находилась во дворе.

Свободные от работы часы Шекер читала книги, брошюры по свиноводству и даже решила поступить в вечернюю среднюю школу. Но, несмотря на загруженность работой, учебой, ее не покидала мысль о муже, о неудачно сложившейся жизни. Очень часто перед взором молодой женщины вставала высокая фигура Азиза, его грубоватое загорелое лицо и широкие плечи, его пышная шевелюра и мускулистые руки. Временами в ушах Шекер звенели мелодии трогательных песен, которые любил петь одаренный хорошим слухом и голосом Азиз.

Неспокойно было на душе и у Азиза. Уход жены он воспринял как оскорбление его мужской чести. Вместе с тем Азиз рассердился и на мать. «Если бы не ее капризы, всего этого не было бы». Как-то он сказал матери:

– Да, да, мама, ты разбила мою жизнь. При всей моей любви к тебе, я вынужден это сказать.

– Вот как! – обиделась Ханум, – не нужна мне твоя любовь! Живи как тебе нравится, иди к своей свинарке.

Но Азиз направился не на свиноферму, а в МТС. В это время здесь шел ремонт тракторов и он, как опытный слесарь, взялся ремонтировать не только свою машину, но стал помогать товарищам. Азиз жил в общежитии при МТС, дружил с товарищем по койке Иваном Захаркиным. Днем Азиз был занят работой, вечерами от тяжелых мыслей его отвлекали товарищи, а ночами он продолжал думать о своей жизни, мысленно спорить с матерью, упрекать Шекер в неправильном поступке. Часто он подолгу не засыпал, ворочался с боку на бок. А однажды Захаркин заметил, как Азиз глубоко вздохнул и выругался.

— Азиз, мне кажется, что ты чем-то озабочен, — сказал Захаркин, — может быть, ты поделишься со мной, как с другом?

Азиз не выдержал и все рассказал Захаркину.

— Я тебе рекомендую сходить к жене, — посоветовал Иван.

Азиз отрицательно мотнул головой.

— Она меня обидела...

— Но правда на ее стороне, — заметил Захаркин.

— Я подумаю...

Вскоре кончился ремонт тракторов и Азизу пришлось вернуться домой. Зима была уже на исходе, начиналась пахота под яровой сев.

Азиз начал вспашку со стороны опушки леса, на участке, прилегавшем к району свинофермы. Работая, он часто оглядывался в тайной надежде увидеть кого-нибудь из работников фермы. В полдень на небольшой поляне Азиз заметил стадо свиней. С животными был старик Али-Осман.

— Ва, Али-Осман-халу! Это ты? Добрый день!

Старик оглянулся, увидел тракториста и шутливо произнес.

— О, блюститель адата!..

Шутка задела Азиза, но он не стал сердиться на старика. Его удивило другое — семидесятилетний старый горец и вдруг возится со свиньями.

— Дедушка, что ты делаешь?

— Разве не видишь, пасу свиней.

— Нет, правда? — переспросил Азиз.

— Ты что, сынок, — сказал старик, — не веришь своим глазам? Я уже второй месяц работаю на свиноферме.

— А как же насчет адатов? — спросил Азиз, — а аллах не накажет тебя? — пошутил он.

Али-Осман присел на траву.

— Сынок, я уже семьдесят лет слышу про законы адатов. И об аллахе я слышал побольше твоего. Но не он кормит нас с тобой и не адаты, а труд. Если ты не вспашешь своим трактором землю, хлеб будет расти?

– Нет, дедушка, не будет.

– То-то сынок, аллах аллахом, а работать надо. Ты смотришь на моих свиней. Ну что они, съедят меня? Пускай себе пасутся и плодятся. Больше дохода будет в нашем колхозе.

Азиз уже не слушал старика. Он твердо решил сегодня же сходить к Шекер и забрать ее домой.

...А вечер был такой же теплый, как тот осенний накануне свадьбы. И луна так же, как и тогда, висела над аулом, улыбаясь молодоженам. Только на этот раз она была большая, круглая, золотистая. А в лесу было тихо-тихо. Ни один листик не шевелился. Они шли по той же лесной тропе от фермы к аулу.

– Ты больше не сердись на меня, Шекер? – спросил Азиз, улыбаясь жене.

– Нет, не сержусь, – ответила она, – я знала, что ты придешь...

ВСТРЕЧА

Около шоссейной дороги Дербент–Хучни можно встретить много родников с прозрачной ледяной водой. Невдалеке от одного из них, в тени огромного орехового дерева, остановилась легковая машина.

– Вот здесь можно и отдохнуть, – сказал шофер. – Пусть немного остынет мотор. И мы, кстати, подышим свежим воздухом.

В машине ехали два пассажира. Один из них был местный специалист по коврам, Авшай Шаулов, а другой – Алибек Юсупов, тоже специалист, приехавший из Азербайджана знакомиться с опытом дагестанских ковровщиц.

– Нравится вам здесь? – опросил Шаулов, взглянув на Алибека.

– Нравится, – ответил Юсупов, оглядывая окружаю-

щие горы, широкую долину, по которой протекала горная река, напоминающая огромную змею.

— Видите, товарищ Юсупов, как хорошо в наших горах, — сказал шофер.

Юсупов улыбнулся.

— В ваших горах, говорите? А из какого аула вы сами?

— Родом-то я не отсюда, — смутился шофер. — Из Бабаюртовского района.

— А я из этих мест, — заметил Юсупов.

Шаулов и шофер с любопытством посмотрели на Юсупова.

— Как, как? — спросил Шаулов.

В это время Алибек, нагнувшись над родником, мыл руки. Потом, напившись холодной воды, он вскочил на большой камень и подозвал к себе Шаулова.

— Посмотрите вот на тот аул.

По ту сторону долины, у подножья гор, темнели каменные дома с плоскими крышами. Рядом зеленели фруктовые сады.

— Знаете этот аул? — спросил Юсупов.

— Да, знаю, — ответил Шаулов.

— Вот там я родился и вырос.

Он еще раз окинул взором родные горы, что-то вспомнил и глубоко вздохнул.

— Что же вы не говорили раньше, мы ведь едем в ваши родные места? — удивился Шаулов.

— А вы меня не спрашивали.

Он спустился с камня, и Шаулов увидел, как опечалилось лицо Юсупова.

— Поедем тогда через ваш аул, — предложил Шаулов, — а оттуда — в ковровую артель. Там уже недалеко.

— Нет, нет, поедем прямо, — возразил Юсупов, садясь в машину.

— Почему же, разве у вас там никого нет?

Юсупов задумался, тяжело вздохнул, потом, закулив, обернулся к Шаулову.

— Наш аул издавна славится своими коврами, — сказал он. — Вы об этом, конечно, знаете. Еще мальчиком я помню, как тонкие плотные ковры с красивыми орнаментами расходились по всем городам страны. Славилась и наши ковровщицы. С малолетства девочки учились у своих матерей прекрасному ремеслу.

Лет восемнадцать назад, перед Отечественной войной, я подружился с девушкой, считавшейся лучшей ковровщицей в ауле. Тогда мне было 22 года. Мы очень любили друг друга и мать моя благословила меня на брак с моей возлюбленной.

Юсупов снова вздохнул.

— Но ее родители оказались в плену старых предрассудков. Дело в том, что когда-то наши предки были кровниками, и отец моей возлюбленной запретил ей выходить за меня замуж. Что же нам оставалось делать? Долго мы думали, искали выход и, наконец, решили уйти в город, зарегистрироваться и жить. Так и сделали. Это было в канун войны.

Ее родители угрожали нам, проклинали дочь, обижали мою бедную покойную мать. Но мы с женой были счастливы, жили дружно. Однако это продолжалось недолго. Через полгода после нашей совместной жизни началась война, и я вскоре очутился на фронте.

Через год, когда мы воевали под Харьковом, я получил печальную весть. Во время родов умерла жена. К этому времени она возвратилась в аул, жила у своих родителей. А моя мать умерла еще раньше.

Юсупов прервал рассказ, зажег дрожащими руками потухшую папиросу и с жадностью втянул в себя дым.

— О несчастье, постигшем меня, написал в своем письме мой друг Ахмед-Салих. Вы должны его знать. Он хромотал на одну ногу с малых лет. Поэтому его и в армию не взяли. Не знаю, жив он сейчас или нет, я с ним потерял связь.

— Жив, жив, знаю Ахмед-Салиха. Он в ковровой артели работает, — сказал Шаулов. — Завхозом.

— Так вот, вы не представляете себе, каково было мое состояние в те страшные дни. Над родиной нависла опасность, сам я дважды ранен, после излечения в госпитале находился опять в бою, и тут из дому получил тяжелую весть. Как вы думаете, легко мне было? Я был в отчаянии. Ведь не стало матери, не стало любимой жены.

Что же меня теперь связывало с родным аулом? «Может быть, ребенок остался жив?» — мелькнула у меня мысль и я написал письмо другу. Ахмед-Салих утешил меня. Он сообщил, что ребенок жив.

Как мне хотелось взглянуть на этого ребенка... «Но кто знает, — думал я, — увижу ли вообще его». Ведь война была в разгаре и я не мог знать, останусь ли жив или нет. Тогда мне пришла мысль — попросить родителей жены, чтобы они сфотографировали ребенка и выслали снимок. И что же вы думаете? Я получил ответ, нанесший мне тяжелую рану. «Ребенка нет в живых, — писал тесть. — Вы погубили мою дочь, я вас ненавижу!». Я пытался узнать правду через Ахмед-Салиха и других моих товарищей. Но ответа не было, никто не отвечал на мои письма. После этого я оставил всякую мысль о возвращении в родной аул. Не к кому было теперь ехать. А когда кончилась война, я оказался в Азербайджане. Теперь у меня там семья, трое детей, обеспеченная жизнь, но память о первой жене крепко сидит в моем сердце.

— Да, — произнес Шаулов, — вот как бывает в жизни...

Машина продолжала петлять по склонам гор с богатой растительностью. Ореховые рощи, абрикосовые сады и виноградники — все это было знакомо Юсупову с юношеских лет.

— Так, вот, молодой человек, — обратился он к шоферу, — я согласен с вами, что хорошо в наших горах. Я о них помнил в самые тяжелые дни войны, защищая от врага города и села Украины, не забывая их и теперь.

Впереди показался аул.

— Вот мы и приехали, — сказал Шаулов. — Здесь наша ковровая артель.

– Да, этот аул тоже славился своими коврами.

– Он и теперь славится.

Их приветливо встретила женщина средних лет, в розовом платье и в белом шелковом платке.

– Председатель артели Асли Гамидова, – представил ее Шаулов. Потом, обращаясь к Гамидовой, добавил: – товарищ Юсупов. Приехал из Азербайджана знакомиться с работой наших ковровщиц.

– Добро пожаловать! – пригласила Гамидова.

Ковровая мастерская находилась в центре аула. Женщины разных возрастов, девушки в ярких широких платьях, по-кавказски подобрав под себя ноги, сидели у станков и быстро связывали узлы. Опытный глаз Юсупова задержался на большом ковре с многочисленными деталями.

– Этот ковер у нас называется «гебе», – сказала Гамидова, – делается по эскизу самой ковровщицы.

– Наверное опытная, старая мастерица? – спросил Юсупов.

– Нет, совсем еще молодая, – ответила Гамидова. – Пойдемте поближе, покажу вам ее.

Молодая ковровщица связывала последние узлы на большом красивом ковре.

– Гюльзар, покажи гостям свою работу, – обратилась к ковровщице Гамидова.

Услышав имя Гюльзар, Юсупов вздрогнул. Ведь его первую жену тоже звали Гюльзар.

Девушка встала, встретила гостей поклоном и застенчиво улыбнулась. Юсупов на время забыл о ковре. Его глаза впились в покрасневшее круглое лицо молодой ковровщицы, в ее карие глаза, и ему показалось, что перед ним стоит та самая Гюльзар, тоска о которой вот уже шестнадцать лет терзает его душу. Ему стало тяжело и он постарался отогнать прочь вкравшуюся в голову мысль.

– Где вы научились так искусно ткать ковры? – спросил Юсупов, – наверное мать учила вас.

– Нет, у меня нет матери, – с горечью ответила Гюльзар.

— Она окончила ковровую школу, — пояснила Гамидова, — у нее нет родителей, выросла в детском доме.

Юсупов осматривал ковер, но мысли его вновь и вновь возвращались к молодой ковровщице, чье имя и глаза не давали покоя его сердцу. Стараясь перебороть себя, он произнес:

— Смотрю на ковер и мне кажется, что передо мной накрыт большой стол, уставленный различными яствами, фруктами и цветами.

Услышав лестный отзыв о своей работе, Гюльзар смутилась и опустила голову.

— Способная девушка, — похвалила Гамидова, — она имеет уже много своих эскизов.

— Пусть покажет Гюльзар свой оригинальный ковер, — сказал Шаулов. — Ведь она соткала для себя интересный ковер.

Гамидова нежно обняла девушку и спросила.

— Ну, как, Гюльзар, покажешь свой ковер?

— Можно, если желаете.

После обеда и продолжительной беседы в правлении артели гости направились к Гюльзар. Молодая ковровщица жила в доме председателя сельсовета и занимала небольшую уютную комнату. К приходу гостей она согрела чай, поставила на стол вазу с фруктами, приготовила вишневое варенье, ореховую халву.

— Ты как гостеприимная хозяйка встречаешь нас, — улыбнулась Гамидова.

А Юсупов, переступая порог, прежде всего обратил свой взор на ковер, висевший над кроватью. «Что это, сон или явь?» — подумал он. На ковре Юсупов увидел себя рядом с покойной женой. Он вспомнил небольшую фотокарточку, подаренную покойной Гюльзар восемнадцать лет назад. За это время Юсупов сильно изменился, и посторонний человек не мог бы узнать его. Он тяжело опустил-ся на стул.

— Что с вами? — испугалась Гамидова.

– Ничего, ничего, – тихо промолвил Юсупов, посмотрел на Гюльзар и спросил: – Скажите, милая, что это за люди, которые изображены на ковре?

– Мои родители – папа и мама, – ответила Гюльзар. – Правда, я их не видела. Мать умерла давно, а отец... не знаю...

Девушка дернула за цепочку, висевшую на ее шее, вытянула медальон, открыла его и показала маленькую фотокарточку.

– Этот медальон с фотокарточкой остался мне от матери.

Юсупов больше не мог сдержать слез. Они хлынули горячей струей, обжигая лицо.

– Бедная девочка, дочь моя, за что нас с тобой судьба обидела? – произнес он, протягивая руки к дочери.

Гюльзар, до сих пор стеснявшаяся смотреть ему в лицо, пристально взглянула в его глаза и со слезами радости кинулась к нему.

– Папа!

МАРЖАНАТ

Маржанат Омарова, молодая женщина с длинными черными косами, продолговатым лицом и пышными бровями, рассматривала в зеркале свою прическу. Ее пятилетний мальчик Закир сидел на подоконнике, прислушивался к шуму бурной реки, протекающей по глубокому ущелью, смотрел в даль.

За рекой, на пологих склонах гор, раскинулись картофельные поля. Увидев группу женщин, работающих на прополке, мальчик спрыгнул на пол.

– Мама, почему все тетеньки в поле, а ты дома? – спросил Закир.

Маржанат вздрогнула. Она отвернулась от зеркала, недовольно посмотрела на сына.

— Не твое дело, иди умывайся! — раздраженно крикнула она.

Мальчик взглянул на мать удивленными глазами и выскочил из комнаты. Маржанат, поправляя прическу, подумала: «Еще этого не хватало, ребенок упрекает!».

Закончив туалет, Маржанат подошла к аккуратно заправленной кровати, над которой висел портрет мужа. «Абакар, Абакар, — проговорила она, рассматривая портрет, — долго ли придется мне страдать. И все из-за тебя, из любви к тебе. Говорила: не соглашайся ехать председателем колхоза, нам и в городе хорошо. Нет, не послушался. Я понимаю, почет, слава... Тебе-то хорошо, ты председатель, знай только указывать, да требовать. А мне как быть? Взять в руки мотыгу и полоть картофель? Или вернуться к прошлому — пойти на ферму доить коров? Может быть, так и придется сделать?..»

Десять лет назад, работая дояркой в этом же ауле, Маржанат впервые встретила Абакара. Он был тогда в офицерской шинели, артиллерийской фуражке и новых хромовых сапогах. Демобилизованный из рядов Советской Армии, Омаров выделялся среди сверстников своим опрятным видом, и был вежлив в обращении с людьми, остроумен и превлакал внимание девушек. Когда после нескольких встреч Абакар сделал предложение Маржанат, она, смущаясь, ответила согласием.

Вскоре в ауле была сыграна свадьба, и молодожены уехали в город.

Нелегко было Маржанат расставаться с домом, в котором она родилась и прожила двадцать лет, с любимой матерью Хадижат, с партийной организацией, недавно принявшей Маржанат в свои ряды. «Не грусти, дочь моя, — успокаивала Хадижат, — не ты первая, не ты последняя покидаешь отчий дом. Не напрасно говорят в народе: «Дочь в доме родителей — гостья».

В городе Маржанат понемногу привыкла к новой обстановке. Вначале было трудно. Абакар, работавший инструктором горкома партии, рано уходил из дому и поздно возвращался. Молодая женщина то целыми днями стояла

у окна, то читала газеты и книги. Со временем Маржанат подружилась с соседками, стала общаться с ними и постепенно забывала про свой аул. Вскоре ей даже понравилась городская жизнь.

На партийном учете Маржанат состояла в одной из учрежденческих организаций и бывала там два раза в месяц – на очередном собрании и при уплате членских взносов. Так проходили дни, месяцы, годы. Маржанат, став матерью двух сыновей, целиком посвятила себя их воспитанию.

Теперь, через десять лет, когда Абакар Омаров вместе с женой и сыновьями возвратился в родной колхоз, многие земляки даже не узнавали Маржанат. Родственники и соседи, слушая ее рассказы о городе, не могли не заметить пренебрежения к аульной жизни.

– Как плохо здесь у вас, – говорила Маржанат, – я уже начинаю скучать...

Заметил перемену в Маржанат и Абакар. Но, поглощенный работой, он все забывал поговорить с ней. Колхоз был отстающий, но перспективный. Он располагал большими земельными угодьями.

Через селение протекала многоводная река, способная оросить большие площади садов и огородов. За колхозом были закреплены обширные массивы летних и зимних пастбищ, где можно разместить много тысяч овец. Только рабочих рук не хватало. Вернее, они были, но неправильно использовались. Еще плохо было с трудовой дисциплиной. Занятый работой, Абакар редко видел жену и еще реже с ней разговаривал. По утрам едва рассветало, Омаров уходил из дому. А возвращался он поздно.

Но в тот день, когда маленький Закир сделал матери замечание, Омаров пришел домой против ожидания Маржанат необычно рано.

– А я и не успела еще обед приготовить, – сказала Маржанат, виновато посмотрев на бронзовое от загара лицо Абакара, его смолистые глаза.

– Ничего, Маржанат, это не беда, – спокойно ответил Омаров, – беда в другом, сегодня мне снова досталось

от Ибрагима. Говорит: «Несколько раз просил Маржанат прийти на семинар агитаторов, она не идет. А еще жена председателя колхоза».

Маржанат вскипела.

— Что это он все упрекает меня, — «жена председателя!». Причем тут председатель. Я не могу, ты понимаешь, Абакар, не могу! Никогда не была агитатором и вдруг...

— Маржанат, — перебил ее Абакар, — газеты ты читать умеешь?

— Ну так что же?

— Возьмешь газеты, сходишь в бригаду и прочитаешь людям. Ведь это не тяжело...

Маржанат глубоко вздохнула, и, заметив у двери детей, крикнула:

— Идите в ту комнату!

Потом она посмотрела на уставшее лицо мужа, и ей стало жалко этого человека — сильного, энергичного, неутомимого. Маржанат решила на следующий день сходить к секретарю партийной организации.

Когда она пришла в партбюро, Ибрагим встретил ее ласково.

— Ну вот и хорошо, — обрадовался он. — Ряды нашего актива растут.

Маржанат покосила глазами.

— Это я ради Абакара пришла, — сказала она.

— Зря вы так, Маржанат, — заметил Ибрагим, — о партийном долге своем не следовало бы забывать.

Маржанат промолчала.

— Что, не нравится? — спросил секретарь партийной организации.

— Я устала, — уклонилась от ответа Маржанат, — скажите, где мне провести читку.

— Еще не начала работать, а уже устала. Да-а, я другого мнения был о вас, Маржанат...

Сильней всего на Маржанат действовали эти замечания Ибрагима.

Она больше не стала спорить с секретарем парторганизации, а попросила лишь проинструктировать ее. Получив газеты, она поспешила домой.

В бригаду для проведения читки Маржанат пришла на следующий день. Время было обеденное, и колхозники расположились на отдых в тени грушевых деревьев, на берегу реки. Маржанат была одета по-летнему. На ней было платье из набивного шелкового маркизета, на голове красно-синяя косынка, а обута она была в красные босоножки-танкетки.

Не все колхозники сразу узнали, кто к ним пришел.

— Да разве вы не видите, — сказала Хадижат, — это же моя Маржанат.

— Маржанат! — с удивлением повторили женщины.

— Милая, ты не на свадьбу пришла, а в поле, картофель полоть, — заметила мать, когда Маржанат подошла близко и поздоровалась, — пожалей платье, ведь за него Абакар деньги платил.

«Что я, разве пришла полоть?», — подумала Маржанат. А слова матери больно задела ее. «Мама...» — хотела она что-то сказать, но, заметив насмешливый взгляд девушек и услышав их приглушенный смех, воздержалась. Она поняла, что девушки смеются над ней. Тяжело стало на душе. «Нет, ничего у меня не получится», — подумала Маржанат, и больше не сказав ни слова, повернулась и поспешила домой.

— Дочь моя, куда ты? — крикнула вдогонку мать.

— Платье менять, — пошутил кто-то.

Маржанат на секунду остановилась, но, подумав, пошла еще скорей. Слезы подступали к горлу, она ругала Абакара и Ибрагима. «Какой из меня агитатор, я стала посмешищем».

Придя домой, она уткнулась в подушку и зарыдала, как ребенок. Перед ее взором встали лица тех, с кем она сегодня встретилась в поле. Ей казалось, что все они смотрят на нее с презрением. Вновь и вновь набегали слезы. Наконец, немного успокоившись, Маржанат незаметно заснула.

Ее разбудили дети, возвратившиеся из детского сада. «Что со мной?» — подумала Маржанат, вставая с постели и увидав на себе помятое платье. — Нет, больше так не будет. Вы еще узнаете меня!».

Вспомнив, что скоро Абакар придет домой, она быстро переоделась, привела себя в порядок и взялась за приготовление ужина. Но раньше Абакара пришла старая Хадижат. Это было уже поздно вечером, когда над аулом спустились сумерки. Медленно поднимаясь по каменной лестнице, Хадижат говорила: «Лучше бы я сквозь землю провалилась!» Услышав голос матери, Маржанат вышла ей навстречу, поддержала за руку, и привела в комнату.

— Смотри мне в лицо и скажи, что все это значит? — спросила Хадижат, садясь на пол, застланный пестрым ковром.

— Ничего, мама, не спрашивай, больше этого не будет, — ответила Маржанат.

— А наша мама плакала, — сказал вдруг маленький Закир.

Маржанат бросила на детей строгий взгляд и они скрылись за дверью. Старуха долго не успокаивалась.

— Ты знаешь, дочь моя, еще не было в нашем ауле случая, чтобы кто-нибудь указывал пальцем на меня, на брата твоего, Абдурахмана, на нашу невестку Патимат, или на кого другого из нашей семьи, — сказала Хадижат. — И вдруг на старости лет я сделалась посмешищем. Да лучше бы сквозь землю провалиться!

— Мама, успокойся...

В это время во дворе послышались мужские голоса. Громко разговаривая, по лестнице поднимались Абакар и Ибрагим.

— Это ты хорошо придумал, Абакар, ввести ежемесячное авансирование, — говорил Ибрагим. — Как не говори, брат, материальная обеспеченность решает дело.

Они вошли в комнату, поздоровались.

— Ну, как прошла читка? — спросил Ибрагим, взглянув на Маржанат.

— Никак, — ответила она и помрачнела.

Мужчины переглянулись. А Хадижат рассказала им, что произошло сегодня в бригаде. Тем временем Маржанат стала накрывать на стол. Абакар и Ибрагим сидели молча. Наконец Абакар не выдержал:

— Позор!

— Она белоручка у тебя, Абакар, — заметил Ибрагим. — Пусть пойдет на ферму, да покажет, как умеет жена председателя доить коров.

— Что ж, и пойду, и покажу, — решительно сказала Маржанат.

Абакар и Ибрагим встретились глазами.

— Но, а как же дом, дети? — спросил Абакар.

Маржанат посмотрела на мужа, на Ибрагима и, улыбаясь, проговорила:

— Как у всех колхозников, так и у нас.

ЗАИРА

Пленум районного комитета комсомола закончился вечером. На дворе смеркалось. Вдали, над ущельем гор, вставала луна.

— Вот и хорошо, — легко вздохнула Заира Закриева, — сейчас прямо через гору побегу в аул.

— Ты разве не останешься смотреть картину? — спросила Патимат Халикова, секретарь райкома комсомола.

Закриева улыбнулась своими большими карими глазами.

— Нет, Патимат, я уж пойду...

Халикова заметила, как загорелся румянец на круглых щеках Заиры, и, мягко тронув ее за плечо, сказала:

— Да, да, тебе надо спешить в аул.

Девушки громко засмеялись.

...В эти дни в жизни Заиры происходило большое событие. После четырех лет учебы в педагогическом институте вернулся ее друг, молодой учитель Латип Омаров.

Повидавшись с матерью, он поспешил в сельскую библиотеку, где работала Заира. Здесь молодого учителя ласково встретила Зухра Омарова.

— С приездом, Латип. Вам что, новинку художественной литературы? — спросила она, улыбаясь.

— Нет, Зухра, спасибо, за новинкой я приду потом, мне нужна Заира. Ведь она работает здесь, не правда ли?

— Она работала здесь.

— Работала! — удивился Латип. — Разве случилось с ней что-нибудь?

— Нет, ничего особенного, она жива, здорова, работает, только не здесь, а дояркой на ферме...

— Дояркой! — еще больше удивился Латип и, не дождавшись ответа, побежал домой.

Дома он стеснялся поговорить с матерью о любимой девушке. Но мать заметила на лице сына растерянность и, желая успокоить его, она рассказала, что весной, когда колхоз брал обязательство получить в текущем году в среднем от каждой коровы не менее тысячи литров молока, Заира, работавшая заведующей сельской библиотекой и являвшаяся членом райкома комсомола, выступила перед молодежью с призывом перекрыть взятое обязательство. В это время одна из молодых доярок бросила реплику. «Говорить легко, попробуй сама надонить!...»

Тогда Заира заявила, что постарается «лицом в грязь не ударить». На следующий день она обратилась к руководству колхоза с просьбой послать ее дояркой на ферму. Сдав библиотеку, Заира перешла на ферму. На лето ферма перебралась в район альпийских лугов и теперь Заира вместе с пастухами и доярками круглосуточно находится в горах.

Выслушав рассказ матери, Латип решил уговорить Заиру бросить работу на ферме. В этот день, направляясь на пленум райкома комсомола, Заира заехала в аул и узнала о приезде Латипа. Ей захотелось, хотя бы на миг, взглянуть на него. Латип, не знавший о прибытии Заиры, задержался у директора школы, а она, боясь опоздать на пленум райкома, поспешила в районный центр.

Латип, услышав о том, что Заира была в ауле, заволновался. Он решил поехать в райцентр, чтобы после пленума проводить любимую девушку домой. В те минуты, когда Латип подъезжал на попутной машине к райцентру, Заира, попрощавшись с Халиковой, шагала уже по большой площади, окруженной административными зданиями и магазинами, освещенной электрическим светом. Внимание Закриевой привлекла красиво оформленная витрина раймага. В этот момент недалеко от девушки раздался голос:

— Заира!

Она вздрогнула, обернулась.

— Латип! — обрадовалась Заира, — как ты оказался здесь?

— Разве я мог спокойно ждать, пока ты вернешься, — сказал Латип. — Ведь я так долго ждал этого дня. — А ты разве не ждала?

— Что ты, Латип, о чем говоришь...

После непродолжительного молчания он предложил:

— Пойдем в аул? Мне так хочется поговорить с тобой...

— Может быть, посмотрим кино? — сказала Заира.

Латип хотел возразить, но Заира предупредила его, взяла за руку и повела в сторону районного Дома культуры. У входа их встретила Халикова, она поздравила Латипа с окончанием института и сказала, что надеется увидеть его в райкоме.

— Непременно, — пообещал Латип, улыбаясь.

Вскоре после окончания сеанса они шли по шоссейной дороге, раскинувшейся вдоль садов. Шли молча. «Что это с ним? Молчит, словно воды в рот набрал», — подумала Заира. Будто уловив мысли девушки, Латип заговорил:

— Заира, хороший вечер сегодня!

— Очень! — ответила улыбаясь девушка и посмотрела на Латипа, — скажи, Латип, почему ты такой скучный?

— Этому есть причина, Заира...

— Да? — удивилась девушка. — Говори, Латип, не случилось ли чего?

Латип остановился и взял ее за руки.

– Заира, четыре года мы ждали друг друга, чтобы соединить наши сердца навек...

– Что же этому мешает, Латип? – спросила Заира, не понимая смысла, сказанного Омаровым.

Латип махнул рукой и зашагал дальше. Он боялся высказать мучившие его мысли, боялся, что Заира, а вслед за ней и другие, осмеют его, как отсталого человека. «И в самом деле, – подумал Латип, – люди скажут: образованный человек, учитель, а отстает от жизни, считает зазорным работу на ферме». В то же время он возмущался: «Как это так, жена учителя и вдруг доярка на ферме, куда это годится!».

– Ну, что, Латип, так всю дорогу будем молчать?

– Нет, Заира, я уже не буду молчать. Послушай меня: оставь ферму, вернись в аул, мы же условились осенью сыграть свадьбу...

Заира засмеялась.

– Какой ты, Латип, смешной. Разве моя работа на ферме мешает нашей свадьбе? К осени ферма спустится с гор...

– Э-э! – замотал головой Латип, – ты не понимаешь меня. Я предлагаю тебе уйти с фермы. Там и без тебя хватит людей.

Девушка взглянула на Латипа с удивлением, пытаясь при свете луны рассмотреть его лицо.

– Ох, как ты отстал от жизни! – сказала Заира.

– Да, да, я знал, что ты так скажешь.

Оставшийся до аула путь Латип и Заира прошли молча. У самого дома Заиры Латип хотел что-то сказать, но гордая девушка быстро открыла ворота, вошла во двор и захлопнула за собой дверь. С мучительной болью на сердце, еле передвигая отяжелевшие ноги, направился Латип домой. А Заира в эту ночь совсем не спала. Она до рассвета лежала с открытыми глазами, перебирала в памяти минуты счастливых встреч с Латипом, дни проводов его в институт и томительных ожиданий летних и зимних каникул, вспоминала теплые, душевные слова любимого. «Все мои надежды рухнули, – подумала Заира, вставая с

постели после бессонной ночи, — а я ждала своего «ученого», души не чаяла в нем».

Заира быстро одела рабочее платье, умылась и подошла к зеркалу. Куда девался румянец, украшавший ее девичье лицо! В ужас пришла мать, застав Заиру у зеркала.

— Ты больна, дочь моя? — спросила она.

— Нет, мама, я вполне здорова, собираюсь поехать на ферму, — ответила Заира и выбежала из комнаты, чтобы мать не заметила слез, набежавших на ее глаза.

В этот же день Заира, придя на ферму, с прежней настойчивостью принялась за работу. Девушка старалась быть веселой. Читала много газет и книг дояркам и пастухам. И все же мысли о Латипе ее не покидали. Заира мысленно видела его смутное лицо и умные глаза, перед ее взором то и дело появлялся этот коренастый молодой учитель.

Заира старалась скрыть от окружающих свой разлад с Латипом. Она не делилась ни с матерью, ни с подругами, ни с Халиковой, которая в течение лета несколько раз посещала ферму. Однако, как говорит народная поговорка, и стены имеют уши. До Халиковой дошли слухи об отношении Латипа и Заиры, но, не желая портить и без того плохое настроение подруги, Халикова не затрагивала этого вопроса во время их встреч. В то же время она твердо решила встретиться с Латипом и не обижая его помочь ему разобраться в ошибках.

Для этого Халикова ждала удобного случая. В один из осенних дней, когда животноводы уже возвратились с летних пастбищ и по району прошла молва об успехах молодежной бригады животноводов, возглавляемой Заирой Закриевой, в районном центре Патимат Халикова встретила Латипа.

— Ты, наверно, сердись на меня? — сказал Латип после приветственных слов.

— Есть за что сердиться, Латип, ты этого заслуживаешь, — с улыбкой произнесла Халикова.

Латип растерялся, покраснел. Но Патимат тут же добавила:

— Как же не сердиться на тебя, за все время только один раз был в райкоме. Знаю, ты скажешь: работа, школа, занятия. Но ведь бываешь в районе и частенько...

Омаров, предполагавший, что Халикова заговорит о его отношениях с Заирой, несколько повеселел.

— Признаюсь, Патимат, виноват.

Пригласив Омарова в кабинет, Халикова усадила его и заговорила о делах.

— Латип, ты давно выступал на комсомольском собрании с докладом? — спросила Халикова.

Омаров, виновато посмотрев на секретаря, сказал — После учебы еще не выступал.

— То-то, — заметила Халикова. — А колхозная комсомольская организация ждет помощи от сельской интеллигенции.

Она предложила Омарову подготовиться и выступить с докладом о патриотизме советской молодежи. Латип после некоторого раздумья согласился. Прощаясь с Омаровым, Халикова попросила после собрания позвонить, доложить о своих впечатлениях.

Омаров вышел из райкома вспотевший. Его мучило другое. Он все время ожидал от Халиковой упреков за разрыв с Заирой. А разве он хотел этого разрыва? Все эти месяцы, пока Заира была в горах, Латип не находил себе места. Ему стыдно было показаться товарищам, временами казалось, что он теряет разум. Иногда Омаров решался пойти в горы, на летние пастбища, найти там Заиру, попросить прощения, но не хватало решительности. Возвращение Заиры с гор несколько успокоило Латипа. У него появилась надежда встретить в ауле любимую, взглянуть на нее, излить ей свою душу. Часто он вечерами после занятий в школе выходил на дорогу, ведущую из фермы в аул, в надежде увидеть Заиру. Но она не приходила.

Задание, полученное от секретаря райкома, радовало Омарова. «На собрании я ее увижу, непременно», думал Латип. Мысль о том, что вместе со всеми комсомольцами его будет слушать Заира, окрыляла молодого человека.

На собрание Латип пришел за пятнадцать минут до начала.

Сидя в зале клуба, он с волнением просматривал конспект своего выступления и временами, приподнимая голову, смотрел, не идет ли Заира. Она пришла вместе с подругами и устроилась в одном из последних рядов. Латип краем глаз посмотрел на любимую и ему показалось, что она намного похорошела. «Не подойти ли к ней», — подумал Латип, но уже было поздно. Секретарь комсомольской организации открыл собрание, и вскоре Омаров оказался на трибуне.

Заира слушала доклад с затаенным дыханием. Вдохновенно рассказывал Латип о патриотических делах комсомольцев и советской молодежи в Великой Отечественной войне, в дни мирной жизни, вспоминал имена передовых людей предприятий и колхозов, новаторов колхозного производства. Заира не смотрела на докладчика. Волнение Латипа словно передавалось и ей, и она слышала стук своего сердца. Называя имена передовых людей, Латип хотел сказать и о Заире. Но передумал.

Собрание продолжалось долго. Выступали многие юноши и девушки. Латип был несколько смущен, когда комсомольцы стали упрекать его за слабую связь доклада с жизнью местного колхоза.

«Почему докладчик ничего не сказал о Заире Закриевой? — возмущался один из выступающих комсомольцев, — разве ее поступок не является патриотическим?».

Омарова кольнуло в сердце. Ему показалось, что этот комсомолец упрекает его не только в недооценке поступка Закриевой, но и стыдит за то, что он обидел эту хорошую девушку. «Пока не поздно, надо исправить свою ошибку», — решил Латип. По окончании собрания он намерен был поговорить с Заирой. Но это ему не удалось. Как только председатель объявил собрание закрытым, Заира со слезами выбежала из клуба и побежала домой.

На следующий день после уроков в школе Омаров направился в райком комсомола. Халикова встретила его с

улыбкой и стала расспрашивать о собрании, о выступлениях молодежи.

— Я надеюсь, что ты остался доволен собранием, — сказала Халикова, — это собрание окажет свое воспитательное влияние на молодежь...

Она испытующе взглянула на Латипа.

— Да, — согласился Омаров и, изменившись в лице, добавил: — Это собрание было большим уроком и для меня. Прости за откровенность, Патимат, но я должен тебе сказать: вот уже много ночей я не сплю... Заира обиделась на меня. Она права. Я был неправ. Но может же человек ошибиться...

— Разумеется, — ответила Халикова.

— Но я вижу, что Заира избегает меня...

Халикова перебила его.

— Успокойся, Латип. Она любит тебя!

Латип встал, и Халикова заметила как дрожащими от волнения руками он мнет фуражку.

— Спасибо, Патимат, если будет еще какое поручение, позвони...

НАКАНУНЕ ВЕСНЫ

В кабинете раздался звонок. Абуталиб Мурадов, пожилой, коренастый горец с чуть седеющими усами и бритой головой, отложил в сторону лист бумаги, взял телефонную трубку.

— Да, Мурадов слушает. Кто? А-а-а, товарищ Широных, доброе утро! Что, посылаете нам агронома! О-о-о, наконец-то! — смуглое лицо председателя зарумянилось, глаза заблестели от радости. — Ай спасибо, товарищ Широных, баркалла! Что, послать машину? Яхши, будет послана, сейчас же... квартира! Подберем самую лучшую... яхши, благодарю, будьте здоровы!

Мурадов повесил трубку, оглядел комнату, встал и подошел к окну. На дворе, после многодневных проливных дождей, стоял ясный день. Только кое-где по лазурному небу плыли барашковые облака. Председатель колхоза распахнул окно, и, увидев на улице игравшего мальчика, крикнул:

– Сынок, сбегай в гараж, позови шофера. Айда, скорей!

Он закрыл окно и, потирая руки, стал прохаживаться по кабинету. В это время из соседней комнаты раздался голос бухгалтеря.

– Все-таки дождался агронома, товарищ Мурадов.

– Салман, зайди-ка сюда!

Салман Исаев, высокий светловолосый юноша в гимнастерке защитного цвета и солдатских сапогах, вошел в кабинет и по-военному вытянулся перед Мурадовым.

– Надо подумать о квартире, – сказал Абуталиб.

– Квартира найдется, товарищ Мурадов, нужно знать состав семьи агронома.

– Состав семьи, – усмехнулся Мурадов. – У каждого мужчины должна быть семья. Предположим жена, сын, дочь...

В комнату вошел шофер.

– Здравствуйте, товарищ Мурадов, – сказал он.

– Здравствуй. Поезжай немедленно в МТС, – приказал Мурадов, – привези агронома. Только смотри, без задержки... А я пойду, подыщу ему квартиру.

Он надел каракулевую папаху, застегнул ватную фуфайку и вышел на улицу. У выхода Мурадов встретился со своим заместителем.

– Радуйся, Шихали! – воскликнул он. – К нам едет агроном.

– Да?

– Да, да. Уже машину послал за ним. Надо устроить хороший прием. Я иду искать ему квартиру, а ты позаботься о вкусном обеде. Яхши?

– Яхши, – согласился Шихалиев.

Мурадов обошел все большие дома в ауле, поговорил с хозяевами, расхвалил незнакомого ему еще агронома и нашел просторную квартиру в двухэтажном каменном доме. Придя в контору, он застал там своего заместителя.

— Все в порядке, — доложил Шихалиев. — Обед будет на твой вкус — хинкал с бараниной.

— Яхши, — проговорил Абуталиб, — а сейчас, Шихали, давай подумаем, как нам готовиться к севу, — и посмотрел в сторону соседней комнаты. — Салман, неси сюда свои бумаги.

Бухгалтер разложил перед Мурадовым исписанные листы бумаги.

— Так, сколько же у нас не вывезено на поля навоза?

— Семьсот тонн...

— Ай-ай-ай, как мы отстаем...

Мурадов отодвинул свой стул, закурил.

— Плохо работаем, плохо! — возмущался Мурадов.

— Потому и урожай низкие, шесть-восемь центнеров, — заметил Шихалиев. — А что делается с молоком? Двести-триста литров. Позорные цифры.

Салман молчал. Мурадов посмотрел на его невозмутимое лицо и сказал:

— Почему молчишь, Салман? Скажи, что-нибудь.

— Что я могу сказать?.. Мое дело считать...

— Да, да, — пробасил Абуталиб, — твое дело только считать, а моя бедная голова должна трещать. Однако так больше продолжаться не может. Надо всем взяться за дело, засучив рукава.

Он снова придвинулся к столу и стал рассматривать бумаги. На дворе раздался шум мотора.

— Приехали, — сказал Салман.

— Приехали! — обрадовался Мурадов, — идем встречать!

Все вышли на улицу. Здесь уже стояла машина, окруженная сельской детворой. Мурадов поискал глазами агронома и помрачнел, увидев молодую блондинку в демисезонном пальто.

На вид ей было больше девятнадцати лет. Девушка любезно разговаривала с подошедшей к машине секретарем комсомольской организации Бике Фатаховой. Мурадов и Шихалиев недоуменно переглянулись, а потом оба вопросительно посмотрели на шофера, державшего в обеих руках чемоданы.

— Агроном? — спросил Мурадов, кивнув в сторону блондинки.

— Да, я агроном, — ответила девушка, улыбаясь. — Вера Абрикосова.

Мурадов изменился в лице, и Вера не могла не заметить этого.

— Будем знакомы, — выдал из себя Абуталиб, пожимая руку Абрикосовой, — председатель колхоза Мурадов. Он, — указал на Шихалиева, — мой заместитель и секретарь партийной организации, а тот молодой человек, — бухгалтер, Салман Исаев.

— Очень приятно! — отозвалась Абрикосова.

«...Да, тебе, конечно, приятно, — тихо вздыхая, подумал Мурадов, — а мне, как видно, горе будет с тобой. Вай-вай-вай, как я обманулся — ожидал агронома, а получил иждивенца!»

— Абуталиб-халу, — обратилась Фатахова к Мурадову, — у нас квартира большая, я возьму ее к себе.

Председатель вопросительно посмотрел на Шихалиева, потом на агронома.

— Как, товарищ Абрикосова?

— Я согласна, — ответила Вера и шофер, следуя за девушками, потащил чемоданы к дому Фатаховых.

Опустив голову, Мурадов направился в свой кабинет. Следом за ним шли Шихали и Салман.

— Я, старый дурак, обрадовался, благодарил Ширинова, а он что? Шутку над нами сыграл! — возмущался Мурадов.

— Мы еще не знаем ее, Абуталиб, — пытался возразить Салман.

— И знать не хочу! — кричал Мурадов. — Ребенок и только!

— Народная пословица гласит, что ум не в возрасте человека, а в голове находится — возразил Шихали.

Однако Мурадов продолжал злиться.

— С кем я буду поднимать хозяйство? — говорил он, — бухгалтер молодой, агроном молодой, бригадиры девочки. Скоро надо сеять. Сорвем график. Опять же меня будут ругать.

Он отвернулся в сторону, — промолчал, потом спросил:

— Где же твой обед, Шихали, забыл?

— Я жду тебя, Абуталиб.

Но колхозный бригадир Бике Фатахова успела уже накормить агронома. Устроив ее в просторной, застланной яркими коврами гостиной отцовского дома, Фатахова угостила Веру долмой и напоила горячим молоком. После обеда Бике предложила ознакомиться с аулом.

Аул Ярах-кент был расположен в небольшой котловине, окруженной с трех сторон невысокими горами и ореховыми деревьями. Идя рядом с Фатаховой по кривым улицам аула, Абрикосова любовалась двухэтажными домами из бутового камня, чумазыми мальчишками, расспрашивала о жизни и быте людей. Внимание агронома привлекли мужчины в длинных шубах и больших папах. Они сидели у ворот и о чем-то оживленно разговаривали.

— Видимо, у вас подготовка к посевной кампании завершена, — сказала Вера, — обратившись к Фатаховой.

— Откуда это видно? — удивилась Бике.

Абрикосова указала на отдыхающих мужчин. Фатахова засмеялась.

— Нет, Вера, с подготовкой к севу у нас плохо. Вот поглядите на ту гору!

На краю аула, около молочно-товарной фермы, были навалены горы навоза.

— Почему не вывозите на поля? — спросила Абрикосова, — ведь вы же бригадир, Бике!

Фатахова оглядела окружающие аул горы, и заметив набегающие густые облака, сказала:

— Боюсь, как бы опять не испортилась погода. Две недели шли проливные дожди. А до этого на полях лежал снег.

— И что же, дождя побоялись?

Фатахова покраснела.

— Нет, нет, вы не думайте, что я оправдываюсь, — потом добавила: — Плохо у нас с дисциплиной.

Абрикосова взяла Фатахову под руку.

— Пойдемте, я устала.

Обратно они шли молча. Абрикосова глубоко задумалась. Она начинала догадываться, почему ее так холодно встретил председатель. В колхозе неполадки: трудовая дисциплина хромает, подготовка к севу задерживается, а тут еще прибыл молодой, неопытный агроном. «Что ж, видимо, по-своему он прав», — подумала Абрикосова.

Плохо спала Вера этой ночью. Ворочаясь с боку на бок, девушка думала о том, как приступить к делу, заслужить доверие. «А что, если поговорить с комсомольцами, поднять молодежь и начать с вывозки удобрений. И еще попросить в МТС тракторы. Ведь директор обещал помочь...»

Утром, прежде чем пойти в правление колхоза, Вера поделилась своими мыслями с Фатаховой. Выслушав Абрикосову, Бике сказала:

— Мне вчера стыдно было перед вами, Вера. Сегодня же посоветуюсь с Шихалиевым и соберу молодежь.

Абрикосова посмотрела на заискрившиеся радостью глаза Бике и крепко обняла ее.

...Зима была неустойчивой. Ветер то уносил черные тучи и над горами вставало солнце, то пригонял с севера дождь и снег. Не только по полям, но и по дорогам еле передвигались машины и подводы. Но медлить было нельзя. Колхозу предстояло вывезти на поля тысячу тонн навоза. Из МТС пришли два трактора. Вот уже несколько дней шум моторов сливался с голосами юношей и девушек, работавших в поле. Среди них была и Вера Абрикосова. Она заменила свои городские туфли на керзовые сапоги, а поверх пальто надела плащ-накидку. Мурадов обрадовал-

ся, увидев ее на работе. Потом, вспомнив, как Абрикосова и Фатахова собирали в клубе комсомольцев и молодежь, и как Вера настоятельно просила по телефону Широнова послать трактора, Мурадов сказал: «Эта девушка начинает мне нравиться. Правда, что ум находится не в возрасте человека, а в голове. Пускай поработает. Поживем – увидим».

ЖАЛОБА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

По проселочной дороге, ведущей из аула Яникент к автомобильному шоссе, шел старый горец. Он часто останавливался, поглядывал по сторонам. Справа от дороги, на пологом склоне горы, зеленели озимые хлеба, а слева возвышались горы, покрытые кустарником.

Аул находился в ущелье. Старiku все время приходилось идти в гору. Но вот, наконец, преодолев самый трудный подъем, он присел на камень немного отдохнуть. Через несколько минут он снова продолжил свой путь. Теперь горец шел быстрее, чтобы поскорее выбраться на шоссеиную дорогу, где могла встретиться попутная машина.

Вскоре он увидел приближающийся автобус. Когда машина поравнялась с ним, шофер распахнул дверцу и приветливо сказал:

– Не желаете ли поехать с нами, папаша?

Едва старик оказался в автобусе, как услышал знакомый голос:

– Добро пожаловать, дядя Рамазан!

Старик поднял голову и увидел своего дальнего родственника из соседнего аула.

– Откуда едешь, Ахмед? – спросил Рамазан.

– Из города, дядя Рамазан, а ты куда путь держишь, не к нам ли?

Старик уселся и, прежде чем ответить на вопрос Ахмеда, окинул взором едущих в машине людей. Ему бросилась в глаза незнакомая женщина в темно-синем пальто с серым каракулевым воротником. В руке она держала желтую сумку, похожую на чемодан.

— Давно я не был в районе, Ахмед. К моему стыду новых руководителей еще не знаю, — ответил старик. — Но у меня дело важное есть, хочется с партийным секретарем поговорить. Спор у нас вышел с председателем колхоза... Жаловаться хочу.

Женщина услышала слова старика и насторожилась.

— Не обидел ли тебя председатель, дядя Рамазан? — спросил Ахмед.

— Дело не в обиде, Ахмед, у нас деловые споры. Хотим получать побольше молока. А вот какими путями — тут мы и разошлись в мнениях.

Женщина внимательно посмотрела на старика.

— Видать, дядя Рамазан, ты на старости лет за науку взялся?

Рамазан повременил, потом сказал:

— Видишь ли, недавно у нас состоялось отчетно-выборное собрание. Избрали председателем Айшат Ибрагимову. Ты ее должен знать. Была она дояркой. Работала на ферме хорошо. А вот на председательском посту она мне начинает не нравиться. Собрала нас на днях и говорит: «До сегодняшнего дня мы работали плохо, а теперь надо работать лучше. Если в прошлом году каждая корова дала по 300 литров молока, то в нынешнем году надо получить по 1000». Хорошее предложение, я сам об этом давно думал, очень неважно у нас с надоями. Но надо же договориться, как все делать. А Айшат свое заладила: «Нужно кормить скотину хорошо, организовать ручную выдойку, ухаживать за коровами». Это мы и без нее знаем: чтобы получить много молока, надо обильно кормить скотину. Не случайно говорится в народе: «Что положишь в кастрюлю, то и вычерпаешь ложкой». Все дело в том, чем кормить, где брать корма. На моей лысой голове они не растут.

— А что предлагает она? — спросил Ахмед.

— В пять раз расширить посевы кукурузы собирать по два урожая в год. Легко сказать! Вот ее назначить бы на мое место бригадиром, мы бы тогда посмотрели.

— А почем ты думаешь, что она не права, дядя Рамазан?

— Ахмед, где ты вырос? Кукуруза — хороший корм, но у нас мало рабочей силы. Не осилим. Она не понимает этого!..

Старик не закончил. Машина остановилась.

— Мне уже пора, дядя Рамазан, — сказал Ахмед, прощаясь. — А тебе я советую еще раз хорошо подумать, прежде чем идти в райком.

Весь остаток пути до районного центра Рамазан думал о том, как явится в райком партии, как найдет секретаря и выложит ему свою жалобу на Айшат. Однако совет Ахмеда — хорошо подумать, прежде чем пойти в райком — крепко засел в голове старика. «А может быть, действительно не стоит идти? — думал он, — может быть Айшат права?»...

Рамазан настолько углубился в свои мысли, что и не заметил, как доехал до районного центра.

Автобус остановился.

— Приехали, отец! — крикнул кондуктор.

Рамазан оказался на центральной улице большого селения.

Его глаза остановились на красивой вывеске чайной. «А не мешает сначала чайку попить», — подумал старик. Через минуту он сидел за большим столом и макал кусок сахара в блюдце с горячим чаем.

Здесь, в чайной, старик встретил знакомых горцев, побеседовал с ними и, наконец, направился в райком.

Райком партии помещался в новом двухэтажном здании. Хотя идти было недалеко, но старик после чая порядочно вспотел, а тут еще весеннее солнце заметно пригревало. Рамазану пришлось несколько раз снимать папаху и вытирать потный лоб.

Наконец, старик очутился у кабинета секретаря райкома партии, постучал в дверь.

— Войдите! — послышался из кабинета женский голос.

Как только открылась дверь, Рамазан удивленно застыл на месте. Прямо перед ним, рядом с большим столом, накрытым красным сукном, стояла высокая, стройная женщина. Ее приветливые карие глаза добродушно улыбались. У окна стоял пожилой горец, придерживая в руке новую каракулеву папаху.

— Заходите, отец, прошу вас, — пригласила женщина.

«Это она — женщина в темносинем...» — мелькнуло в голове Рамазана. Он хотел закрыть дверь, но уже было поздно. Женщина вышла из-за стола, взяла старика за руку и вежливо попросила сесть.

— Мы не позволим гостям возвращаться с полпути, — с улыбкой произнесла она. — Вы извините нас, дядя Рамазан, — продолжала женщина, — я побеседую с председателем колхоза, а потом поговорим с вами. Не возражаете?

— Нет, нет, — ответил старик и подумал: «Какова, а? Мое имя знает. Откуда?»

Потом Рамазан вспомнил, что в автобусе Ахмед называл его по имени. «Хорошая память у женщины», — отметил старик и стал прислушиваться к происходившему в кабинете разговору.

— Так вы говорите, что наша горская корова может дать больше пяти литров молока в день? — произнес председатель колхоза.

— Да, Магомед, это практикой доказано. Когда я была девчонкой, моя покойная мать имела корову той же горской породы, что и ваши колхозные. Мама, помню, надаивала по полведра в день... Немало колхозниц, которые и теперь получают столько же молока от своих коров.

«Правда, клянусь правда, — про себя подумал Рамазан, — разве моя старуха Аминат не столько же надаивала? Вот умница женщина, все знает... Ну, ну послушаю еще».

А председатель колхоза, подумав немного, произнес.

— Мы, Патимат Гаджиевна, от своих коров получим не меньше, а, может быть, больше, чем вы думаете.

— Расскажите, как вы этого хотите добиться.

«Да, да, как?» — подумал Рамазан, — послушаем, джигит, как ты ответишь на вопрос этой умной женщины».

— Патимат Гаджиевна, вы видели: на сельхозвыставке в Москве коров, которые дают по три-четыре тысячи литров молока в год?»

— Ну, как же!

— И я видел. Доярки рассказывали о своем опыте. Главное — хорошее кормление животных и уход. Вот мы и думаем применить опыт передовиков. Для этого нужны, конечно, корма, которых, кстати, у нас пока очень мало. Но будут. Выход есть. Мы увеличим посевы кукурузы. Только вот одно затруднение: с обработкой кукурузы будет тяжело, рабочей силы не хватает...

А Рамазан подумал про себя: «Вот ты и дошел до главного, джигит».

Но ответ секретаря райкома несказанно удивил старого горца.

— Кукуруза, конечно, трудоемкая культура, — сказала Патимат Гаджиевна, — но это нам теперь не страшно. На днях к нам прибыл тракторный отряд МТС, который будет обслуживать наши колхозы.

Она посмотрела в сторону Рамазана и продолжала:

— Мы сумеем теперь организовать квадратно-гнездовой сев кукурузы и механизированную обработку посевов. Это дело потребует немного рабочей силы.

— Вах, это очень хорошо! — обрадовался председатель.

«Да, теперь мне нечего сказать», — подумал старик, — век живи, век учись... И чего же я тащился сюда?».

Председатель колхоза встал, надел свою папаху, поблагодарил секретаря райкома.

— Приезжайте к нам, Патимат Гаджиевна, — сказал он, — рады будем.

— Приеду непременно.

Уходя из кабинета секретаря райкома, он вежливо попрощался с Рамазаном.

– Ну, а теперь, дядя Рамазан, поговорим с вами, – обратилась секретарь райкома к старику.

У того даже руки задрожали. О чем и как будет говорить он с этой женщиной?

– Я слушаю вас, дядя Рамазан, расскажите, что привело вас в райком?

Повременив минутку, старик промолвил:

– Меня к вам привело, дочь моя, одно сомнение. Я хотел жаловаться на нашего председателя, но моя жалоба уже запоздала. МТС разрешила наш спор...

Он встал и по-отечески ласково посмотрел на Пати-мат Гаджиевну.

– Если так, то не смею задерживать вас, дядя Рамазан, наш шофер подвезет вас до аула. Передайте от меня привет Айшат.

И они, как отец с дочерью, тепло попрощались.

УМАХАНУМ

В комнату вошла круглолицая девушка невысокого роста в большом шерстяном платке на голове. Не успела она снять с себя ватную куртку, надетую поверх широкого бордового платья в складках, как мать протянула ей синий конвертик с треугольным штампом. «От Абдул-Керима» – сказала девушка, прочитав адрес. Дрожащими от волнения руками она раскрыла конверт и стала поспешно читать письмо.

Гюльсара, наблюдавшая за дочерью, заметила, как радостно засияли глаза Умаханум.

– Раздевайся, Умаханум, в комнате тепло, – ласково предложила мать.

Но Умаханум, поглощенная своими мыслями, не слышала ее. Она подошла к окну и задумчиво посмотрела в сторону высокой лесистой горы, возвышавшейся над аулом. На дворе было ветрено. Девушка видела, как сильно

качаются электрические провода, высоко поднимается песчаная пыль и садится на плоские крыши домов. И вдруг представилась ей другая картина: широкая, бескрайняя степь. По степи ползут большие гусеничные трактора, от лемехов плугов отваливаются жирные глыбы земли. Девушке представилось, что за рулем одного из тракторов сидит друг ее детства Абдул-Керим, в солдатской шинели и фуражке танкиста. Потом Умаханум вспомнила его таким, каким он выглядел три года назад, перед тем, как покинуть родной аул. Высокий, широкоплечий, в новом коричневом костюме в синюю полоску, он смотрел на Умаханум влюбленными глазами и говорил: «Я верю тебе, Ума, и надеюсь, что будешь ждать...».

Умаханум не обманула надежды Абдул-Керима. Она ждала. В своих письмах Абдул-Кериму она теплыми словами выражала свои чувства и мысли, рассказывала о трудовых успехах и учебе. Ведь Умаханум славилась в колхозе как передовой бригадир-овощевод. Это она первой в районе применила квадратно-гнездовой посев овощных культур. Вечерами девушка посещала среднюю школу, читала много книг. Она завела себе приличную библиотеку. «Приедет Абдул-Керим, будет ему что почитать», — думала Умаханум.

Теперь, прочитав письмо Абдул-Керима, узнав о том, что он увольняется из рядов Советской Армии в запас и сразу же направляется на целинные земли, девушка задумалась. «Как же быть, он зовет меня с собой на целину. Я готова поехать. А родители? Смогу ли я убедить мать?»

Гюльсара заметила, что Умаханум как-то изменилась.

— Что же пишет Абдул-Керим, почему молчишь, дочка? — спросила Гюльсара и, видя, что девушка не решается ответить, подошла к ней и пытливо заглянула в глаза.

— Что с тобой, Ума, не скрывай от матери.

— Он зовет меня к себе, — чуть слышно дрожащими губами произнесла девушка.

— Куда? Ведь он сам скоро приедет.

Тогда Умаханум развернула письмо и полупшепотом прочла:

«...Я не забыл, дорогая Ханум, что ты ждешь меня. Помню и свои обещания. Все эти годы, хотя ты и находилась за тысячи километров от меня, мыслями я всегда был с тобой. После увольнения в запас собирался приехать в родной аул, к тебе, исполнить свое обещание. Но, дорогая, обстоятельства изменились. Все мои товарищи решили поехать на целину в Казахстан, одним коллективом. Посуди, родная, имею ли я право отставать от товарищей? Если бы ты оказалась на моем месте, разве не так же поступила бы? Мне думается, что ты, как и многие тысячи советских девушек, наберешься мужества и приедешь на целину. Тут уж мы с тобой заживем...»

— Боже сохрани, боже сохрани! — воскликнула Гюльсара.

— Мама, не говори так!

Умаханум опустила на скамейку и обеими руками стиснула письмо в руке, как будто кто-то хотел отнять у нее драгоценные листки. «Я так и знала, разве она согласится!» — с горестью подумала девушка.

— Где это сказано, чтобы девушка, родившаяся среди гор, сама поехала к жениху? — продолжала возмущаться Гюльсара. — Боже упаси, опозоримся на весь аул. Какими глазами я буду смотреть на односельчан!

— Умоляю тебя, мама, перестань! — Умаханум встала и медленно прошла к двери своей комнаты, ей хотелось остаться одной, побыть со своими мыслями.

Но мать не унималась. Ее охватило волнение.

— Я понимаю, дочь моя, ты уже взрослая. В наше время такие, как ты, имели по трое детей. Пора бы и тебе стать матерью...

Она не закончила своей мысли, — во дворе раздался голоса. Открылась дверь и в комнату, стуча большими сапогами, вошел Абакар. Раскрасневшееся на ветру его лицо было радостно. Старик провел ладонью по серебряным усам и громко пробасил:

— Хороша у меня дочь!

Мать и дочь с удивлением посмотрели на Абакара. «Может быть, ему что-нибудь известно? Неужели отец

будет против! Ведь он же коммунист...» — встревоженно подумала Умаханум.

— Что вы молчите? — спросил Абакар.

«Да, так оно и есть. Он знает. Сейчас будет ругаться. Надо взять себя в руки и спокойно ответить». Девушка подняла голову и в глазах ее загорелись решительные искорки.

— Бог с тобой, что случилось, Абакар? — спросила жена.

Муж вынул из кармана газету и торжественно развернул ее.

— Погляди-ка, мать, чей этот портрет?

«Значит не то...» — Умаханум облегченно вздохнула.

А Гюльсара, всплеснув руками, воскликнула:

— Дочь моя, Умаханум!

— Да, гордись своей дочерью, — сказал Абакар. Отец снял сапоги, умылся, и сел около горячей печки.

В тишине комнаты четко слышался стук часов. Абакар оглядел комнату, словно видел ее в первый раз.

— Что же ты не радуешься, мать, готовь ужин, позови гостей...

— За ужином дело не станет, Абакар, — ответила Гюльсара. — Ты вот пока почитай это письмо, — она протянула ему помятый листок, а сама начала возиться у печки.

Абакар надел очки, подошел поближе к электрической лампочке и углубился в чтение.

«Да-а, — подумал отец, прочитав письмо Абдул-Керима, — вопрос сложный. Пожалуй, Абдул-Керим по-своему поступает правильно, но как можно нашу единственную дочь, гордость колхоза, радость родителей отпускать?».

Абакар закурил, потом несколько раз прошелся по комнате, что-то обдумывая, что-то решая. Он, конечно, понимал, какое значение имеет для родины успешное освоение новых земель. Абакар сознавал также, что решение этой большой задачи требует многих людей и горячо приветствовал молодежь, едушую на целину. Но вот когда

дело коснулось его родной дочери, в нем заговорило совсем другое чувство. Вспомнил, как растил и воспитывал Умаханум, как вместе с женой тяжело переживал каждый случай даже незначительного недомогания девочки, как за руку водил маленькую Умаханум в школу, учил читать и разучивал с нею песенки.

Теперь она выросла, стала бригадиром, гордостью отца. Абакару, как и всем отцам, хотелось видеть счастье дочери, повеселиться на ее свадьбе, нянчить внучат... «Как же теперь быть? Может быть, предложить ей порвать с Абдул-Керимом и написать ему, чтобы не тревожил мою дочь? Но правильно ли будет это? Ведь она взрослая, самостоятельная, любит его. Нет, это будет нечестно. Да к тому же Абдул-Керим зовет не куда-нибудь, а на целину. Дело большое, важное... Моя бедная Гюльсара, она измучается. Да и мне будет нелегко... Что делать?». Абакар встал и снова стал ходить по комнате. Гюльсара видела волнение мужа и не трогала его. Наконец, Абакар остановился, посмотрел на озабоченное лицо жены, собираясь что-то сказать, но не нашел слов. Он снова закурил, глубоко вдохнул в себя дым, успокоился и, стараясь скрыть от жены свои переживания, сказал:

– Так в чем же дело, мать, почему наша дочь расстраивается?

Гюльсара украдкой посмотрела в сторону соседней комнаты, куда после прихода отца ушла Умаханум, бесшумно подошла к мужу и прошептала:

– Бог с тобой, Абакар, как же не расстраиваться? Девушка взрослая, три года ждала, а теперь радуйся! – он взял и поехал куда-то, в неизвестные края.

– Края известные – Казахстан; – заметил Абакар.

– Какая же радость от этого нашей Уме. Она теперь будет страдать... Ведь любит же его...

– И он ее не переставал любить.

– Это любовь на расстоянии, Абакар, – возразила мать.

— Ты так думаешь? — Абакар опять прошелся несколько раз по комнате. — Тогда мы сделаем так, чтобы не было расстояния.

— Как? — спросила Гюльсара.

— А так: возьмет Умаханум да и поедет на целину. Ведь он же зовет ее... — ответил Абакар и почувствовал, как к его горлу подступил комок.

Умаханум все время стояла у двери и слушала разговор родителей. Когда отец произнес последнюю фразу, она не поверила своим ушам. Ей хотелось, чтобы он снова повторил сказанное. И, будто уловив мысли дочери, Абакар сказал:

— Да, да, она поедет туда. Вся молодежь едет на целинные земли! Где Ума, выходи сюда!

Умаханум появилась на пороге. Она была уже в новом наряде: вместо теплого шерстяного платка на голове была пестрая косынка, летнее шелковое платье красиво прилегало к ее стройной фигуре. Девушка не решалась поднять глаза. Сердце стучало все сильнее и ей казалось, что вот-вот оно вылетит.

— Что тебя заставляет горевать, дочь? — спросил Абакар.

Умаханум застенчиво улыбнулась.

— Ну вот что... мне все понятно. Только ты скажи, представляешь ли, с какими трудностями придется бороться, не осрамишь ли нашу честь?

— Папа... — она не могла продолжать.

— Понятно. Готовься, поедешь, — сказал Абакар и отвернулся, чтобы не видела его увлажнившихся глаз.

— Бог с тобой, Абакар, что ты делаешь! — повысила голос Гюльсара.

Абакар ушел в другую комнату. А Умаханум бросилась к матери, обняла ее, прижалась головой к ее груди и тихо произнесла:

— Мама, дорогая, неужели это правда, умоляю тебя, не сердись на папу!

По раздумывавшимся щекам девушки текли слезы радости. Она еще крепче прижалась к матери и стала успо-

каивать ее. И, хотя Гюльсаре хотелось громко закричать, но она сдержала себя, отстранила от себя дочь и отвернулась. Все молчали.

Неизвестно, сколько времени продолжалось бы это молчание, если б не послышался голос Абакара.

— Давайте ужинать!..

ХАДИЖАТ

Жаркий июльский день был на исходе. Знойное солнце, совершив свой дневной путь, уже пряталось за горами: На ферму возвращалось с пастбища стадо коров. В это время по берегу, вдоль реки Кура-су, с колхозной фермы бежала хрупкая девушка с газетой в руке. Это была сельская библиотечка Муминат Гаджиева.

— Хадижат, моя дорогая, где ты! — кричала Муминат, размахивая газетой.

На голос девушки из небольшого каменного строения фермы вышла Хадижат Курбаналиева — молодая, восемнадцатилетняя доярка. Она выглядела немного старше своих лет, но была стройной и очень красивой. Ее взгляд выражал озабоченность. Увидев подругу, Хадижат спросила:

— Муминат, дорогая, какую новость принесла? Ты бежишь, словно джейран, твои глаза сияют от радости!..

— Да, да, я радуюсь за тебя, — ответила Муминат, — радуюсь за тебя, Хадижат, и от души поздравляю! Вот, почитай.

Она протянула газету, в которой сообщалось о награждении передовых доярок. Хадижат быстро просмотрела фамилии награжденных. Потом подруги подошли к берегу реки, удобно усьелись на большой полукруглый камень, и стали читать.

— Видишь, на первом месте твое имя. Как я рада за тебя! — сыпала словами Муминат.

Она крепко обняла свою подругу. Тем временем Хадижат просматривала другие заметки, опубликованные в газете. И вдруг ей стало грустно, на ресницах появилась крупная слеза и скатилась на щеку. Она отвернулась, пытаясь скрыть от Муминат свое волнение. Но от Муминат ничего не скроешь. Она соскочила с камня и встала перед подругой.

— Посмотри на меня, дорогая, — сказала Муминат, — не скрывай ничего, говори, что случилось?..

Хадижат молча покачала головой и показала пальцем на одну из заметок. В ней говорилось о выпускном вечере, состоявшемся в десятом классе средней школы Уллу-аула, об отличниках, в числе которых значился друг детства Хадижат Курбаналиевой — Юсуф Абдурахманов.

— Я не пойму тебя, Хадижат, — сказала Муминат, — ты должна радоваться, а не плакать. Ведь ты дружишь с ним, не правда ли?

Хадижат уклонилась от ответа, но дрожащим голосом промолвила:

— Я боюсь, что теперь потеряю его...

Она опустила голову. Перед ее глазами промелькнули картины минувших дней... Семь лет Хадижат и Юсуф сидели за одной партой. Живя по соседству, они еще с первого класса вместе ходили в школу, вместе возвращались домой. Нередко мальчик и девочка вместе выполняли домашние задания. Часто во время подготовки к экзаменам или контрольной работе к ним присоединялись девочки Муминат и Зейнаб, мальчишки Ахмед и Магомед. Девочки быстрее усваивали уроки русского языка, а Юсуф и его друг Магомед отлично знали арифметику. Готовясь к экзаменам, ребята помогали друг другу.

Юсуф Абдурахманов после средней школы мечтал стать специалистом по животноводству, идти тем же путем, каким идет его отец — знатный колхозный чабан Абдурахман.

Летом, когда овец перегоняли из степей в горы, и Юсуф бывал свободный от уроков, он часто уходил на летние пастбища к отцу и вместе с ним смотрел за отарой.

Из года в год он все больше привыкал к овцам и ему хотелось стать зоотехником и вывести новые высокопродуктивные породы овец.

А Хадижат? Она твердила: «я буду врачом». Но этой мечте, видимо, не суждено было осуществиться. Она еще не окончила и седьмого класса, как на ее голову обрушилось горе — умер отец. Это подорвало здоровье матери. В доме было три малолетних девочки. Самая старшая из них была Хадижат. И она решила, что ей надо пойти в колхоз на работу, помочь матери. Как ни тяжело было бросать учебу, девочка все же пришла в правление колхоза и попросила направить ее на молочно-товарную ферму. «Ты еще молодая, тебе учиться надо», — сказал Курбаналиевой председатель колхоза. «Мама больная, она не может работать», — тихо прошептала Хадижат, еле сдерживая слезы. «Знаем, дочка, знаем. Колхоз не обидит семью чабана Курбаналиева. Колхоз поможет, ты иди в школу, учись», — настаивал председатель добродушно, по-отечески успокаивая Хадижат.

Семья Курбаналиевых стала получать помощь от колхоза, и Хадижат продолжала ходить в школу. «Долго ли мы будем находиться на иждивении колхоза, — рассуждала Хадижат, — ведь мама еще не скоро может выйти на работу»... Летом, окончив седьмой класс, Хадижат снова пошла в правление колхоза, настоятельно попросила дать ей работу.

— Какая упорная! — произнес председатель. — Ладно, пусть будет по-твоему, но об учебе не забывай, твоя жизнь впереди.

С тех пор прошло три года. За это время много утекло воды. В долине Кара-су вырос большой абрикосовый сад, в Уллу-ауле расширилось здание средней школы, многие мальчики и девочки окончили десятый класс, а Муминат, не терявшая дружбы с Хадижат, успела получить аттестат зрелости и стать заведующей сельской библиотекой. Не пропало зря время и для Хадижат. Она научилась отлично ухаживать за коровами, стала дояркой

и теперь ее имя красовалось на Доске почета среди лучших доярок республики.

С того дня, как Хадижат оставила школу, ее ни на минуту не покидала мысль об Юсуфе. Она привыкла видеть его каждый день за партой, за чтением книги. Последние три года Хадижат встречала Юсуфа только изредка на улице, иногда в сельском клубе или библиотеке. У нее было очень мало свободного времени. Днем она работала на ферме, а вечерами, когда приходила в аул, помогала матери по хозяйству. В последний год она, поступив на заочное отделение сельхозтехникума, почти все свое свободное от работы время отдавала учебе. А Юсуф все годы значился в числе первых учеников школы. Отличником хотелось ему окончить и десятый класс. Но, несмотря на то, что юноша очень был поглощен учебой, мысли о Хадижат всегда волновали его сердце.

Она уже не была той маленькой хрупкой девочкой, что сидела рядом с Юсуфом за одной партой. Хадижат выросла, стала серьезной, обремененной заботами о семье, о работе, и теперь стала ему еще милей. Даже подруги Хадижат, работавшие с ней на молочно-товарной ферме, стали замечать это. Иногда по вечерам, когда стадо возвращалось с гор и доярки приступали к дойке, Юсуфа можно было видеть неподалеку от фермы. Он стеснялся подходить близко и терпеливо ждал, пока освободится Хадижат. Дождавшись окончания работы, Юсуф робко подходил к девушке и умоляюще говорил: «Не обижайся, Хадижат, я хочу проводить тебя домой». «Зачем это? — говорила девушка, — у меня есть попутчики. Для тебя теперь каждая минута дорога. Экзамены впереди».

А самой так хотелось видеть Юсуфа!

Только в этот вечер, когда Муминат прибежала с газетой в руках, Хадижат не хотела, чтобы приходил Юсуф; Хадижат боялась, что Юсуф в этот радостный и торжественный для него вечер увидит ее опечаленное лицо, заплаканные глаза.

Но он все же пришел, когда над ущельем спускались сумерки. И не успел юноша остановиться, как услышал знакомый голос:

– Юсуф!

Он быстро оглянулся и увидел стройную фигуру Хадижат.

– Хадижат, ты читала сегодняшнюю газету? – спросил юноша.

– Да, поздравляю тебя, Юсуф, с успешным окончанием школы!

– Спасибо, Хадижат, благодарю, – тихо ответил Юсуф.

Он не мог разобраться, что больше звучит в голосе девушки: радость или горечь.

– А тебя, Хадижат, я поздравляю с большими трудовыми успехами! – произнес Юсуф.

– Спасибо, Юсуф, – ответила девушка и глубоко вздохнула.

Юсуф удивился.

– Хадижат, что с тобой!

– Ничего, пойдем домой, уже темно...

Они пошли рядом не по дороге, а по тропинке, которая проходила вдоль горной реки. Они шли некоторое время молча. Первым заговорил Юсуф.

– Хадижат, почему ты такая сердитая?

– Ничуть, – ответила девушка.

– Ты должна быть сегодня очень веселой!..

Хадижат, перебивая его, сказала:

– Юсуф, поспешим домой, а то поздно, ты же знаешь, – мне надо еще помочь маме.

Они ускорили шаги. «Что с ней, чем она недовольна?» – думал Юсуф.

– Хадижат, ты сердисься на меня?

– Нет, Юсуф, я завидую тебе, – еле выговорила она и вдохнула в себя свежий горный воздух.

– Завидуешь?

– Да, скоро ты уедешь в город, будешь учиться в институте, а там, может быть...

Она не стала продолжать.

— Ну, ну говори, дорогая, говори...

— А там, может быть, встретишь городскую девушку... — и она чуть было не зарыдала.

— Ха-ха-ха, Хадижат! Ты можешь рассмешить человека! — обрадовавшись, воскликнул Юсуф, — откуда ты взяла, что я поеду в город учиться? Я совсем не собираюсь покидать Уллу-аул.

— Что? — воскликнула Хадижат.

Она остановилась, взяла Юсуфа за руку. Трудно было понять — радовалась она или была недовольна.

— Повтори еще раз, что ты сказал!

— Я сказал, что совсем не собираюсь покидать Уллу-аул, буду работать в колхозе, пойду на ферму.

— На ферму! — с изумлением произнесла Хадижат. Ты, что, Юсуф, смеешься?

— Нет, Хадижат, зачем смеяться, я говорю правду, почему ты не веришь?

Хадижат замедлила шаги.

— Я не пойму тебя, Юсуф, ты же окончил среднюю школу. И теперь чабаном! Нет, этого не может быть. Ты должен учиться в институте и выполнить свое слово. Ты же обещал стать зоотехником и вывести новые породы овец. Забыл?

— Нет, не забыл.

— Тогда поезжай учиться, иначе я с тобой поссорюсь и никогда больше не буду разговаривать.

Юсуф подошел ближе к Хадижат и сказал:

— Дорогая, я учиться буду и новые породы овец выведу.

— Как?

— Поступлю на заочное отделение института и буду учиться. А работа на ферме поможет мне скорее достичь цели. Ведь ты же учишься заочно... Почему мне нельзя? Или ты считаешь, что я менее способен, чем ты?

— Нет, нет!.. — быстро проговорила Хадижат.

Она облегченно вздохнула и подумала: «Значит, мы останемся вместе». В эти минуты она была счастливей всех девушек на свете. Как легко и радостно у нее на душе!

- Пойдем, ты должна помочь матери.
 - Да, да, надо помочь маме, – тихо проговорила Хадижат.
- Они поспешили в аул.

ЗНАМЯ

Однажды вечером, возвращаясь с Хармана, где колхозники молотили хлеб, Гызбика Исаева встретила возле своего дома сельского почтальона,

– Получите весточку, баджи, – сказал улыбаясь почтальон.

– От кого? – спросила Гызбика, принимая письмо.

– Видимо, от сына вашего, Насима, баджи.

– Почему «видимо»? – произнесла Гызбика и, взглянув на конверт, побледнела. Адрес был написан незнакомым почерком. «Что это может значить?», – подумала Гызбика с тревогой. Она поспешила в дом, и здесь быстро раскрыла пакет. Из конверта выпала карточка. Гызбика дрожащими руками подняла ее, посмотрела, и глаза ее радостно засияли. Она увидела на снимке мужественное лицо сына, сфотографированного у развернутого знамени с автоматом в руках.

Женщина облегченно вздохнула и опустилась на стул. «Ну, слава богу», произнесла она вслух, нежно поцеловала фотографию сына. Потом стала читать. Писал командир воинской части. Он благодарил Исаевых за воспитание примерного сына. «Мой мальчик, – обратилась мать мысленно к сыну. – Кажется, я в тебе не ошиблась!».

– Мама, ты пришла, – раздался за дверью голос младшего сына, – скоро будет ужин?

– Да, мой дорогой, – сказала Гызбика, выходя навстречу сыну, – я приготовлю сейчас самую любимую твою еду.

* Баджи – сестра на лезгинском, азербайджанском языках.

Гызбика отдала сыну фотографию, быстро прибрала комнату, умылась и принялась за приготовление ужина. А мальчик уже бегал по двору, рассматривая карточку, и напевал песенку из кинофильма «Аршин-мал-алан».

— Шамай, далеко не уходи, — сказала Гызбика.

Она сидела, подобрав под себя ноги, на полу открытой веранды, застланной пестрым шерстяным ковром, и заворачивала в виноградные листья рубленное мясо, смешанное с рисом. Сбоку расположился крупный жирный кот и впился своими серыми глазами в мясо. А на рис то и дело налетали цыплята. Гызбика отгоняла их длинной палкой.

— Кыш, кыш, кыш, будьте вы неладны! — сердилась она на цыплят.

— Мама, я сейчас прогоню их! — крикнул Шамай. Но в это время на улице раздался сигнал автомашины и мальчик выбежал со двора. Около калитки остановился большой грузовик с зерном. С кузова соскочил Ягдан Исаев — высокий, широкоплечий мужчина с лицом бронзового цвета, с длинными усами и в солдатской гимнастерке.

— Ну, поезжай, в добрый путь! — сказал Ягдан, обращаясь к шоферу, и грузовик, глухо урча, скрылся за поворотом.

— Папа! — окликнул отца Шамай, бросаясь к нему на шею. — Посмотри!..

— Насим! — с гордостью произнес Ягдан, увидев на снимке сына. — Ай да, баркалла!

Ягдан застыл на месте, задумался. Насим служил в той же части, под знаменем которой в течение четырех лет воевал Ягдан, защищая Родину от фашистского нашествия. И теперь, увидев родного сына у развернутого боевого знамени, старый фронтовик с гордостью вспомнил минувшие дни, незабываемые боевые эпизоды, фронтовых друзей, офицера Павлова, его задушевные, трогательные речи.

— О чем ты задумался, Ягдан? — спросила Гызбика.

— Эх, жена, жена! — произнес Исаев, подойдя к веранде и присаживаясь на низенький самодельный стуль-

чик, — если бы ты знала, что это за знамя, у которого стоит наш сын!..

— Почему ты думаешь, что я не знаю? Это знамя части, об этом и командир пишет, — она протянула мужу письмо.

— Не о том ты толкуешь, Гызбика, — сказал Исаев, забирая письмо, — не о том... С этим знаменем связана моя жизнь. Это было в суровые мартовские дни 1943 года. Большой лес был запорошен снегом. Вечерело. На поляне выстроился полк. Перед строем, около знамени, стоял подполковник Павлов. Окинув взглядом строй, он снял с головы шапку-ушанку и его седые, но еще густые волосы слились с окружающим фоном. Павлов, выбросив вперед правую руку, сказал:

— Дорогие друзья, сыновья мои, посмотрите туда, на запад. В двух километрах от нас, за линией фронта большой город, выстроенный нашими отцами и дедами. Там сейчас свирепствует враг. Нас с вами зовут на помощь временно попавшие в лапы фашистского зверя советские люди. Я надеюсь, дорогие друзья, что завтра на рассвете, вступая в решительный бой за освобождение родного советского города, вы покажете пример доблести и мужества. Пусть осеняет вас на героический подвиг во имя любимой Родины вот это знамя — святыня нашей части!

Офицер опустился на колени, взял в руки край знамени, прикоснулся к нему губами. У Исаева мороз пробежал по телу.

«Спасибо тебе, командир Павлов, хорошо ты сказал», — мысленно произнес Ягдан, стараясь скрыть от товарищей слезы.

А на рассвете, когда Исаев вместе с боевыми товарищами сидел в окопах, началась артиллерийская канонада.

Над линией фронта появились десятки советских бомбардировщиков и штурмовиков. Над лесом поднялся оглушительный гул стрельбы, шум моторов. Длинная цепь стрелков приготовилась к бою и ждала сигнала, чтобы выскочить из окопов и ринуться на врага. Ягдан волновался,

как никогда. Он слышал, как стучит его сердце. Но вот над передним краем взвилась ракета.

— Вперед! — передалась команда по цепи.

Все, как один, солдаты с ружьями выскочили из окопов и устремились вперед. Они двигались за танками, мчавшимися на противника.

Враг ожесточенно отбивался. Ожили до этого молчавшие пушки и минометы гитлеровцев. Вокруг разрывались мины и снаряды. Исаев, чувствуя локоть товарища, двигался вперед, то в рост, то пригибаясь, то ползком. Вдруг впереди разорвалась мина. Исаев почувствовал сильный удар в левую ногу и упал. Он вспомнил слова командира, предупреждавшего перед наступлением: «Если противник будет обстреливать вас из минометов, то не задерживайтесь, помните правило: из-под огня противника выходить броском вперед!» Превозмогая боль, Исаев с трудом поднялся и потащил вперед отяжелевшую ногу. Через несколько шагов он опять упал.

— Исаев, что с тобой? — спросил прибежавший санитар?

— Ничего, ничего, друг, я сейчас, — сказал Исаев и, подумав о вчерашнем митинге в лесу, о словах офицера Павлова, опустившегося на колени перед знаменем, быстро перевязал свою ногу, поднялся и снова устремился вперед. Ныла нога, болела голова, но Исаев шел с товарищами. И только после того, как атака была успешно завершена и полк освободил город, Исаев направился в санчасть...

— Одно воспоминание о знамени части, — сказал Ягдан, — придавало нам силы в бою, укрепляло веру в конечную победу над врагом.

Затем Исаев рассказал о последних днях его пребывания в полку. Это было на востоке, после разгрома японских империалистов. Пришел приказ о демобилизации и офицер Павлов выстроил полк. Он вызвал из строя Ягдана и сказал: «Хорошо ты воевал, товарищ Исаев, верно служил Родине. Теперь, как я полагаю, поедешь в родной колхоз. Надеюсь, что ты и там будешь в числе первых.

Свято храни боевые традиции нашего полка, помни об этом знамени, честь которого ты защищал и умножал в боях за счастье советского народа»...

Исаев подошел к знамени и так же, как тогда командир перед боем, опустил на колени, взял край знамени и со слезами на глазах поцеловал его.

Рассказ мужа взволновал Гызбику.

— Вот так-то, жена, — сказал Ягдан. — А ты говоришь: «Я знаю, знаю!» Ничего ты не знаешь. Тогда же, прощаясь у знамени, я дал слово офицеру Павлову работать в колхозе так же хорошо, как воевал на фронте. Неправда ли, я сдержал свое слово?

Да, Гызбика могла гордиться мужем. С того дня, как возвратился с фронта, Ягдан не знал усталости и не чувствовал никакой работы. Долгое время Исаев аккуратно выполнял тяжелую обязанность поливальщика, возил навоз на поля, работал в садах. Последнее время его выдвинули бригадиром полеводческой бригады.

— Ты у меня хороший, — произнесла Гызбика, — недаром же тебя на Доску почета занесли,

— Стоит ли хвалиться, жена, — заметил Исаев, — самовосхваление не делает никому чести. Но сыну я должен написать пару слов.

— Потом, Ягдан, напишешь, сейчас ужин будет готов.

— Я одну минуту, — сказал Исаев.

Он зашел в комнату, включил свет и сел за стол. «Дорогой мой сын, — вывел Ягдан на бумаге, — письмо твоего командира и твоя фотография у знамени глубоко взволновали меня. Сколько памятных дней в моей жизни связано с этим знаменем. Ведь я тебе писал, что твой полк — это мой полк. Дорогой Насим, знамя, у которого ты стоишь — это мое знамя, моя честь, моя совесть. Это знамя вело меня и моих товарищей вперед, умножало наши силы в бою. Честь этого знамени мне очень дорога. Я не могу об этом писать тебе без волнения. Помни это мой сын, береги эту честь»...

— Ягдан, ужин готов! — крикнула жена.

— И я готов, накрывай стол, — ответил Исаев.

На дворе уже стемнело. Исаев включил радиоприемник. Из Махачкалы передавали концерт народной артистки Рагимат Гаджиевой.

— Хороший сегодня вечер! — сказал Ягдан, — на душе радостно...

Он сел за стол рядом с маленьким Шамаем.

ИНСТРУКТОР РАЙКОМА

Магерам вышел из кабинета секретаря райкома хмурый, с опущенной головой. На его смуглом круглом лице и порозовевшей лысине выступили капли пота, в ушах звучал голос Кафарова: «Нельзя так работать, товарищ Магерамов, завтра состоится бюро, а у вас все еще вопрос изучается»... Справедливое замечание. Магерам не обижался на секретаря, но и своей вины не чувствовал. «За чем же меня ругать, — рассуждал он, — причем тут я? За неделю до заседания бюро послал инструктора в колхоз. Почему-то до сих пор не возвращается. Не могу же я из пальца высосать проект решения... Ах, Мариям, Мариям!..»

На минуту перед взором Магерамова встал образ инструктора райкома — молодой хрупкой женщины. Магерам мысленно видел сейчас застенчивые глаза Мариям под густыми бровями и сердился.

— Ведь говорил же я: нельзя брать ее в орготдел, трудно будет ей работать, как-никак женщина, мать, а придется ездить по колхозам. Так нет, все обрушились на меня: «Магерамов недооценивает роли горянок, Магерамов заражен пережитками старины, Магерамов отстает от жизни». Вай-вай-вай! в чем только не обвиняли меня... И за что? Да я разве против женщин? По мне хоть все руководящие посты отдайте им. Был бы толк — вот в чем дело. Нам не украшение нужно в аппарате, а работники —

умные, инициативные. То-то и оно... а наши товарищи не хотят этого понимать.

Магерамов вошел в свой кабинет, поднял телефонную трубку.

— Алло, девушка, милая, соедините меня с колхозом «Горец». Алло, колхоз, это из райкома партии, заведующий орготделом. Что? Да, Магерамов. Мне нужна Пулатова, Пулатова Мариям, инструктор наш. Да, да, Пулатова. Давно ждем ее. Уехала? Куда? На кутаны! Ва-а-й! Зачем это на кутаны?

Магерам помрачнел, кашлянул и снова заговорил.

— Алло, алло, кто там есть из руководства колхоза? Все уехали? А секретарь партбюро? В поле?.. Что ты скажешь!..

Трубка выпала из его рук. Магерам взял со стола сигарету, закурил, подошел к окну и устремил взгляд в сторону гор, черневших вдаль, за районным центром. «Ничего не пойму, — нервничал Магерамов, — зачем она уехала на кутаны, там и без нее хватает людей. Ай-ай-ай, Мариям, сорвала ты задание. Что я теперь скажу Кафарову?».

Но Мариям не думала, что она сорвала задание. Получив инструктаж от заведующего отделом и поговорив с секретарем райкома, она сходила домой, предупредила мужа, что едет в командировку, приласкала трехлетнего сына, наказала ему, чтобы он слушался бабушку Хадижат и с первой же попутной машиной выехала в далекий аул.

Машина шла по проселочной дороге, вдоль извилистой горной реки Ак-су. На склонах гор и в широкой долине росли сочные травы.

Когда машина въехала на территорию колхоза «Горец», Мариям обрадовалась поднявшейся в человеческий рост кукурузе. «Вот где хорошие корма!», — подумала она. Только одно смущало ее: здесь никто не косил траву. «В чем дело, почему не косят?» Этот «секрет» разгадала она, как только прибыла в аул.

Был уже полдень. На площади, у колхозной конторы, стояла грузовая машина. Около нее лениво потягивался шофер. Из кабинета председателя доносился шум.

– Что же это получается, товарищи? – кричал Хасаев, – один себе дом строит, другой, видите ли, заболел, у той ребенок, у другой дела какие-то нашлись дома... Так что же вы предлагаете, со стороны будем нанимать людей! Ничего я не знаю, все поедем косить, собирайтесь! Баста, хватит! Не для меня вы работаете. Устал я уже с вами!

Услышав эти слова, Мариям остановилась у дверей. «Как он разговаривает, – удивилась Пулатова. – Неужели это Курбан?». Она вспомнила, как прошлой зимой бюро райкома утверждало Курбана Хасаева председателем отстающего колхоза и как тот заверял членов бюро, что он оправдывает высокое доверие. «Ай-яй-яй, Курбан, не думала я, что ты такой грубиян».

Она постучала в дверь. Увидев вошедшую в кабинет Пулатову, Курбан немного растерялся и смягчил тон разговора с колхозниками.

– Поймите, товарищи, если мы сейчас не уберем травы, не заготовим силоса, зимой туто придется нам. Ведь мы же с вами обязались удвоить производство молока. Если я не прав, пускай Мариям, инструктор райкома, скажет вам, – Хасаев посмотрел на Пулатову и сел в кресло.

В кабинете собралось много людей. Здесь были седобородые старики и женщины с грудными детьми, старухи и ребята школьного возраста. Все они обратили взоры на Мариям. Она поклонилась собравшимся и села рядом с председателем.

– Милая, послушай меня, – начала старая Зулейха, подойдя к Мариям, – у меня единственная дочь. Ей всего 18 лет. Мне говорят: «Пошли ее на кутаны». Мыслимо ли это? Скажи, дочка. Ты сама женщина, кто знает, какие там шайтаны водятся. Не дай аллах, они ее могут обидеть, мою дочь...

– Что ты говоришь, тетя Зулейха! – не выдержал Курбан.

– Пусть, пусть продолжает, – вставила Мариям.

— Я все уже сказала, дочь моя, — и Зулейха отошла. Мариям перевела взгляд на женщин с грудными детьми.

— Нам предлагают работать здесь, на месте, — сказала плотная круглолицая женщина с ребенком на руках, — но вы же видите, какие у нас дети. Не с кем их оставлять.

Хасаев встал, взял со стола спички и закурил папиросу. Он посмотрел в угол комнаты, где сидела группа мужчин и, обратившись к ним, сказал:

— А вы что молчите? Скажите, почему не хотите ехать на кутаны. У вас тоже грудные дети?

Все молчали. Тишину нарушил звонкий голос колхозного избача — рыжего парня с косыми глазами.

— Здесь у нас мужчины привыкли командовать, все надеются на женщин. А они, как сами видите, с грудными детьми.

«Ишь какой защитник нашелся», — подумала Пулатова и, обратившись к избачу, спросила:

— Скажите, товарищ Магомедов, а почему вы сами не идете косить?

Избач растерялся, покраснел, потом, взглянув на председателя колхоза, сказал:

— Ведь я же... у меня изба-читальня...

Женщины дружно засмеялись.

— Вот видите, товарищ Магомедов, у вас изба-читальня, у заместителя секретаря партбюро Омарова — сельский магазин, — Мариям посмотрела на председателя колхоза, — правду говорю? У третьего — склад, у четвертого еще что-нибудь. Кажется, вы комсомолец, товарищ Магомедов?

Избач утвердительно кивнул головой.

Разговор закончился тем, что решили вечером созвать общее собрание. Люди разошлись, в комнате остались председатель колхоза, инструктор райкома, и секретарь партбюро Изумруд Ахмедова.

Мариям, пожурив Хасаева за грубость с колхозниками, спросила:

— А что предприняло партийное бюро?

Ахмедова промолчала. Оказалось, что не все коммунисты привлечены к колхозному производству, нет согласованности между председателем колхоза и секретарем партбюро.

«Вот и материал для бюро райкома», мелькнула мысль у Мариям.

Пожалуй, можно было и возвратиться. Ее, кроме Магерамова, ожидали муж, ребенок. Мариям не забыла плохо скрытое недовольство мужа, когда она сказала ему, что едет в колхоз.

— Поздравляю тебя, жена! — колко сказал он ей.

— Ты не доволен, Джамалутдин? — улыбнулась Мариям.

— Зачем же? Я должен гордиться — моя жена инструктор райкома.

Потом, изменившись в лице, он добавил:

— Это еще цветочки, а ягодки впереди.

Джамалутдин работал техником-строителем, редко выезжал из дому, и ему хотелось, чтобы жена всегда была с ним. Сколько трудов стоило Мариям, чтобы уговорить мужа, когда ее утверждали инструктором. Наконец, Джамалутдин уступил, и Мариям стала работать в партийном аппарате. И вот она в командировке. Столкнулась с жизнью. «Правильно ли будет, если я соберу материал и завтра же уеду?» — подумала Мариям. Она вспомнила о молодых женщинах с грудными детьми, о стариках с лохматыми папахами в руках, недовольных окриками Хасаева. Потом Мариям встретила глазами с секретарем партбюро — молодой женщиной, так же, как и она, недавно пришедшей на партийную работу, и твердо решила остаться на несколько дней в колхозе.

Во второй половине дня Мариям и Изумруд собрали коммунистов, договорились, кого из них направить на кутаны, а кого оставить на строительстве силосных траншей и уборке трав в горах. Потом Мариям прошла по дворам, поговорила с женщинами, выяснила, сколько грудных детей в ауле и предложила Хасаеву организовать временные ясли.

Колхозное собрание прошло бурно. Пулатова сказала, что все мужчины, какие бы посты они не занимали, в эти дни должны косить травы, строить животноводческие помещения. Ее поддержали женщины и молодежь дружными рукоплесканиями. Некоторые мужчины пытались возразить, но их не стали слушать. Горячее одобрение вызвало предложение об организации временных яслей, хотя Хасаев недоволю морщился. Собрание обратилось к дирекции семилетней школы с просьбой организовать бригаду из учащихся старших классов. Утром, когда группа колхозников собралась ехать на кутаны, Мариям сказала секретарю партбюро:

— Ты оставайся здесь, помоги наладить сенокошение и строительство траншей, а мы с Хасаевым поедem на кутаны.

— Зачем тебе ехать, Мариям?

— Я буду там недолго, надо же мне знать, как идут дела на зимних пастбищах.

Неделю проездила Мариям по кутанам. Возвратившись в колхоз, она вспомнила, что срок командировки давно истек и схватилась за голову.

— Ох и достанется же мне от Магерамова, — сказала она, встретившись с Ахмедовой.

— За что же? — заметила Изумруд. — Ведь ты сделала полезное дело. Разве за это ругают?

— Хорошо, поедem со мной, — предложила Мариям, — будешь докладывать как секретарь партбюро.

...Ехали они в открытой машине. Их окружали те же высокие зеленые горы, но только теперь на склонах тут и там появились большие скирды сена. В райцентр приехали к полудню. Работники районных учреждений ушли на обеденный перерыв, и Мариям застала мужа дома. Джамалутдин приветливо встретил гостью, а на жену посмотрел косо. Мариям напугало недовольное выражение лица мужа, но она сделала вид, что не заметила этого. Она помогала свекрови накрыть стол и все сели обедать. Ели молча. Мариям пыталась заговорить, но слова застряли в горле. Ей стало обидно и она с трудом сдержала слезы.

Не менее неприятная встреча ожидала ее и в райкоме.

— О-о-о, не думал, что ты так рано вернешься из командировки, — съязвил Магерамов.

— Я так и знала, что вы рассердились на меня, — сказала Мариям.

— Еще бы, — ответил Магерамов, — приехали плясать, как говорится, когда уже сыграна свадьба. — Бюро состоялось вчера, мне сильно попало от Кафарова за срыв планового вопроса. — Но ведь она сделала полезное дело, — попыталась заступиться за Пулатову Изумруд.

Магерам рассердился, встал с места, закурил.

— Знаете что, Изумруд, нам здесь не нужны адвокаты... Если ей надо было остаться, почему же не позвонила? Я вас опрашиваю, есть у нас дисциплина или нет? «Да почему я не сообщила по телефону, что задерживаюсь?» — подумала Мариям. Почувствовав свою вину, она хотела что-то сказать, но в это время раздался звонок. Магерамов поднял трубку.

— Товарищ Кафаров, слушаю вас. Кто? Пулатова? Да, приехала вместе с секретарем партбюро... Неужели?... — на лице Магерамова появилась улыбка. — Что вы говорите? Звонили из МЖС? Пулатова хорошо помогла? Ай да Мариям! Видите, товарищ Кафаров, это — кадры орготдела, а вы меня ругали. Хорошо, я сейчас pošлю ее к вам.

Женщины с удивлением наблюдали, как менялось настроение заведующего отделом. Морщины на лбу Магерамова постепенно разгладились, его глаза лукаво заискрились.

— Горжусь тобой Мариям, — сказал заведующий, — дай твоё удостоверение, отмечу о выполнении задания, — а потом, улыбнувшись женщинам, добавил: «Идите, вас ждёт товарищ Кафаров».

КАЛЫМ

Мушаил пересек двор, напевая полюбившуюся ему песенку «Я встретил девушку...» и вошел в беседку, уютную с трех сторон виноградными лозами.

– Мама, какая ты хорошая! Уже и обед готов...

Он нежно обнял мать, потом взглянул на большие кисти винограда, висевшие над головой.

– Хороший виноград! – восхищался Мушаил, – так бы и сорвал сейчас эту кисть...

– Я тебе сорву! – пригрозила Сипро, – садись, обедай, а то остынут пельмени.

Когда Мушаил начал кушать, мать устремила на него глаза, глубоко вздохнула и молча покачала головой...

– Что это значит, мама? Ты опять стала вздыхать. Это мне не нравится. Ведь скоро свадьба, нужно радоваться... Да, ты была сегодня у Шафадовых, говорила?

Сипро усмехнулась.

– Свадьба, говоришь... Ой сомневаюсь!..

Мушаил положил вилку, отодвинул от себя тарелку.

– Почему ты сомневаешься, мама?

– Пять тысяч просят, мой мальчик, пять тысяч... Где ты их возьмешь?.. Нет в живых твоего отца... Он, может, достал бы...

Мушаил вскочил с места, подошел к матери и посмотрел в ее печальные глаза...

– Я не пойму тебя, мама, о каких пяти тысячах говоришь?

– О тех, что просят за твою красавицу, – ответила Сипро.

– Что ты говоришь!..

– А то, что слышишь! Калым просят, а еще, говорят: «Наша дочь учительница»...

От этих слов Мушаилу стало очень неприятно. Ему не верилось, что родители Тамары могли просить калым. Но он не имел основания не верить своей матери. Нет, Сипро, конечно, не обманывала, хотя вначале она не благословляла сына на брак с этой девушкой.

– Мама, может быть, это недоразумение? – робко спросил Мушаил.

– Нет, сын мой, это правда... Можешь поверить мне...

У Мушаила даже руки задрожали и он с трудом зажег папиросу. Как весело было ему полчаса назад, и как помрачнел он теперь. Сколько трудов стоило ему уговорить мать, чтобы та согласилась на его брак с Тамарой. Как ему хотелось поскорей жить вместе с той, которую давно любил. Ведь из-за нее, из любви к Тамаре, Мушаил до тридцати лет ходил холостяком. Девушка училась в институте и Мушаил дал слово подождать ее. Много раз Сипро обращалась к сыну с просьбой, чтобы он женился. «Я стара, — говорила она, — часто болею, а ведь за вами, мужчинами, нужен уход. Белые стирай, обед готовь, полы мой, двор убирай. Нет, сынок, я больше не могу. Женись. Пускай молодая жена в доме будет хозяйкой». Мушаил сочувствовал матери, но просил ее подождать. И это продолжалось год-два. Сипро чувствовала себя все хуже, умоляла сына освободить ее от обязанностей домохозяйки. Наконец, Тамара окончила институт, получила назначение в одну из школ родного города и Мушаил поспешил обрадовать мать.

— Ну вот, мама, — сказал он недавно, придя домой необычайно веселым. — Я удовлетворяю твою просьбу, женюсь.

Сипро поправила на голове платок, поднялась и с ее лица исчезла печаль, глаза радостно заблестели.

— Кто она? — спросила Сипро, — куда мне нужно идти, сынок?

Мушаил посадил мать рядом с собой и рассказал о Тамаре, о том, как он много лет дружил с ней и ждал, пока она окончит институт. Рассказывая, Мушаил замечал, как меняется выражение лица у матери. Но вот Сипро гневно прервала сына:

— Вот как ты заботаешься о матери! Твоя учительница будет спать до обеда, потом пойдет в школу, а я, старая мать, буду по-прежнему готовить, стирать, убирать, воду таскать, на базар ходить!..

— Нет, мама.

— Не перебивай, знаю, что хочешь сказать. Приведи свою учительницу, а я уйду к дочери. Хватит с меня, не буду вам прислугой! — и заплакала.

Мушаил растерялся. Он не знал, как успокоить мать.

— Не зря говорят в народе: «Один родитель может кормить семерых сыновей, а семь сыновей не могут содержать одного родителя», — продолжала плакать Сипро.

Мушаилу показались странными слова матери и он стал уговаривать ее.

— Послушай, мама, ведь ты не знаешь Тамару, а узнаешь — ты полюбишь ее. Она не такая... поверь мне...

А Сипро все настаивала на своем. Два дня не прекращались споры, но сын все же уговорил мать. Сердце матери!.. Разве с ним может что-нибудь сравниться?

И вот Сипро нарядилась в свое кашемировое платье, обула новые чуваки, накинула на голову праздничный шелковый платок и вместе со старшей дочерью Тюрюнж направилась к родителям будущей невестки. Ее приняли приветливо, посадили на мягкий диван, угостили лавашем с халвой, похвалили Мушаила и сказали, что лучшего зятя им и не сыскать. Но потом, когда обо всем уже было договорено и время для свадьбы назначено, вдруг Тамарина мать, Шифро, сказала:

— У нас денег на свадьбу нет. Расходы нужны большие.

— Зачем же большие расходы? — сказала Сипро. — «По одежке протягивай ножки».

— Нет, нет. Мы не можем так. У нас много родни. Всех надо пригласить. Вы все же тысяч пять должны дать нам.

— Что? — испугалась Сипро. — Помилуйте, мой мальчик всего-то в месяц получает девятьсот рублей. Где он возьмет пять тысяч?

— Если он мужчина, найдет! — сказала Шифро.

«Вот как?» — удивился Мушаил, выслушав рассказ матери.

— А еще, мой мальчик, они требуют, чтобы до свадьбы мы купили невесте платья из пан-бархата и креп-

жоржета, две пары лакированных туфель, бостоновое пальто, белый крепдешинный головной платок и еще многое, я уже забыла... Я говорю: «Шифро, зачем все это сразу, придет Тамира к нам, Мушаил купит ей все постепенно?» «Нет, отвечает она, я хочу, чтобы все видели, как ценят мою дочь. Так больше почета будет ей». «Как же это так, возражаю, твоя дочь ученая, комсомолка, мой сын тоже техник, комсомолец. Зачем такие порядки?» А она говорит: «Наши адаты такие»... Вот так, сынок... Где мы возьмем денег? Твой покойный отец, — дай бог тебе жизни столько лет, сколько будет жить земля, в которой он лежит, — мог бы найти, а ты не сможешь, тебя я знаю...

Мушаил уже не слышал матери. Он мысленно в эти минуты смотрел в улыбающиеся глаза Тамиры, ее белое лицо и румяные губы. За этим ли я ждал пять лет любимую девушку? — шептал он.

Но ему не верилось, чтобы это исходило от Тамиры. Разве он забыл ее слова: «Мне ничего не надо на свете, кроме тебя, Мушаил».

Мушаил вышел на улицу расстроенный. На город опускались сумерки. В это время обычно Мушаил встречался с Тамирой, они ходили в городской парк или в кино. Встречались они у входа в городской парк, но сегодня Мушаил изменил маршрут. Он направился на берег Каспия, уселся на большой прибрежный камень, о который с шумом разбивались морские волны. Здесь было темно. Море как будто было окутано черной пеленой. Только где-то в дали мигали, как искорки, электрические лампочки.

В то время, как Мушаил с горечью думал о случившемся, Тамира, как всегда, вовремя пришла на место свидания и, не застав здесь Мушаила, с волнением посмотрела на часы. Она знала, что Мушаил тоже всегда приходит вовремя. «Что могло случиться?» — подумала Тамира.

Она ожидала десять, пятнадцать минут, полчаса, а его все не было. «Может быть, задержался на работе?» — подумала она.

Тамара решила позвонить на завод, где работал технолог Мушаил. Но, к огорчению девушки, его там не оказалось. «Он ушел домой», — ответили с завода. Тамара осведомилась, здоров ли был Мушаил, не заболел ли. Ей сказали, что он ушел с работы вполне здоровым и в хорошем настроении. «Что же могло случиться?» — повторяла взволнованная Тамара.

В городе было шумно. По улицам, залитым электрическим светом, гуляла молодежь, в парке играл духовой оркестр, со стороны железной дороги слышались гудки паровозов. Расстроенной Тамаре уже не было дела до всего этого. У нее мелькнула мысль пойти к Мушаилу домой, но, вспомнив, что у него дома мать, а по старым обычаям до свадьбы невеста не может показаться в доме жениха, отказалась от своей мысли.

«Ох, эти проклятые обычаи!» — возмутилась Тамара и, опустив голову, направилась домой.

— Слава богу, сегодня рано кончилось твое свидание, — сказала мать.

Тамара посмотрела на мать, ничего не сказала и удалилась в свою комнату. Спать она легла рано. Но сон ее был тревожным.

Утром Тамара ушла в школу, не позавтракав. Она была уверена, что Мушаил выйдет из дому пораньше, встретит ее у школы и объяснит, почему вчера не пришел. Но надежды девушки не сбылись: Мушаила не было. До начала уроков оставалось еще несколько минут. Тамара решила пройтись по улице. Вдруг она заметила Мушаила, разговаривающего с каким-то молодым человеком. Потом он завернул за угол и направился в сторону завода. «Вот как!!!» — оскорбленная Тамара еле сдержала слезы и поспешила в школу.

Думал ли в этот день Мушаил о своей невесте? Конечно, думал. Он так же, как и Тамара, плохо спал ночью, много раз просыпался, укорял себя за несостоявшееся свидание и уже было принял решение поутру сходить к дому невесты, встретиться с ней и объясниться, но потом

это ему показалось неудобным и он решил поговорить с Тамарой по телефону.

После первого урока, когда преподаватели школы собрались в учительской, раздался телефонный звонок.

— Тамара Шафадовна, вас просят, — сказал завуч.

Тамара вздрогнула, ее щеки загорелись, сильней забилось сердце. Она смущенно посмотрела на своих коллег и с трепетом подняла трубку.

— Тамара, это я, Мушаил. Здравствуй, дорогая. Ты меня извини, мне хочется поговорить с тобой...

В это время звонок в коридоре возвестил о начале очередного урока. Учителя один за другим стали уходить.

— Ты слышишь меня? — спрашивал Мушаил.

Девушка молчала.

— Что же ты не отвечаешь, Тамара?

— Мне не о чем с тобой говорить, — ответила она, положила трубку и взволнованная побежала в класс.

Дома Тамара попросила мать: «Придет Мушаил, скажи, что меня дома нет».

— Давно бы так, — обрадовалась Шифро. — Он тебе не пара.

Слова матери удивили дочь.

— Почему же это не пара? — вспылила Тамара.

— Приходила ко мне Сипро. Просила твоей руки.

— И что же ты ответила?

— Что я могла ответить? Разве я не желаю счастья своей дочери? Хорошо, говорю, согласна, но надо помочь нам на свадьбу. Хотя бы пять тысяч дали.

— Какие пять тысяч?

— Глупенькая ты, дочь моя. Когда твой покойный отец женился на мне, знаешь сколько денег дал? А какое одеяние мне тогда купил: бархатное платье, золотой пояс, браслеты...

«Вот в чем дело!» — догадалась Тамара.

— Мама, что ты наделала? Какой позор!..

Она упала на кровать и заплакала. Шифро развела руками:

— Глупая девчонка! Всегда так было. Не ты первая, не ты последняя выходишь замуж. Это обычай наших отцов, дочь моя. Не можем же мы отдавать тебя задаром...

Тамара встала.

— Что я тебе, вещь какая-нибудь! — возмутилась она. Потом, успокоившись, сказала:

— Ой, мама, разве любовь продают за деньги?

— Да разве я для себя прошу деньги? — сказала мать.

— Мы тебе купим кровать, шифоньер. Да еще несколько стульев, самовар, постель...

— Не волнуйся мама.

Тамара посмотрела на часы. В это время они встречались с Мушаилом в парке. Тамара быстро переоделась и, улыбнувшись матери, вышла из дому. На дворе было темно. Над головой сверкали одинокие звезды. Не успела она пройти и нескольких шагов, как ее остановил голос Мушаила.

— Тамара, постой, я хочу с тобой поговорить. Не сердись на меня...

— Не говори ничего, Мушаил. Я виновата, что не предупредила маму. Мне ничего не надо, кроме тебя.

Она крепко взяла его под руку. В этот вечер они направились не в парк, а на берег моря.

— Как хорошо здесь! — заметила Тамара.

— Да, очень, очень хорошо! — сказал Мушаил, наблюдая огромный диск луны, плывущей над зеркальной поверхностью воды. Мушаил радостно запел свою любимую песню «Я встретил девушку...».

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

Это было поистине красивое зрелище. На плоских крышах домов, на извилистых улицах горного аула, у калиток и на балконах стояли женщины в разноцветных платьях и пестрых головных платках. С крыши большого

двухэтажного дома над аулом проносились звуки горской темпераментной музыки. На площади, возле клуба, плясала молодежь.

Весь аул в этот день был на ногах. От мала до велика — все вышли встречать чабанов, перегоняющих отары овец с летних пастбищ на плоскость. Чабаны уже были недалеко. Они подходили по скотопрогонной дороге к садам, прилегающим к аулу. Наблюдавшие с крыш и балконов уже видели героев дня в широких бурках и больших папах.

— Идут, идут! — кричали мальчишки, взобравшись на деревья.

Радовались встрече многие люди, но двойная радость была в семье старшего чабана Абдулманапа Агаева. Его сын Ага-Керим, инструктор райкома комсомола, собирался жениться. С нетерпением ждала счастливая мать — Рагимат — мужа, чтобы преподнести ему сюрприз. В этот день она вышла на улицу раньше всех. Еще затемно подоила корову, убрала квартиру, подмела двор, замесила тесто для хинкала и, одевшись в свое лучшее платье, поднялась на крышу дома. Когда дети закричали: «Идут, идут!» старая Рагимат приподнялась на носки, приложила ладонь к глазам, заслоняя их от яркого солнца.

— Ты видишь папу? — спросила Рагимат сына.

В это время в ущелье, за абрикосовым садом, показались двое мужчин с длинными палками в руках. Один из них среднего роста, коренастый старик, с густыми морщинами на лице и длинными белыми усами был Абдулманап. Несмотря на свой возраст он шагал бодро и о чем-то горячо спорил со своим спутником.

— Идет папа! — сказал Ага-Керим и побежал навстречу отцу.

Через несколько минут по площади, отвечая на приветствия земляков, проходил старый Абдулманап. Его держал под руку Ага-Керим.

— Ну, пришел на несколько дней в гости, — шутливо сказал чабан, обняв старуху. — Ты не соскучилась по мне?

— Я хочу тебя обрадовать, — сказала Рагимат, улыбаясь мужу, — Ага-Керим облюбывал себе невесту. Ты пришел кстати.

Загорелое лицо старика прояснилось, он оглядел комнату, покрутил усы и с гордостью посмотрел на сына.

— Наконец-то, сколько я ждал этого дня! — сказал он с радостным волнением. — Садись, сын мой, скажи, кто она, как ее зовут?

Вместо Ага-Керима ответила мать.

— Из соседнего аула, дочь агронома, учительница, Рукият ее зовут...

— Рукият? — старик изменился в лице и опустил голову.

В комнате наступила тишина. Ага-Керим удивился, а старуха спросила:

— Ты не доволен, Абдулманап?

Немного погодя, Абдулманап поднял голову и жена заметила как увлажнились его глаза.

— Что с тобой?

— Этот вопрос мог бы задать мне Ага-Керим, — ответил Абдулманап. — Он ничего не знает, а ты могла бы догадаться, тебе ведь я рассказывал про бедную Рукият.

— А-а, вот ты о чем...

— Да, вспомнил. Принеси мне шкатулку, она в нижнем ящике комода.

Старуха принесла шкатулку и удалилась из комнаты. Абдулманап открыл ее и вынул толстое обручальное кольцо. Он с грустью посмотрел на кольцо и протянул его сыну.

— Прочитай, что на нем написано.

Сын взял кольцо, посмотрел и громко прочитал: «Рукият».

Он недоуменно взглянул на отца и спросил:

— Что это значит, отец?

У старика задрожали губы. Он закурил, и, успокоившись, сказал:

— Не смотри на меня так, лучше послушай, что я тебе расскажу.

— С тех пор прошло тридцать восемь лет. Работал я в хозяйстве известного кулака Абдулла-Эфенди-бега. У него было богатое имение, большой фруктовый сад, он держал много батраков. Недалеко от имения был небольшой аул, там жили бедные крестьяне, и мы, батраки Абдулла-Эфенди-бега, часто ходили в этот аул. Здесь я увидел девушку Рукият. Мы пришли друг другу по душе. И отец ее Мамед-Салам полюбил меня, сыном стал называть. Он ничего от меня не требовал — ни калыма, ни расходов на свадьбу. Только, говорил, живите в мире и согласии. Но во мне заговорила мужская гордость. Идти в дом невесты с пустыми руками я не решился. С этого дня стал жить очень экономно, ел сухой чурек и постный хинкал, ходил в латаных чарыках. Каждую заработанную копейку берег, чтобы сделать хоть какой-нибудь, подарок своей невесте. Когда у меня накопилось немного денег, первым долгом купил вот эту вещь.

Старик взял у сына кольцо, посмотрел на него и задумался. Его воображению представилась стройная милотвидная девушка с черными косами.

— Вот это кольцо я и подарил Рукият. А время было беспокойное. Шла война. В России поднялась революция. Известие о свержении царя Николая обрадовало горцев. А еще через несколько месяцев власть в России взяли в руки рабочие и крестьяне. Ох, как мы были рады! Особенно батраки и бедные крестьяне. Пришла советская власть и к нам. Все мы легко вздохнули, Ленина благодарили. Ведь землю получили, свободу получили. «Вот, — подумал я, — заживем теперь, посею хлеб на своей земле, соберу урожай и свадьбу сыграем». Но все это осталось мечтой. Богачи решили свалить новую власть, началась война в горах. Я записался в партизаны и попрощался с невестой.

Абдулманап выпил бузу, зажег погасшую сигарету и продолжал рассказ.

— Больше года я воевал. Где только я не побывал за это время — и в Левашах, и в Хаджал-махи, и в Касумкенте, и в Сергокале, и в Дербенте. Несколько раз был

ранен. До меня дошел слух, что наш аул занят белыми. Кровь закипела во мне, сердце заколотилось. «Пропала, — думаю, — бедная моя Рукият!» И вот как-то наш отряд направили для освобождения родного аула. Если бы ты знал, как я волновался. Одно воспоминание о Рукият удесятерило мои силы. Я готов был не спать по несколько суток, идти и идти вперед, чтобы поскорее достичь цели. Мы шли днем и ночью, шли по каменистым тропам и колючим кустарникам, стараясь сократить путь. Чем ближе мы подходили к аулу, тем сильнее волновался я. На следующие сутки, когда над горами опускались густые сумерки, дозорные доложили, что на горизонте показалось зарево. Сердце сжалось у меня. Я попросил разрешение и побежал вперед. Горел мой родной аул. Узнав о подходе красных отрядов, бандиты учинили расправу над мирными жителями, глумились над женщинами, сожгли все дома, и ушли. Об этом поведали нам старики. Погибли бедная Рукият и ее отец. Кто-то сказал бандитам, что я, жених Рукият, служу в партизанах. Как потом выяснилось, это сделал мой бывший хозяин. Бандиты пытались изнасиловать Рукият, но она не поддалась. Двух беляков заколола кинжалом, тогда ее застрелили и бросили в костер.

Абдулманап снова с грустью посмотрел на кольцо.

— А как же кольцо оказалось у тебя, папа? — спросил Ага-Керим. — Ведь ты его подарил Рукият?..

— После того, как мы побывали в разрушенном ауле, мы еще долго воевали. Как шакалы бродили по лесам и ущельям гор недобитые группы врага. Их уже никто в Дагестане не поддерживал. Они налетали на беззащитные аулы и как пиявки высасывали кровь у бедных крестьян, грабили и скрывались. Однажды мы наскочили на след одной банды. На окраине аула завязался бой. Как утопающий хватается за соломинку, так и враги наши цеплялись за каждый камень и каждый куст. Но огонь ненависти горел в наших сердцах. И мы добились банду.

Несколько бандитов сдалось в плен. После короткого отдыха командир вызвал меня к себе в саклю, где допрашивал пленных.

— Абдулманап, — сказал он, — поручаю тебе сопроводить пленного до штаба.

Командир указал на обросшего черной щетиной человека, который стоял в углу комнаты. Пленный посмотрел на меня лисьими глазами и опустил голову.

— Он обещает нам помочь, — добавил командир, — в целости доставь его в штаб. Понял?

— Понял, товарищ командир, — ответил я, а самого сомнение взяло: почему этот пленный так хитро смотрит на меня?

До штаба далеко. Если идти по ущелью, надо было обойти горы и мы пришли бы поздно. А день уже клонился к вечеру. Чтобы добраться до штаба засветло, я решил пробираться через горы, по тропинке. Шли мы медленно, пленный впереди, а я сзади. Подъем был крутой, оба мы устали. Когда мы преодолели половину подъема, пленный обернулся ко мне.

— Вперед! — приказал я ему. — Не оборачивайся.

Он молча продолжал идти, я глядел в оба. Еще не остыла кровь в моих жилах. Неизлечимую рану нанесли мне эти бандиты. Разве я мог спокойно смотреть на него? Но вот мы взобрались на вершину горы. Отсюда теперь надо было спуститься вниз.

— Давайте минутку отдохнем, — попросил пленный, не оборачиваясь ко мне. — Вы же тоже устали...

Действительно, я тоже порядочно устал. «А черт с ним, отдохнем немного!» — решил я.

— Ладно, садись! — приказал я ему и сам устроился на камне, несколько поодаль от пленного. Так лучше было. Если попробует бежать, мне удобно будет стрелять. И вдруг пленный говорит:

— Не смотри на меня враждебно, я такой же горец, как и ты.

— Нет, ты не такой горец, молчи! — приказал я.

Он заплакал. Его плач мне показался каким-то неестественным.

— Отпусти меня, умоляю тебя! — сказал он со слезами на глазах.

– Ты что, очумел! – крикнул я. – Вставай, пошли!

И я направил на него дуло винтовки. А он снова плачет.

– Ты можешь убить меня, но это тебе ничего не даст, – сказал он. – А если отпустишь, я тебя озолочу. Что тебе это стоит? Скажешь, что убил при попытке к бегству.

И он бросил мне маленький узелок.

– Посмотри, какое там богатство. Возьми себе все это. Меня ждут дети, жена, отпусти...

Узелок я не развернул, и велел ему встать.

– Марш! – приказал я ему.

– А мои ценности? – воскликнул пленный. – Ты и не посмотрел на них.

– Там в штабе есть кому смотреть, айда!

Теперь я все время направлял дуло винтовки на него. Боялся, что убежит. Всю дорогу я побаивался и все же доставил врага в штаб целым и невредимым. Вручил начальнику штаба и узел.

– Что это? – спросил начальник. Я объяснил. Тогда он сказал:

– Давай вместе посмотрим.

В узелке оказались браслеты, серьги, кольца.

– Видишь, именно кольцо, – сказал начальник и протянул его мне. Мои руки задрожали. И когда я прочел на кольце надпись, в глазах потемнело, ноги отказали мне. «Рукият, ай аллах, что же это такое?..» – сказал я.

– Что с тобой? – спросил начальник.

Я ему рассказал, что это кольцо моей невесты, расстрелянной врагами.

– Пусть оно у тебя и останется, – проговорил начальник.

Старик закончил свой рассказ. Ага-Керим участливо смотрел на отца.

– Дорогая эта память, отец, – сказал сын.

– Да, – подтвердил Абдулманап, – дорогая память. Я хранил ее честно. Сегодня это кольцо мы пошлем твоей

невесте. Пусть память о бессмертной Рукият будет жить вечно.

Старик налил себе бузы, выпил и задумался.

СТАРЫЙ ДРУГ

Время было за полдень, а Бедел все еще лежал в постели и с грустью наблюдал, как струи осеннего дождя смывают со стекол окон осевшую после сильного ветра удушливую пыль. Бедел не вставал не только потому, что день был дождливый и ему некуда идти. У него было тяжело на душе. Еще не прошло и месяца, как он похоронил жену. В первые дни после смерти Гуар к Беделу ходили соседи, друзья, и с некоторыми из них он даже коротал длинные осенние ночи.

Теперь он остался один в своей большой квартире, обставленной добротной мебелью, и не находил себе места. На какую бы вещь ни смотрел Бедел — на шифоньер, в котором висели платья Гуар, на зеркало, перед которым по утрам привык он видеть жену, — неизменно перед взором старика вставало круглое белое лицо покойницы, ее черные живые глаза.

— Вот и все, — глубоко вздохнул Бедел. — На старости лет я остался одиноким.

Он медленно встал, накинул на себя пижаму, прошелся прихрамывая по просторной комнате, остановился около круглого столика, взял фотографию жены и стал смотреть на нее увлажнившимися глазами. В это время постучали в дверь. Бедел вздрогнул.

— Войдите, — сказал старик.

В комнату вошла соседка — молодая блондинка в длинном пестром халате и мягких домашних туфлях.

— Бедел Исаевич, я вам сейчас чаю принесу, — сказала Александра Ивановна.

— Не надо, спасибо, — ответил старик. — Я вам очень благодарен за ваши заботы.

— Что вы, какая это забота, — улыбнулась Александра Ивановна. — Наоборот, муж ругает меня. «Что ты не пригласишь Бедел Исаевича обедать?» говорит.

— Ради бога, скажите ему, чтобы не беспокоился обо мне. — Бедел схватился за поясницу. — Ох, этот проклятый радикулит!

Он медленно направился к кровати. Соседка помогла старику прилечь и жалостно посмотрела на его скуластое лицо, впавшие глаза, снежно-белую шевелюру.

— Бедел Исаевич, — обратилась она, — вам нельзя больше оставаться одиноким.

— Что же вы предлагаете мне, Шурочка? — спросил старик, все еще морщась от боли в пояснице.

— Жениться вам надо, — улыбнулась Александра Ивановна.

Бедел усмехнулся.

— В третий раз и на старости лет?.. Нет уж, увольте меня, Шурочка.

Соседка удивилась.

— Скажите пожалуйста, разве покойница была у вас не первой женой?

Старик утвердительно кивнул головой. Александра Ивановна стеснялась спросить, что же произошло с первой женой, но Бедел, обрадовавшийся, что у него появился собеседник, сам рассказал.

...Пятьдесят с лишним лет назад, потеряв родителей, Бедел пас в ауле общественное стадо. Много лет с посохом в руке он ходил за стадом коров по склонам гор, долинам и лесам, наигрывая на свирели свои пастушеские песни. Однажды он стоял у речки и вдруг заметил, как смуглолицая девушка с кувшином за плечом выглянула из-за ствола большого дерева, прислушалась к звукам его свирели. Это была дочь бедного крестьянина Гистаман.

— Нравится тебе песня? — спросил юноша.

— Очень, — улыбнулась смутившаяся девушка и поспешно ушла.

На следующий день пастух в это же время пришел к речке. Но Гистаман не появилась. Только несколько дней спустя Бедел снова увидел ее. На этот раз Гистаман задержалась немного дольше и перекинулась несколькими фразами с юным пастухом.

— Приходи каждый день, — попросил юноша.

— Нельзя, — ответила девушка. — Отец будет ругать.

Так думала Гистаман. Но когда бедный пастух послал к Яшору сватов, тот сказал:

— Я сам был таким. Были бы руки и голова... Если любят друг друга, пускай женятся.

Радостно на душе было у Бедела и Гистаман в эти дни.

— Мы с тобой будем жить хорошо, — говорил Бедел жене, — никто нас никогда не разлучит.

Эти слова были сказаны искренне, от души. Бедел так сильно любил жену, что даже за водой на речку не давал ей ходить. Его не смущали насмешки горцев, считавших позором для мужчины носить воду.

— Пусть смеются. Придет время, над ними будут смеяться.

В ауле молодожены прожили недолго. В первые годы советской власти недалеко от их селения был организован совхоз. Туда они и перебрались. Сначала Бедел и Гистаман работали вместе, в одной бригаде. Но вскоре, когда Гистаман родила сына, муж ей не позволил больше работать.

Сам Бедел трудился очень старательно. Его заметили и назначили бригадиром. Жизнь становилась лучше.

— Есть разверстка на учебу, — сказал как-то Беделу директор совхоза. — Хочешь учиться?

— А как же с семьей? — спросил он.

Разве можно оставить на три года любимую жену, маленького сына Шамиля? Но директор настаивал и посоветовал поговорить с Гистаман.

Когда Бедел сообщил о предложении директора, она сказала:

— Надо ехать, все теперь учатся.

Но при мысли о предстоящей разлуке ей стало очень грустно. Она еле сдержала слезы. Однако, Гистаман старалась не выдавать своего волнения. И только когда Бедел собрался в путь, взял в руки разрисованный фанерный чемоданчик и поцеловал на прощание сына, горячие слезы обожгли щеки Гистаман.

— Не надо, Гистаман, — с трудом произнес Бедел, слова застревали в горле. — Не надо, я ведь не навсегда, скоро будут каникулы и я приеду...

На зимние каникулы он приехал и Гистаман была счастлива. Но вот летом Бедел остался в городе. «Не смогу приехать, — писал он, — целуй за меня Шамиля»... Почему же не мог приехать Бедел? Чтобы получить ответ на этот вопрос, бедной Гистаман надо было поехать в город. Здесь она увидела бы, как ее муж в новом синем костюме и коричневых туфлях ведет под руку хрупкую девушку со жгучими глазами и пышной прической. Нет, это была не Гуар, а другая девушка — дочь состоятельного отца, избалованная и капризная. Познакомился с нею Бедел в клубе сельскохозяйственного техникума, на вечере самодеятельности, она ему очень понравилась и он, выдав себя за холостяка, начал ухаживать за девушкой. Когда пришло время летних каникул, Эма предложила ему поехать с нею на курорт.

На курорте Бедел поссорился с Эмой, собрался было поехать в аул, но уже начинался учебный год. Зимой он уже встретил другую девушку. Ее звали Гуар. Она отличалась от прежней своей простотой, скромностью и сумела быстро покорить сердце Бедела. Постепенно они привыкли друг к другу и Бедел стал забывать о семье...

Бедел прервал рассказ. Старик не мог, конечно, рассказать Александре Ивановне о том, как чувствовала себя все это время Гистаман. Знал ли Бедел о том, что слезы, пролитые Гистаман за долгие годы разлуки, могли образовывать маленькие ручейки, подобно тем, которые протекают в горах. Между тем Гистаман, хотя ей было очень тяжело, не пала духом. Эта маленькая хрупкая женщина оказалась такой гордой и мужественной, что отказалась от его мате-

риальной помощи, поступила на вечерние курсы, окончила их, возвратилась в родной аул и стала передовой колхозницей. Она могла бы выйти и замуж, но решила целиком посвятить себя воспитанию сына.

Шамиль вырос, получил среднее образование, женился и Гистаман стала бабушкой.

Не рассказал Бедел своей соседке и о гибели своего сына на фронте.

— И вы больше не виделись с первой женой? — спросила Александра Ивановна.

— К сожалению, нет, — ответил он. — После войны я написал Гистаман письмо. Спросил, не будет ли она возражать, если я приеду на несколько дней к внукам, окажу им посильную помощь. Но она прислала такой ответ, от которого мне стало холодно.

— Обидели вы ее, Бедел Исаевич.

— Поздно, Шурочка, об этом теперь говорить. Дело прошлое...

Но именно это прошлое дело и мучало. Бедел, теперь оставшись одиноким, часто вспоминал то покойную Гуар, то первого друга своей жизни Гистаман, ругал себя в душе за обиды, когда-то нанесенные им. Сейчас больше, чем когда-либо, у старика появилась потребность видеть около себя близких людей.

...После проливных дождей на дворе стояла тихая ясная погода. В окно заглядывали косые лучи заходившего за горы солнца. Бедел взглянул в окно, встал с кровати, оделся и с палочкой в руке вышел на улицу. Здесь, у калитки, он столкнулся с тремя девушками.

— Дяденька, вы не скажете, кто здесь сдает комнату? — спросила студентка в бордовом демисезонном пальто и теплом платке.

Бедел посмотрел на нее и ахнул. «Что за чудо!» — сказал он про себя. Ему показалось, что перед ним сейчас стоит не студентка в бордовом пальто, а подруга его молодости, застенчиво улыбающаяся Гистаман.

— Комнату, говорите, ищите? — сказал старик, не сводя глаз с девушки. — Я уступаю вам, у меня лишняя площадь.

Когда студентки поселились у Бедела, он все чаще стал поглядывать на девушку, так удивительно похожую на Гистаман.

— Тебя как зовут, дочка? — спросил он.

— Роза.

— Из каких краев?

Она назвала свой аул. Бедел хотел еще что-то спросить, но у него вдруг задрожали губы. Немного успокоившись, старик закурил и спросил:

— Кто твои родители, может быть, я их знаю?

— Может быть и знаете, — ответила Роза и назвала свою фамилию.

— «Девичья фамилия Гистаман» — вспомнил старик и почувствовал, что на его глаза набегают слезы. Он отошел в сторону, вынул из кармана платок, вытер лицо.

— У меня нет отца, — продолжала говорить девушка. — Его убили на войне. Мать вышла замуж за другого. А меня воспитала бабушка. Она такая хорошая у нас. Вот ее карточка.

Роза открыла книгу, вынула большую фотокарточку и протянула Беделу.

С фотографии на старика смотрела старая женщина. На ее груди было несколько орденов и медалей.

— Заслуженная она у меня, — с гордостью произнесла Роза.

— Да, заслуженная, — еле произнес Бедел.

Он хотел назвать себя, обнять внучку, расцеловать ее, но тут Роза сказала такое, что больно отозвалось в сердце старика.

— Только счастья не было у бабушки. Муж обидел ее, бросил и завел себе какую-то любовницу.

Бедел еле держался на ногах.

— И ты не знаешь своего дедушку? — с трудом спросил Бедел.

— Зачем он мне! Разве такого человека можно называть дедушкой?

Старик, хромя, ушел в свою комнату и повалился на кровать.

— Вам плохо? Вы больны, Бедел Исаевич? — спросила Роза.

— Нет, нет, я так... нога заболела, иди учи свои уроки.

Когда Роза села за уроки, старик прикрыл голову пуховой подушкой и тихо заплакал. «Моя милая внучка, что бы ты сказала, если бы я открылся тебе?» — думал он.

После этого разговора Бедел несколько раз намеревался объяснить с внучкой, но каждый раз, как только он встречался с ее глазами, к его горлу подступал какой-то комок и он с болью в сердце отходил от Розы.

В один из теплых дней, когда Бедел отдыхал на бульваре, Александра Ивановна окликнула студенток.

— Девушки, к вам гости!

У ворот дома стояла женщина с тяжелым чемоданом.

— Бабушка, родная! — Роза бросилась к Гистаман.

— С трудом нашла тебя, дочка! — сказала Гистаман, целуя внучку. — Ну, как устроилась?

— Очень хорошо, видишь, какая большая квартира.

Гистаман оглядывалась вокруг.

— О-о, богатые, видать, у вас хозяева, — сказала она.

— Нет, бабушка, у нас только один хозяин, старый, больной. Мне очень жалко его. Если ты увидишь его, и ты пожалеешь...

Слушая внучку, Гистаман случайно увидела портрет, висевший над кроватью, и у нее дрогнуло сердце.

— Постой, постой... — Она подошла ближе к кровати, всмотрелась в портрет.

«Бедел!» чуть не крикнула Гистаман. Потом, строго посмотрев на внучку, спросила:

— Кто тебя привел в этот дом?

Роза недоуменно посмотрела на бабушку.

— А что?..

— Забирай свои вещи! — приказала старуха.

Студентки удивились.

— Может быть, и нам надо уйти? — спросили девушки.

— Нет, вы можете оставаться, а ей нельзя, — ответила Гистаман, потирая плечо внучку.

Роза привыкла беспрекословно повиноваться бабушке. Она быстро собрала свои вещи.

– Надо рассчитаться за квартиру, – тихо сказала Роза.

Гистаман вынула из кармана деньги, спросила, сколько положено, отсчитала и положила на стол. Уходя из дома, она тепло попрощалась со студентками, у выхода встретила Александру Ивановну, поблагодарила ее за внимание.

– Вы уходите? – удивилась Александра Ивановна.

– Да, ей здесь не место! – ответила Гистаман.

В это время, припадая на левую ногу, во двор вошел Бедел.

– Гистаман! – чуть ли не крикнул он и схватился за голову.

Старуха отвернулась от Бедела, взяла внучку за руку.

– Пойдем!

Бедел с трудом протянул руку и умоляюще произнес:

– Гистаман, пожалей, видишь, какой я!

Она не обернулась. В глазах у него потемнело, голова закружилась. Бедел как подкошенный упал посреди двора.

– Ой! – крикнула Александра Ивановна, бросившись на помощь к старику.

Услышав крик, Гистаман остановилась. На минуту она вспомнила дни своей молодости, в ее ушах прозвучали звуки пастушеской свирели и по морщинистым щекам покатались слезы. Гистаман поставила чемодан и бросилась на помощь к своему мужу.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Она шла по пыльной дороге, не слыша сигналов обгоняющих машин, безразлично глядя на окружающие поля, сады, виноградники, нефтяные вышки и отары овец, спускающиеся с гор. На ее, еще не старом смуглом лице, вокруг заплаканных глаз сгустились морщины. Женщина

вышла из аула ранним утром и решила пешком добраться до города. Мимо проходили автобусы, колхозные подводы, которые могли бы подвезти ее. Но Майсарат в этот день хотела быть одна. Она избегала даже взглядов встречающих людей.

Время уже было за полдень, когда на горизонте показалась окраина города. «Куда я пойду, кто меня приютит в этом незнакомом городе?..» — подумала Майсарат. Она остановилась. В стороне от дороги росло одинокое дерево. Майсарат подошла к нему, опустила на выгоревшую под палящими лучами солнца землю свой небольшой узел.

Она очень устала, и кто знает — удастся ли ей найти ночлег. Лучше днем отдохнуть, поспать. Так думала Майсарат.

Но уснуть она не смогла. Немного отдохнув в тени дерева, женщина продолжала свой путь. Чем ближе к городу, тем больше людей встречалось на дороге. Майсарат старалась не смотреть на них. То и дело она поправляла на голове черный платок, пытаясь спрятать свои седеющие волосы то ли от глаз прохожих, то ли от косых лучей уходящего за горы вечернего солнца.

Вот и город. Внимание Майсарат привлек к себе небольшой домик под красной черепицей, обсаженный со всех сторон пирамидальными тополями. Около дома играли дети. Майсарат машинально остановилась около них. Ее одолевала жажда.

— Детки, кто мне принесет воды попить? — сказала она на даргинском языке и опустилась на скамейку.

— Тетенька, мы вас не понимаем, — отозвался русский паренек с мячиком в руке.

— А я понимаю, — заявил смуглый мальчишка, стоявший немного в стороне, — посидите, я сейчас.

И он вбежал во двор нового дома. Через минуту мальчик вынес кружку с водой, а вслед за ним вышла молодая женщина, неся грудного ребенка на руках. Это была его мать Бурлият.

— Баркалла, спасибо, сынок, — поблагодарила Майсарат, взглянув на мальчика, чьи кругленькие черные глаза

за малейшие провинности. Майсарат заставляла Расула выполнять непосильную работу, вынудила его бросить школу. На зиму дети остались без обуви. Маленький Магомед бегал босиком на улице, заболел, слег.

— Мама, я схожу за доктором, — сказал Расул, с жалостью посмотрев на ослабевшего брата.

— Какая я тебе мама, — оборвала она. — Сиди дома. Не умрет!

Магомеду с каждым днем становилось все хуже и хуже. И когда Расул, вопреки приказаниям мачехи, все же привел врача, то было уже поздно. Мальчик умер.

Вот почему Расул хотел крикнуть: «неправда!», когда Майсарат говорила, что отдала детей в детский дом. Не в детский дом, а в могилу загнала она Магомеда. Потом мачеха вновь вышла замуж, а Расула попросту выгнала из дому.

Как сейчас помнит Расул тот мрачный, дождливый день. В старых коротеньких штанишках и рваных ботинках, которые насквозь пропускали воду, с куском черствого хлеба в кармане и без единой копейки он вышел из аула, намереваясь пойти к тете в соседнее селение. Но на полпути мальчик, рассудив, что и в доме тети он будет лишним, возвратился в свой аул и направился в сельский Совет. Здесь он попросил направить его в детский дом. Председатель сельсовета, женщина средних лет, Патимат Адамова, недавно получившая извещение о смерти мужа, пожалела сироту.

— Живи у меня, сынок, — предложила она. — Семья у меня небольшая, я да дочь. Думаю, что неплохо будет тебе.

Действительно, Расулу хорошо жилось у Адамовой. Но мальчику не хотелось быть ей в тягость и он все же настоял, чтобы его направили в детский дом.

И вот Расул — воспитанник детского дома. Потом началась учеба в школе фабрично-заводского ученичества, работа на нефтяных промыслах. За эти годы Расул вырос, возмужал, стал отцом семейства, выстроил с помощью го-

сударства дом, вырастил сад. И сейчас, правда случайно, но именно в его доме очутилась несчастная Майсарат.

— Аллах наказал меня, — говорила Майсарат сквозь слезы, — кому я теперь нужна?

В это время загорелась электрическая лампочка и Майсарат вздрогнула. Чьи это глаза так впились в ее изможденное лицо? Что это за взгляд, так напугавший бездомную женщину?

— Не узнаете? — спросил Расул, еле сдерживая себя. Майсарат приподнялась, прижала руку ко лбу и подошла поближе к Расулу. «Вай, аллах, не чудо ли это? — прошептала она, потом еще пристальней посмотрела на мужчину и вдруг закричала:

— Расул!

Майсарат упала к его ногам.

— Убей меня, Расул, я виновата перед аллахом и перед тобой, я не могу ничем искупить свою вину.

Ни Расул, ни Бурлият не могли вымолвить ни слова. Они слышали вопли жалкой, обиженной судьбой женщины и смотрели друг на друга. Расул вновь невольно стал припоминать жестокости мачехи, смерть брата, и то дождливое утро, когда Майсарат выгнала его из дому, но сейчас перед ним была старая, больная женщина, которую когда-то любил его родной отец, женщина, оскорбленная, обиженная нечестным человеком.

— Ради аллаха простите меня! — сказала Майсарат. Она встала, еле держась на ногах, подняла узел. — Спасибо вам за ужин, я недостойна вашего внимания.

Майсарат медленно вышла за ворота. Бурлият подняла на Расула глаза.

— Несчастливая женщина, куда она пойдет?

«Да, куда она пойдет, глядя на ночь», — подумал Расул. Он хотел крикнуть: «Мама!», но не смог. Язык не повернулся назвать ее так. Тогда Расул побежал за Майсарат, догнал и взял из ее рук узел.

— Я вас не пущу. У нас дом большой. Живите с нами.

ГЮЛЬБООР

В это январское утро в Дербенте было по-весеннему тепло. На востоке, над синим Каспием, поднимался тёмно-красный диск солнца и его лучи падали на зеркальную поверхность воды. Люди, прибывшие на виноградники, радовались теплу январского солнца. И это прибавляло им бодрости.

Спорилась работа на участке звена Героя социалистического труда Гюльбоор Давыдовой. Не уступали друг другу в работе семидесятилетний подрезчик лоз Исак Мелихов и молодой перекопщик Шамаил Шамаилов, старательно трудились пожилые колхозницы и юные девушки.

К концу подходила подрезка лоз. Тщательно осматривал каждый куст опытный виноградарь Исак Мелихов, «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — повторял он много раз народную поговорку. В этот день ему действительно приходилось по семь раз отмерять каждую лозу. Участок состоял из молодых кустов, и у старика временами закрадывалось сомнение — достаточное ли количество глазков он оставляет на лозах.

— Гюльбоор, можешь ли ты подойти сюда? — спросил старик.

Гюльбоор Давыдова работала с поливальщиками. Услышав, что ее зовут, она поправила на голове большой тёплый платок и поспешила к Мелихову.

— Ты извини меня, Гюльбоор, что я отрываю тебя от работы.

— Что вы, Исак, говорите, чем я могу быть полезной? — и она посмотрела на старика, на его большую седую бороду.

— Вот на этой лозе, — сказал Мелихов, указывая на молодой куст «Нармы», — мне кажется, надо оставить побольше глазков, она сильная, не правда ли? Как ты советуешь?

Не первый раз опытный виноградарь обращался за советом к звеньевой. Гюльбоор давно знала Мелихова как умного, добросовестного и знающего свое дело человека. И от того, что такой специалист виноградного дела считается с ее мнением, обращается к ней за советом, она почувствовала в душе радостное волнение. В эту минуту ей невольно вспомнились первые дни колхозной жизни.

...Было начало 1928 года. До середины марта держались холода. Во второй половине месяца пошел снег. Он падал большими хлопьями на плоские крыши саманных домиков селения Хошмензиль. В одном из таких домиков, на глиняном полу, около железной самодельной плиты, на корточках сидела смуглая женщина. Она по-мужски резкими движениями перебирала дрова. Это была молодая вдова Гюльбоор Давыдова. Рядом с ней сидели ее сыновья – восьмилетний Рувин и пятилетний Давид.

– Потерпите, детки, еще немного и будет тепло, – говорила Гюльбоор, – скоро согреется чай...

В эту минуту открылась низенькая дверь. Впуская в комнату холодный воздух, вошла соседка Милько.

– Доброе утро, Гюльбоор, а я думала, что ты уже ушла.

– Утро доброе, Милько, – ответила Давыдова, – пройди в комнату, садись. Куда мне идти в такой холод? Разве пойти в лесхоз, попросить какую-нибудь работу?

Милько, не снимая латаных остроносых калош, проговорила:

– Разве ты ничего не знаешь? Ведь у нас в Хошмензиле организовался колхоз.

– Колхоз? – переспросила Гюльбоор, что-то припоминая. Она слышала о том, что в соседнем селении уже второй год крестьяне работают сообща и от этого много выиграли бедняки. Но о колхозе в Хошмензиле еще не знала.

Обрадованная вестью об организации артели в родном ауле, Гюльбоор чуть не забыла о чае, о завтраке детям. Она быстро встала и собралась было идти. Ее остановил младший сын.

– Мама, а кушать будем?

– Ой, сейчас, сынок.

Накормив и напоив детей, Гюльбоор вместе со своей соседкой направилась в правление вновь организованного колхоза «Новая жизнь».

– Вот радость нам, вдовушкам! Теперь не будем искать работы, вступим в колхоз и будем трудиться сообща, – говорила Гюльбоор.

Женщины не шли, а почти бежали по неровным, узким закоулкам села, преодолевая глубокие сугробы. Их охватило радостное волнение. Но в правлении колхоза их ожидало горькое разочарование. Ягуда, первый председатель сельхозартели «Новая жизнь», заявил:

– Мы женщин пока не можем принять.

– Что вы, Ягуда, опомнитесь, – чуть не заплакала Гюльбоор. – У нас дети...

– Но мы, мужчины, не обязаны работать на вас. Вы не сможете поспевать за нами. А доход придется делить поровну...

Женщины опустили головы. Гюльбоор не могла вымолвить ни слова, будто язык отнялся. Про себя она думала: «Разве я виновата, что родилась женщиной?» Перед глазами одна за другой пробежали картины безрадостного детства, сиротской жизни, тяжелой, изнурительной работы у кулаков.

Не стерпела Гюльбоор. Высоко подняв голову, посмотрела она на председателя колхоза и спросила:

– Это ваше решение о женщинах или сверху есть приказ?

– Никакого приказа. Колхоз создали мы. Это наше решение.

– Ну, это мы еще посмотрим! – кинула Гюльбоор. Женщины вышли из конторы, не попрощавшись с председателем.

Ни отказ в приеме в колхоз, ни оскорбительные высказывания председателя о женщинах не обескуражили Давыдову. «Мы создадим свой колхоз», – решила она.

И однажды в маленькой сакле Гюльбоор Давыдовой собрались 14 женщин. Сидели они вдоль стен на земляном полу, застланном серым старым паласом. Все женщины были вдовами — у одних мужья не вернулись с фронта первой мировой войны, у других погибли во время гражданской войны, у третьих, как у Давыдовой, умерли дома. Женщины решили организовать артель и попросить райисполком выделить им землю. Свой колхоз они решили назвать «Красный батрак».

...В начале апреля, когда весеннее солнце манило людей на волк, многие жители селения Хошмензиль были удивлены необычным зрелищем. С рассветом над аулом пронеслись звуки веселой жизнерадостной песни. Пели женщины громко, задорно, как на свадьбе. Нет, это не свадьба была в Хошмензиле. Это группа женщин, объединенных в сельхозартель «Красный батрак» под руководством Гюльбоор Давыдовой, направлялась на работу. Впереди шла пожилая женщина с красной парчой в руках, а рядом с нею молодая крестьянка играла на бубне. Гюльбоор, подзадоривая подруг, запевала все новые и новые песни.

— Бабы с ума сошли! — говорили старики, наблюдавшие за шествием.

— Выйдет ли из этой затеи что-либо? — сомневались другие.

Не долго пришлось сомневаться маловерам. Через несколько дней по аулам Хошмензильского сельсовета прошла молва о том, что четырнадцать женщин, объединившиеся в колхоз, в сжатые сроки и по всем правилам засеяли свои поля и готовы оказать помощь отстающему соседнему колхозу.

Весть эта дошла до людей через председателя сельсовета. Однажды он решил побывать на колхозных полях. Ознакомившись сначала с тем, как идут дела в колхозе «Новая жизнь», он пригласил с собой председателя сельхозартели Ягуда и вместе с ним направился на участок колхоза «Красный батрак». Они шли вдоль быстрой и извилистой речки «Рубас-чай», разделявшей пахотные

земли двух колхозов. С запада, со стороны табасаранских гор, дул свежий ветер. Председатель сельсовета, пожилой, высокий мужчина с черными усами, всю дорогу молчал.

— Посмотри, Ягуда, это не они ли за речкой?

— Видать, они, — нехотя ответил Ягуда.

Перебравшись вброд на противоположный берег «Рубас-чая», они увидели женщин.

Председатель испытующе посмотрел на Ягуду.

— Да, — произнес Ягуда. — Видно, ошибку допустил.

— Еще не поздно исправить ее.

Мужчины подошли к женщинам, поздоровались и пожелали успехов в работе.

— Горжусь вами! — сказал Давыдовой председатель сельсовета.

Гюльбоор немного смутилась. А ее подруга Милько крикнула:

— Мы еще посоревнуемся с колхозом «Новая жизнь»!

— Боюсь, что не придется, — ответил председатель сельсовета.

И действительно не пришлось. Возвратившись в селение, Ягуда собрал членов правления колхоза, рассказал о дружных и трудолюбивых женщинах и предложил пригласить их в свой колхоз. Слияние колхозов состоялось через несколько месяцев после снятия урожая. Это был большой праздник в селении Хошмензиль.

...Теперь, вспоминая эти дни, Давыдова часто говорит: «Вот как меняется жизнь!».

— Гюльбоор, — снова обратился к звеньевой старик Мелихов. — Не подумай обо мне плохо, я ценю тебя, хотя ты и моложе меня. Это дурные люди не видят в женщине силу.

— Спасибо, Исак, — произнесла тихо Гюльбоор.

И они вместе решили, сколько оставить глазков на молодом виноградном кусте, как лучше сделать подрезку.

Дружно работало звено Давыдовой в этом году. Урожаю угрожала большая опасность. Суровая зима, сильные морозы не могли не принести вред виноградникам. И Гюльбоор Давыдова была встревожена не меньше,

чем все члены ее звена. Но никто не растерялся. Обсудив положение, они быстро приняли меры к спасению виноградных кустов. Поочередно дежуря в садах, колхозники зажигали костры из соломы и навоза и обогревали виноградники. Долго длилась зима. Безустали работали колхозники и в борьбе с суровыми силами природы вышли победителями: сады были спасены.

Гюльбоор горячо благодарила своих товарищей за самоотверженный труд.

— А теперь, — говорила она, — надо ухаживать за садами и получить высокий урожай.

Виноградари вырастили богатый урожай. С каждого гектара звено собрало по 190 центнеров добротного винограда.

...В колхозном клубе состоялось собрание. На трибуну поднялась плотная, среднего роста, пожилая женщина. На ее груди сверкали Орден Ленина, Золотая Звезда, депутатский значок и недавно полученная золотая медаль участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Это была Гюльбоор — женщина смелой мысли и непреклонной воли.

ЖЕНЩИНА ИЗ АУЛА КУЛИ

Девушки, посмотрите, кто едет! — радостно воскликнула Патимат Магомедова.

По узкой и извилистой тропинке, с горы, покрытой высокой сочной травой, верхом на лошади спускалась к молочно-товарной ферме бригадир Мимунат Базаева. Она возвращалась из Москвы, с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и работники фермы ждали ее с нетерпением. Соскучившись по работе и подругам, Муминат и сама спешила на ферму, подгоняя лошадь каблуками сапог и плетью.

Стоял солнечный день августа. Второй раз за день подоив коров, девушки отдыхали на лужайке. Увидев подругу, они дружно вскочили и побежали ей навстречу. Как только Базаева подъехала, девушки окружили ее, подхватили и сняли с лошади. Они поочередно обнимали и целовали бригадира, наперебой расспрашивали о поездке.

— Расскажи, Муминат, что ты видела в Москве, все расскажи, — попросила доярка Габибат Абдуллаева, оглядывая новое цветастое платье, которое плотно облегалo высокую, статную фигуру Муминат.

— Все расскажу, дайте только отдышаться, — ответила Базаева, улыбаясь.

— Должно быть, интересно на выставке? — спросила доярка Магомедова, когда девушки расселись на траве.

— Да, очень интересно! — сказала Муминат.

Она подробно передала собравшимся, что видела и слышала на выставке, рассказала о доярках, научившихся умело ухаживать за коровами и получать по три-четыре тысячи литров молока в год от каждой коровы.

— Вот что я вам скажу, девушки: нам надо учиться у наших русских сестер, и мы тогда сможем поднять продуктивность своих коров. А то куда это годится — пятьсот литров от коровы. Наша Патимат Магомедова в прошлом году и того меньше получила.

Молодая, девятнадцатилетняя Патимат вспыхнула, как спичка.

— Упрекать легче всего, труднее дело делать!.. скороговоркой проговорила она.

— А я в твоём возрасте не так рассуждала, — спокойно возразила Муминат.

Базаева вспомнила грозный 1941 год. Ей тогда было всего восемнадцать лет. Шла Великая Отечественная война. Многие дагестанские чабаны, оставив отары овец, пошли на фронт защищать Родину, в колхозе имени Гаруна Саидова остались женщины, старики и подростки. Приближалась осень, отары овец готовились к откочевке на зимние пастбища в далекий Бакрес. Кто сопровождает отары за сотни километров, кто будет их там пасти?

На смену своим отцам, братьям и мужьям встали женщины и девушки большого аула Кули. Одной из первых пришла в правление колхоза Муминат Базаева.

— Пошлите меня в Бакрес, я буду работать чабаном! — смело заявила девушка.

— А ты хорошо подумала? — спросил председатель колхоза, сухощавый, коренастый горец. — Ведь чабанская работа тяжелая, у нас еще не было случая, чтобы женщина работала чабаном.

Муминат, не задумываясь, ответила:

— Знаю. не подведу, не беспокойтесь...

Вскоре с высоких альпийских лугов стали спускаться отары овец. За большой отарой в 800 голов шла краснощекая, черноокая девушка в коротенькой, до пояса, белой овчине с длинными рукавами. Это была Муминат. Она держала в руке тяжелую ярлыгу. Благополучно пригнав отары на зимние пастбища, она начала осваивать непривычную для нее профессию, привыкать к труду и жизни в бескрайней степи, вдали от родного очага.

Тяжело было в первое время. Там, в ауле, остались мать и родные. Муминат часто вспоминала школьных подруг, вечера в колхозном клубе, коллективное заучивание стихов, вспоминала и сельского избача, высокого, сухопарого парня, ушедшего на войну. Муминат пришлось перенести немало трудностей. Зима была холодная, снежная, пастбища покрылись ледяной коркой, по степи гулял сильный, пронизывающий ветер. За овцами нужен был зоркий глаз. Необходимо было следить, чтобы животные были накормлены, напоены, чтобы они не падали, не ломали ноги.

Однажды Муминат, находясь в степи, была сильно встревожена. Было это в конце зимы. Овцы разбрелись по широкой степи. Погода стояла теплая, тихая. Вдруг с юга поплыли черные тучи, закрыли небосвод, поднялся стремительный ветер и кругом стало темно.

— Вай, мамочка! — крикнула Муминат, с ужасом заметив, как кидает ветер беспомощных животных в разные стороны.

В первые минуты она растерялась. Потом, видя, как далеко разбрелась отара, опомнилась и крикнула своему помощнику:

– Яа-да, беги, прегради им путь, верни назад овец!

И сама устремилаь наперерез разбегающимся животным.

– Что я буду делать, если пропадут овцы! – с ужасом думала девушка. Муминат сама не заметила, откуда у нее появились в эти минуты силы, выдержка и уменье. Усталая и промокшая, она обогнала отару и преградила путь животным. Храбрым и сильным оказался и ее маленький помощник. Уставшие, измученные, они с трудом собрали отару. К этому моменту на помощь прискакали на лошадях заведующий фермой и старший чабан.

– Молодец, Муминат, спасибо тебе, мы не надеялись, что отара будет спасена.

Когда пришла весна и чабаны собрались в горы, отара Муминат Базаевой уже насчитывала 1600 овец. На каждые сто маток она получила по сто ягнят, всех сохранила, всех вырастила.

– Поздравляем тебя, Муминат, с успехом, ты оказалась молодчиной! – говорили подруги из аула, которые вышли встречать отары, возвращающиеся с зимних пастбищ.

– Что вы, девушки, что вы, – смущалась Муминат. – Хвалиться мне нечем...

По пути на летние пастбища девушка-чабан на несколько дней остановилась в ауле, побывала у родителей, встретила с подругами. Лето она провела в горах, а осенью опять спустилась в степи.

В 1945 году отгремели оружейные залпы, и защитники Родины возвращались с победой в свои родные города и села. Муминат Базаева энергично взялась за новое дело. Теперь уже она работала неподалеку от аула, дояркой на ферме, а вскоре стала и бригадиром. Ее бригада последние годы занимала первое место в колхозе. Базаеву утвердили участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и летом 1955 года она побывала в Москве.

— Я видела на выставке не одну доярку, получающую в среднем от каждой фуражной коровы по три-четыре тысячи литров молока, — сказала Муминат в беседе с работниками фермы. — Но там, на выставке, были представлены и хозяйства, добившиеся еще лучших результатов.

Она рассказала о животноводах из совхоза «Тростянец» Черниговской области, которые получили по шесть и восемь тысяч литров от каждой фуражной коровы.

— Это правда? — с удивлением спросили доярки.

— Правда, правда! — ответила Муминат. — И надо сказать, что у того совхоза очень мало естественных лугов и пастбищ. Там хорошо организован зеленый конвейер, чего у нас еще нет.

Беседа бригадира заинтересовала работников фермы. Они попросили побольше рассказать им о Москве, о сельскохозяйственной выставке, о методах работы лучших животноводов.

Муминат выступала не только перед доярками своего колхоза. Беседу участницы сельскохозяйственной выставки с огромным интересом слушали на всех фермах, разбросанных в горах и ущельях.

Простые слова Базаевой хорошо доходили до сознания колхозников. Многие доярки, телятницы и пастухи зажигались стремлением перенять передовой опыт. По-иному стала относиться к делу и молодая доярка Магомедова. Она давно перестала обижаться на бригадира. Следуя советам Базаевой, девушка улучшила уход за животными, усилила их кормление, научилась хорошо доить. Все это не могло не дать своих результатов.

— Ну, как теперь? — спросила Муминат, обращаясь к Магомедовой. — Кто был прав?

— Прости меня, Муминат, ты была права, — искренне ответила Патимат и опустила голову.

— Дорогая, — сказала Муминат. — Это только начало. Работа впереди, нам еще многое надо сделать.

— С тобой, Муминат, нам ничего не страшно, мы перевернем вот эти горы. — Магомедова бросила взгляд в сторону высоких гор, вершины которых окутывали густые, белые облака.

...Пришла осень, но погода еще стояла теплая. Солнце грело, как в летние дни. Около фермы собрались девушки в летних разноцветных платьях. Они обступили со всех сторон лошадь, на которой молодецки сидела Базаева. Она собралась ехать в район на партийную конференцию, куда ее единодушно избрала партийная организация колхоза.

– Не скучайте, девушки, я скоро приеду, – улыбаясь, сказала Муминат.

– За нас не беспокойся, дорогая, – заявили в один голос доярки. – Передай от нас делегатам сердечный привет. И еще передай, что доярки нашей бригады сдержали свое слово, перевыполнили свои обязательства. От нашего имени выступи и скажи, что в новом году будем работать еще лучше.

Доярки и телятницы одна за другой подошли поближе к Базаевой и сердечно попрощались с ней. Пообещав подругам выполнить их просьбу, Муминат тронулась в путь. А девушки еще долго стояли около фермы, глядя как лошадь Базаевой легко взбирается по узкой тропинке на высокую гору.

– В добрый путь!

РУССКАЯ СЕСТРА

Поздней октябрьской ночью в горном аварском ауле Кутиша молодая русская женщина баюкала грудного младенца. Тяжелой была эта ночь для Нины Гордиенко. Часто просыпался ребенок, капризничал. Сон одолевал молодую мать. Внезапно за окном послышались голоса. Разговаривали женщины на аварском языке. Речь шла о каком-то несчастном случае. «Боже мой! Что это?..» – подумала Гордиенко, немного понимающая аварский язык.

В окно осторожно постучали.

– Яц^{*} ... сестра... Нина Сергеевна!

Нина Гордиенко соскочила с кровати, быстро надела халат, открыла дверь.

– Войди те, что случилось?

– Яц, дооогая, спасай, умирает человек...

Вскоре по узким каменистым улицам аула, расположенного на склоне горы, Нина спешила к дому колхозницы Кураматини Амиралиевой.

Держась обеими руками за живот, больная кричала и извивалась. Но, увидев Нину Сергеевну в белом халате, Амиралиева притихла, умоляюще взглянула на нее. Осмотрев больную, Гордиенко установила, что она нечаянно отравилась, и тут же приняла срочные меры. Вскоре Амиралиевой стало легче. Она горячо благодарила свою спасительницу, просила ее идти отдыхать, не беспокоиться больше. Но Гордиенко не уходила.

Нина Сергеевна пробыла у больной до десяти часов утра, пока у той окончательно не прекратились боли. За ночь она осунулась, побледнела. Но Нина Сергеевна была счастлива, что спасла жизнь человека.

– Это не первый случай в практике нашей фельдшерницы, – тепло отзывается о Нине Гордиенко секретарь партийной организации Г. Магомедов. – Сколько жизней она здесь спасла, сколько родов приняла. Теперь ее все уважают. А ведь поначалу, когда она только приехала, многие не признавали ее, больше верили старой бабке Хадиджат Омаровой, Но Нина Сергеевна оказалась человеком, знающим свое дело, и вскоре завоевала симпатии горцев. Мы еще хорошо помним приезд Нины Гордиенко в наш аул.

Это было в августе 1949 года. После окончания Орджоникидзеvской фельдшерско-акушерской школы в аул Кутиша приехала работать молодая акушерка Нина

* Яц – сестра (аварский язык).

Гордиенко. Тепло встретили ее сельские активисты, позаботился о бытовом устройстве нового работника и сельский Совет. В центре аула, в отдельном дворе, была выделена комната под медицинский пункт. Но больные туда не шли. Бывало, фельдшерица целыми днями сидит на балконе, то читая книги, то любуясь окружающими аул горами. В эти минуты девушка вспоминала школу, родную мать, оставшуюся в Буденновске. А однажды ею до того овладела тоска, что Нина подумала: «Не уехать ли отсюда?» Но тут же она опомнилась, поборолла мгновенную слабость и решила действовать активнее.

Узнав от санитарки, что в ауле имеются беременные женщины, Гордиенко стала посещать их, предлагать свои услуги, давать советы. Ее принимали с почтением, слушали при помощи переводчицы, обещали пользоваться ее услугами. Но, когда наступало время родов, приглашали не Нину Сергеевну, а старую бабку Хадижат.

— Что же это такое? — возмутилась Гордиенко, встретив однажды председателя сельсовета и секретаря партийной организации. — Зачем я сюда приехала, за что зарплату получаю! И как можно в наши дни позволять бабкам калечить людей!

— Бабку в ауле знают, — в раздумьи проговорил председатель сельсовета, — а вас еще нет...

Секретарь партийной организации постарался успокоить девушку:

— Скоро у вас пойдут дела куда лучше. Вы ведь были у директора детдома Магомедова?

— Нет, не была, — ответила Нина.

Секретарь удивился:

— Сходите сейчас же!

Оказалось, что жена Магомедова — Хадижат была в положении, и муж неоднократно предлагал ей сходить на консультацию к Гордиенко. Но Хадижат, как и многие другие женщины, находившиеся под влиянием бабок, не

решалась идти в медпункт. Нина направилась в дом Магомедовых, будучи уверена, что эта семья не откажется от ее услуг.

Вежливо приняла молодую акушерку Хадижат Магомедова.

— Заходите, садитесь с нами чай пить, — предложила она.

— А почему вы не приходите на консультацию? — спросила Нина.

Хадижат уклонилась от ответа. «Стоит ли доверять свою жизнь и жизнь ребенка этой молодой фельдшернице? — думала она. — Старая бабка Хадижат, хотя и неучена, но у нее большой опыт». С другой стороны, Магомедова понимала, что не к лицу ей, грамотной женщине, супруге директора детского дома, находиться в плену старых предрассудков и отдавать предпочтение бабке. Взглянув на Гордиенко, Хадижат сказала:

— Не сердитесь на меня, буду ходить...

И правда, она стала посещать молодую акушерку. Ее роды были первым испытанием Нины. Они прошли благополучно, хотя были тяжелыми. Хадижат родила двух девочек.

Благополучный исход родов у Магомедовой рассеял сомнения многих аульных женщин, с недоверием относившихся к Гордиенко. С ней стали считаться, начали ходить за советом и помощью. Но все же оставались еще люди, предпочитавшие помощь бабки Хадижат. И тут-то произошло неожиданное.

Стояла зимняя ночь. Аул и окружающие его горы были окутаны густым морозящим туманом. В маленькой, но чистой и уютной комнате медпункта Нина Гордиенко с помощью санитарки изучала аварский язык. В эти минуты с улицы донеслись крики женщин, плач детей.

– Вай, что случилось! – перепугалась санитарка и побежала на улицу. Собралась выйти и Нина Сергеевна, но в медпункт с плачем ворвались женщины.

– Сестра, дорогая, иди скорей, тебя зовет бабка Хадижат!

Нина Сергеевна недоумевающе глянула на женщин и спросила:

– Меня? Бабка Хадижат?

Санитарка пояснила. Рождает дочка бабки Хадижат. Но произошло что-то опасное, и она растерялась, просит помощи.

Гордиенко не стала дослушивать, быстро оделась, взяла инструменты и помчалась к дому роженицы. Когда молодая акушерка прибыла на место, роженица уже теряла сознание. Бабка Хадижат рвала на себе волосы. Заполнившие комнату женщины плакали.

Спасай, русская сестра, спасай ради аллаха! – умоляли женщины.

Осмотрев роженицу, Нина сразу определила серьезность положения. Не только молодой акушерке, но и опытному врачу пришлось бы подумать, как спасти женщину. Но Гордиенко поняла, что она сейчас должна выдержать большое испытание: выиграть битву с пережитками адатов и спасти жизнь роженицы, поэтому она смело приступила к делу.

– Поближе сюда, будете помогать мне, – коротко бросила Гордиенко санитарке.

В комнате воцарилась тишина. Слышались только приглушенные стоны роженицы. Нина Гордиенко, помня о том, как поступали в таких случаях опытные акушерки в период ее пребывания на практике, стала действовать твердо и уверенно. С затаенным дыханием, со слезами на глазах следили за работой русской сестры молодые и старые аварки. Бабка Хадижат шептала одну молитву за

другой... И когда Нина приняла обоих новорожденных и роженица пришла в себя, все облегченно вздохнули.

— Баркалла, спасибо русской сестре Нине!

Нина Сергеевна закончила работу. Роженица была уложена в постель. Бабка Хадижат собралась было броситься к ногам молодой акушерки.

— Не смейте! — предупредила Нина Сергеевна. Прощаясь с роженицей, Гордиенко сказала:

— Я буду навещать вас.

— Приходи, родная, приходи, дочь моя! — обрадовалась Хадижат.

Этот день был переломным для Нины Гордиенко. Весть о русской сестре, спасшей жизнь молодой аварки и ее младенцев, быстро разнеслась не только по аулу Кутиша, но и за его пределами. Теперь молодой акушерке некогда было скучать; посетителей у нее стало хоть отбавляй.

Вскоре по инициативе Нины Гордиенко в ауле был открыт родильный дом. Молодая акушерка развернула среди населения санитарную пропаганду: стала часто беседовать с женщинами о достижениях советской медицины, о вреде, который приносит знахарство, о гигиене кормления ребенка. Постепенно горянки стали ходить к Нине Сергеевне не только за медицинскими советами и помощью. Часто они приходили посоветоваться по разным житейским вопросам, поговорить просто так, «по душам». Нередко в чистой, уютной комнате Нины проводила долгие зимние вечера Патимат Нажмутдинова. Как близкого и родного человека ожидала у себя Нину семья Х. Магомедовой. А если в клубе был вечер или демонстрировался кинофильм, Нину Сергеевну всегда можно было увидеть в окружении веселых, жизнерадостных горянок.

— Я так привыкла к этим людям, — говорит Нина Сергеевна о жителях аула Кутиша, — что мне не хочется уезжать отсюда...

Жители аула также считают Гордиенко своим родным, близким человеком.

...Осенью в Кутиша стоял по-летнему солнечный, теплый день. В помещении медпункта Гордиенко принимала больных. А на крыше соседнего дома круглолицая девушка забавляла ребенка Нины Сергеевны, напевая аварскую песенку.

– Видите, – сказал секретарь партийной организации Г. Магомедов. – Это ее ребенок. Любая девушка из аула готова помочь Нине Сергеевне. Вот как укрепляется дружба между людьми.

НАША ХАНУМ

Аул Ая-Махи. Вечереет. Несколько стариков в лохматых папахах сидят возле домов и о чем-то горячо спорят. В это время к ним подходит сельский почтальон, кланяется и, улыбнувшись, протягивает газету.

– Читайте пока не стемнело, гордитесь своей землячкой!

Один из аямахинцев берет из рук почтальона газету, смотрит снимок на первой странице и говорит:

– Ва-а, это же наша Ханум!

Смутлое морщинистое лицо горца и его маленькие глаза под густыми бровями сияют от радости.

– Да, да, это наша Ханум! – повторяет он, – посмотрите на снимок.

Это было в марте 1957 года. В Москве заседал Верховный Совет РСФСР. За столом Президиума, рядом с председателем, сидела женщина преклонных лет, уроженка горного дагестанского аула Ая-Махи Ханум Магомедова. Ее и узнали земляки-горцы.

— Баркалла! — сказал кто-то из стариков. — Ханум заслуженно занимает это почетное место.

Старики хорошо знали Ханум Магомедову. На их глазах прошло горькое, безрадостное детство этой горянки, ее тяжелая жизнь у кулаков, весь извилистый путь от батрачки до заместителя председателя Верховного органа власти Российской Федерации.

...Стоял пасмурный осенний день 1901 года. Густой туман, окутавший горы вокруг аула, опускался все ниже над ущельем. Около горских саклей сидели босые детишки. По ущелью дул пронизывающий сырой ветер. От холода продрогла маленькая Ханум, посинели ее губы. Мать тяжело болела, была прикована к постели, отец находился в поле, а старшей сестре — четырнадцатилетней Хадиже некогда было смотреть за девочкой. За последнее время Ханум не встречала ласкового взгляда окружающих.

Возвратившись в этот день с улицы домой, она услышала напугавший ее необычный плач старшей сестры:

— Мама, мама, на кого ты нас оставила!

Сакля была заполнена соседками. Маленькая Ханум, ничего не понимая, бросилась к матери, но кто-то подхватил ребенка, взял на руки.

Четырехлетней девочкой Ханум лишилась матери. Кроме нее и старшей сестры Хадижи были еще двое детей — трехлетний брат и еще меньшая сестра. Подавленный горем, обремененный заботами, отец долго не решался жениться вторично. «Очень уж неприятные вещи рассказывают о неродных матерях, — говорил Магомед, — кто согласится заменить мать моим четверем детям?» Все же родные и соседи уговорили Магомеда и он женился. В саклю пришла мачеха Муслимат. Она привела с собой трех детей от первого брака.

— Хотя я и была еще маленькой, — вспоминает Ханум Магомедова свое безрадостное детство, — но мачеху хорошо запомнила. В первое время она старалась быть с нами

доброй. Особенно легко дышалось нам, когда отец бывал дома. Но не надолго хватило у Муслимат ласки для неродных детей. Стоило отцу выехать из аула на несколько дней, как все менялось. Мачеха прятала от нас чурек, кричала, била. Больше всего доставалось моей старшей сестре. Она таскала воду с речки, колола дрова, вскапывала огород, стирала белье, нянчила родных детей Муслимат, да мало ли еще чего. Попробуй только слово сказать родным детям мачехи, она тебя и исцарапает, нестерпимо зашипает и палкой побьет.

Несмотря на свою занятость, Магомед часто собирал детей, рассказывал им сказки, водил с собой в поле, забавлял их. А обиды, наносимые мачехой, дети утаивали от отца.

Когда Ханум немного подросла, она стала работать по хозяйству, помогать отцу в поле. Едва девочке исполнилось пятнадцать лет, как свалился в постель и скоропостижно скончался отец. После смерти отца Муслимат заявила детям: «Не могу я содержать вас, у меня и своих хватает. Ищите себе место!»

Они ушли. Старшая сестра вышла замуж, брата забрал к себе дядя, а Ханум с младшей сестрой пошли батрачить.

Работала Ханум у зажиточного горца Алиева. Неграмотная, беззащитная девушка делала все, что приказывал ей хозяин: она успевала доить 12 коров и ухаживать за ними, носить на себе с поля в аул корм для скота, поливать хозяйский огород и стирать белье, по нескольку раз в день носила в медных кувшинах воду из родника. За все это она получала кусок черствого хлеба и чашку хинкала. Ходила она в единственном ситцевом платье, на ногах не было обуви.

Кто знает, что бы было с сиротой, если бы не пришел конец помещичье-капиталистическому строю! Вскоре до Ая-Махи докатилась радостная весть — в России про-

изошла революция, рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки. Поднялись в бой за новую жизнь и горцы. Хотя Ханум и не разбиралась в происходящих событиях, но видела — все бедняки и батраки радуются. Отгремели бои гражданской войны. Окончательно утвердилась Советская власть, принеся свободу народам. В эти дни по многим даргинским аулам прошла молва: в районе Сергокалы (бывшего Дешлагара) безземельным крестьянам раздается помещичья и купеческая земля, государство помогает строить жилые дома, выделяет деньги, стройматериалы. Услышала об этом и молодая Ханум Магомедова. «Не податься ли мне туда, — подумала она, — пускай шайтан заберет хозяина, сколько же я буду работать на него...» И вот Ханум в Сергокале.

Здесь она вышла замуж, стала матерью, родила сына, помогала мужу по хозяйству. Когда в ауле организовался колхоз, семья Магомедовых одной из первых вступила в него.

Шли годы. Рос колхоз. Росли и люди. Приобщались к общественной жизни горянки, многие из них учились, получали образование, выдвигались на руководящие посты. Однажды в осенний вечер в дом Магомедовой, ставшей к тому времени вдовой, пришла женщина по имени Муминат. Она принесла с собой букварь для взрослых.

— Что это? — спросила Ханум.

— Учебник, — ответила Муминат, — принесла для тебя. Будешь учиться?

С этого дня Ханум стала ходить в ликпункт, приобщилась к общественной работе. Теперь женщины Сергокалы часто слушали задушевные беседы Ханум о тяжелой жизни горянок в дореволюционном ауле, о новой жизни в колхозе.

Ханум вторично вышла замуж и у нее уже рос второй сын. Но негладко проходила личная жизнь Ханум. Ока-

завшись в плену религиозных предрассудков, ее муж не разрешал женщине заниматься общественной работой.

– Впредь ты будешь сидеть дома, – сказал он.

– Почему? – спросила Ханум.

– Так велит шариат, – ответил муж.

Но Ханум уже не была той темной, забитой, давленной горем девушкой, какой она приехала из Ая-Махи. Она видела много горя в прошлом и познала радость новой жизни.

Ханум сказала мужу:

– Если тебе это не нравится, я тебя не держу, можешь уходить, куда хочешь!

Связав свою жизнь с родной Коммунистической партией, Ханум Магомедова стала не покладая рук трудиться в колхозе, еще больше общаться с людьми, воспитывать своих детей. В 1940 году жители Сергокалы избрали ее председателем исполкома сельского Совета.

В 1941 году гитлеровские захватчики нарушили мирную жизнь советского народа. Ушел на фронт защищать Родину старший сын Магомедовой – Хасбулла. Известие о гибели любимого сына нанесло матери тяжелую рану. Но она стойко перенесла горе.

В годы войны Ханум снова перешла работать в колхоз. Она возглавила полеводческое звено. В 1947 году звено Магомедовой вырастило рекордный урожай, собрав с каждого гектара по 42 центнера пшеницы. Ханум Магомедовой было присвоено высокое звание Героя Социалистического труда.

В 1951 году трудящиеся Сергокалы выдвинули Магомедову кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР и через некоторое время она стала членом правительства Российской Федерации. Будучи депутатом, Ханум достойно выполняла свои обязанности. С ее помощью сергокалинцы провели четырнадцатикилометровый водопровод. Аул, раньше страдавший от нехватки воды,

теперь стал иметь ее в избытке. Живительную влагу получили колхозные огороды, виноградники, приусадебные участки колхозников. Многие семьи при содействии депутата Магомедовой построили благоустроенные жилые дома, многие дети колхозников уехали на учебу в различные города страны. Когда истек срок полномочия депутатов Верховного Совета РСФСР, народ снова выдвинул Ханум Магомедову. Вот уже на протяжении многих лет Ханум – народный депутат. А с 1954 года она снова на посту председателя Сергокалинского сельсовета.

...Октябрь 1967 года. По одной из улиц Сергокалы мелкими, но быстрыми шагами шла пожилая женщина.

– Не знаете ее? Это наша Ханум, – сказал мой спутник.

Живо ответив на наше приветствие, Ханум сказала:

– Вы, наверно, меня ищете, а я все бегаю.

Пригласив нас в сельсовет, она продолжала свою мысль:

– Население Сергокалы растет, люди обращаются за помощью. Наш долг – помочь. Вот мы и стараемся, чтобы на зиму заготовить дрова, застройщикам помочь материалами. Если буду сидеть в кабинете, толку от меня не будет.

В сельсовет один за другим заходили люди. Одному надо зарегистрировать новорожденного ребенка, другому требуется справка о семейном положении. Всех приветливо принимает Ханум, со всеми ведет душевную беседу. Но кое-кому от нее достается. Как-то один колхозник не поладил с женой, хотел бросить семью. Ханум пригласила его к себе.

– Ты подумал, какой шаг совершаешь? – сказала Ханум. – Ведь у тебя дети и, кажется, сердце бьется в твоей груди.

Горец слушал Ханум и краснел.

– Иди домой и подумай хорошенько.

Мужчина постоял минуту, другую, виновато глядя на Ханум.

– Спасибо, Ханум. Я уже подумал.

И тепло попрощавшись, вышел из сельсовета.

Как родную мать любят Ханум Магомедову все, кто ее знает.

Вот почему аямахинцы, увидев в газете Магомедову за столом Президиума на заседании Верховного Совета РСФСР, с гордостью говорили:

– Ва, это... это же наша Ханум!

ФРОНТОВЫЕ ВСТРЕЧИ ОЧЕРКИ



ФРОНТОВЫЕ ВСТРЕЧИ

В лесах Валдая

Лесная тропа привела меня к землянкам, в которых размещались отделы политуправления фронта. Это было в первые дни мая 1942 года, когда в районе озера Селигер после ожесточенных боев наступило кратковременное затишье. Оставив чемодан и шинель в лесу, около часового, я попросил разрешения и вошел в землянку начальника отдела кадров. Представился, предъявил документы, направление, полученное в Шадринске, где учился на военно-политических курсах. Старший батальонный комиссар усадил меня, разглядел, просмотрел документы и сказал:

— Так, значит, до армии вы были на партийной работе. Куда же вас направить? Ничего подходящего пока нет. Знаете, что, побудьте временно в резерве. А там посмотрим.

...Резерв состоял из группы политработников, ожидавших направления в действующие части и подразделения. Среди них были товарищи, участвовавшие в боях, получившие по несколько ранений и возвратившиеся из госпиталей. Были и такие, как я, еще не нюхавшие пороха войны. Располагались мы в хорошо оборудованной землянке, спали в чистых постелях, три раза в день ходили в столовую, смотрели вечерами кинофильмы. Большой сосновый лес, в котором были оборудованы добротные землянки с деревянными полами, стенами и потолками, напоминал мне в те дни тихий провинциальный городок. Но тишина была относительная. Нет-нет да и прилетали не-

мечкие самолеты, и недалеко от нас раздавались оглушительные взрывы бомб, а вечерами небо горело огромным пожаром.

Рядом с нами находился город Валдай и железнодорожная станция, туда и направляли вражеские летчики свои удары.

А на переднем крае обороны шла артиллерийская перестрелка, лилась человеческая кровь. Сидеть в такой обстановке в резерве совесть не позволяла.

Прошло несколько дней. Я попросил старшего батальонного комиссара принять меня.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Товарищ старший батальонный комиссар, пошлите меня в любое подразделение, на любую должность, — попросил я.

— Та-а-ак, — он исподлобья посмотрел на меня. — Кроме партийной работы, что еще значится в вашей анкете?

— По образованию я инженер-землеустроитель. Плюс к тому писал стихи, пьесы на родном татском языке.

Комиссар вдруг повеселел.

— По-русски тоже пишете?

— Стихи не писал, но...

— Хорошо, хорошо, — перебил он меня. — Я нашел для вас работу. На нашем фронте формируется новая армия. Там будет и своя газета. Вот мы и пошлем вас туда корреспондентом.

Для меня это было неожиданно. Я замялся, не зная, что ответить, ведь никогда не работал в газете.

Тут в землянку вошел высокий русоволосый худой человек с одной шпалой на петлицах.

— Вот кстати и интендант третьего ранга Даниил Фибих. Писатель. Из Москвы. Тоже направляется в редакцию. Вместе и поедете.

Фибих (Лучанинов) протянул мне руку, и когда узнал, что я из Дагестана, сказал:

— Выходит, мы почти земляки. Я бывал в Дагестане, познакомился там с Самурским, написал книгу очерков «Страна гор».

Потом я узнал, что Фибих является автором книги «Апельсиновые гетры» и многих других произведений. С таким человеком приятно было познакомиться, а в особенности работать в одном коллективе. Разговаривая с писателем, я даже забыл о том, смогу ли быть пригодным в редакции, справлюсь ли с обязанностями военного корреспондента.

Тем временем начальник отдела кадров подписал наши документы, вручил и сказал.

— Счастливого пути, желаю успеха!

Встреча с «Бонапартом»

Мы ехали в кузове грузовой машины. Лесная дорога была неровная, разбитая. От липкой грязи после таяния снегов машина делала крутые зигзаги, отчего я несколько раз падал на дно кузова.

— Держитесь крепче, — сказал Фибих. — Фронтальные дороги немного отличаются от московского проспекта имени Горького.

Через несколько часов мы приехали в деревню Лаптево, где располагалась редакция газеты «Родина зовёт». В одной из комнат деревянного домика сидел за столом и чертил макеты полный светловолосый мужчина. Это был ответственный секретарь газеты, старший политрук Смирнов. Рядом с ним стоял маленького роста худощавый человек с двумя шпалами на петлицах.

— Карлов, редактор газеты, — назвался он. Потом я узнал, что работники редакции между собой называют его «Наполеоном Бонапартом». Когда я представился Карлову, предъявил документы и он узнал, что я до этого не работал в газете и на фронте впервые, лицо его помрачнело, а серые маленькие глаза стали сердитыми. Мне стало не по себе.

— Русский язык хорошо знаете?

Я оробел, ничего не ответил.

Карлов, видимо, решил проверить меня на деле и тут же усадил за стол и дал задание.

— Завтра утром части нашей армии переходят в наступление, — сказал он. — Сегодня отдохнете, а утром на рассвете отправитесь в 266-ю дивизию. — Он развернул карту, указал место расположения дивизии. — Пока устраивайтесь на квартире, становитесь на довольствие и не забудьте получить аттестат.

Карлов ничего не сказал о том, чем я должен заниматься в дивизии, что писать, как доставлять корреспонденции...

С корабля на бал

Наутро, когда я вышел из Лаптева, небо над лесом было ясное, светлое. Сквозь высокие сосны просачивались солнечные лучи. Но вскоре солнце закрыли облака, лес потемнел.

Я вышел на большую поляну. Остановился. Огляделся вокруг. Опушка леса была утыкана орудиями. Вокруг них сновали люди. Оглядевшись, я продолжил свой путь. Вдруг меня заставила вздрогнуть канонада. Вокруг поднялся такой гул, такая стрельба, что я не разобрал: то ли рядом со мной разрываются снаряды, то ли раздаются орудийные выстрелы. Кто-то сзади толкнул и свалил меня на землю, крикнув:

— Ложись! Немецкие самолеты! Сейчас будут бомбить.

Меня оглушили разрывы бомб, хотя они и падали далеко.

Бомбежка продолжалась недолго.

— Ну, вставай!

Передо мной стоял командир с тремя шпалами на петлице.

— Ты что, первый день на фронте?

– Да.

– Это видно. Где служишь?

– Корреспондент газеты «Родина зовет».

– Из нашей армии, значит. А я начальник оргинструкторского отделения политотдела армии. Старший батальонный комиссар Егоров. Тебе куда идти?

– В 266-ю дивизию.

– Ну, пойдем, я тоже туда.

Вместе с Егоровым мы добрались до политотдела дивизии.

– Привел к вам корреспондента, – сказал Егоров, обменявшись рукопожатием с начальником политотдела, батальонным комиссаром Вдовенко.

Вдовенко не особенно обрадовало мое появление.

– Не до корреспондентов сейчас. О чем писать?

– Как бы там ни было, – сказал Егоров, – но надо выделить ему провожатого, пускай отправится в один из полков.

В полк, который утром начал наступление, мы добрались под вечер. Я вошел в землянку командира полка, представился. Тот разговаривал по телефону и только кивком головы ответил на мое приветствие. Телефонный разговор продолжался долго. В голосе подполковника звучал гнев.

Командиру полка было не до меня. Сидевший рядом красноармеец-телефонист мигнул мне и тихо проговорил: – Дела неважные на переднем крае. Подполковник злой...

Я почувствовал себя здесь пока лишним и подался назад. Выйдя из землянки, сел на пенек и задумался. Надвигался вечер. Лес был окутан туманом. Начал моросить мелкий дождик. Я накинул на себя плащ-палатку. Почему-то я почувствовал себя одиноким в этом лесу, тишину которого нарушали редкие оружейные выстрелы. Вокруг были землянки, встречались люди, занятые своими делами и думами, проходили мимо меня, будто не замечая. А я, корреспондент, прибывший в полк для описания боевых действий, сидел подавленный, не зная, что делать. Мне вспомнился начальник отдела кадров политуправле-

ния фронта, потом писатель Фибих, вместе с которым приехал в редакцию, мрачный, неприветливый Карлов... Я думал о том, как выполнить задание редактора. И вдруг ход моих мыслей перебил голос остановившегося около меня инженера-майора, человека средних лет, высокого, стройного.

— Вы кого ждете, товарищ? — спросил он.

Я встал, сказал, кто я, как здесь оказался.

— Да-а, некстати вы приехали, товарищ старший политрук. Дела-то у нас неважные. Утром начали наступление, прорвали оборону, а потом застряли. Впереди болота, а он, окаянный (инженер имел в виду противника), поставил там столько мин... Нет прохода. Бойцы залегли «а занятых рубежах, а немцы контратакуют. И танки выставили. Слышите перестрелку? Вот так, брат...

Мне, новичку, все это было не совсем понятно, но я с интересом слушал.

— Может быть, мне пойти туда? — спросил я.

— Вам там пока нечего делать. Саперы нужны. Но еще светло, противник рядом. Не даст разминировать. Вот стемнеет, тогда мои саперы возьмутся за дело. А пока пойдемте ко мне, покушаете, погрееетесь, ляжете отдыхать. Утром же, когда исход боя решится, я сам напишу заметку. Договорились? Ну, пойдемте!

Инженер-майор оказался очень добрым, гостеприимным, заботливым. Когда мы пришли в его землянку, там на самодельном столике уже стояли котелки с кашей, горячим чаем, а красноармеец — ординарец разрезал хлеб и колбасу. Накормив меня, инженер-майор уложил на свою земляную койку, а сам с ординарцем ушел на позиции.

Может быть, я в эту ночь и не уснул бы, но, видимо, сказалоь то, что весь день был на ногах и сильно устал. Утром меня разбудили звуки орудийных выстрелов. Сняв с себя шинель, вышел из землянки. Утро было ясное, солнечное. Над лесом появились наши самолеты.

— Сабантуй начался, — радостно встретил меня инженер-майор. — Наши сейчас дадут фрицам жару. Пойдемте

в землянку, я вам напишу о саперах, совершивших ночью подвиг.

У меня на душе стало легче. Я обрадовался, что теперь выполню задание редактора, возвращусь с материалом. Через пару часов, захватив заметку инженера и сделав некоторые записи в своем блокноте, я возвращался в редакцию с видом победителя. Ах, если бы я знал, что меня ожидает в редакции!

Редактор сердится

В Лаптеве я не нашел редакцию. Встретивший меня здесь работник политотдела сказал, что она вчера переместилась и разместилась в лесу, недалеко от деревни. Немало времени потребовалось, чтобы найти редакцию. Над лесом уже опустились густые сумерки, когда я случайно услышал голос Фибиха.

— Где пропадал? Тебя редактор разыскивает. Во все части звонил...

— Он здесь?

— Да. В том автобусе, — Фибих указал автобус, который был замаскирован под густыми ветками. — Там наш секретариат. А мы живем в шалаше. Тебе местечко припасено. Иди пока к редактору, доложи. Потом в шалаш.

Я постучал, вошел в автобус, отдал честь. Карлов, прервав свой разговор с секретарем, взглянул на меня ехидными глазами и произнес:

— Посмотри на него. Явился наш пропавший герой.

Потом поднялся с табуретки, бросил на меня строгий взгляд.

— Вы где находитесь: на фронте или на курорте? Где материал, где ваши корреспонденции?

— Материал принес, товарищ батальонный комиссар, сейчас начну писать.

— Принес, начнешь писать, — Карлов засмеялся неестественно. — Два дня где-то бродил, на третий начнет писать.

Его лицо снова принято строгое выражение. Он повысил голос:

— К вашему сведению, товарищ старший политрук, газета ежедневная. К тому же, помните, что здесь фронт. Если от газетчика в мирных условиях требуется оперативность, то здесь она нужна вдвойне. Мы не можем ждать, пока вы два дня будете ходить за одной заметкой...

Я стоял навытяжку, а лицо мое горело. Исподлобья заметил недовольное выражение Смирнова. Видимо, он жалел меня.

— Ну, ладно, — успокоившись, произнес Карлов. — Идите пока в свой шалаш к Губареву. К восьми утра чтоб были готовы заметки.

Василий Губарев, кадровый командир, был начальником отдела армейской жизни. Встретил он меня сухо, расспросил, где я побывал, какой материал принес, что намерен написать. Я подробно рассказал о всех своих похождениях и обещал дать заметку инженера о саперах и свою зарисовку о наступательных действиях стрелкового полка.

— Ладно, — сказал Губарев. — Сегодня отдохните, а завтра пораньше встанете и напишете.

Мне было не до отдыха. В темном шалаше, где рядом со мной расположились, кроме Губарева, работники отдела Яша Денисюк, Даниил Фибих, я лежал с открытыми глазами и думал о том, как обработать заметку инженера-сапера и написать свою зарисовку. Несколько раз за ночь я выходил из шалаша, прислушивался к гулу самолетов, пролетавших над лесом. Время от времени до моего слуха доносились далекие звуки артиллерийской перестрелки.

— Что, не спится, товарищ старший политрук? — спросил часовой, охранявший покой работников редакции.

— Не спится.

Утром, когда Губарев и другие мои сослуживцы выходили из шалаша с сонными глазами, я лежал на траве под деревом, дописывая свою зарисовку. Перед завтраком Губарев прочитал написанные мной материалы и, ничего не сказав, побежал к редактору. Я волновался. В столовой ко мне подсел Фибих.

Написал? – спросил он.

– Да, написал.

– Покажи сначала мне.

– Я сдал начальнику.

– Напрасно. Он очень придирчивый. Показал бы сначала мне.

Завтракал я неохотно. Даже повар, высокий украинец Иван Дедюра, убирая со стола, заметил:

– Плохо кушаете, товарищ старший политрук, це не дило.

А мне было не до еды. Я ждал, что мне скажут Губарев и Карлов, хотя ничего хорошего от них не ожидал.

После завтрака собрались на летучке. Она проходила под открытым небом, в лесу. Я сидел на травке рядом с Фибихом и с волнением ждал, что скажет Карлов.

– Подводите нас, товарищ старший политрук, – сказал он, обращаясь ко мне. – Два дня вы бродили по частям, а на третий сдали негодный материал. Заметку сапера обработали вы очень плохо, а зарисовка ваша никудышная. Мы не стенную газету выпускаем.

Слова Карлова оглушили меня. Загорелись мои уши и повлажнел лоб. Я боялся поднять глаза и посмотреть на товарищей. Карлов продолжал читать мне нотацию, но я уже не слышал его слов. «Не в редакцию, а в стрелковую роту надо было мне идти, – подумал я. – Не за свое дело ввязался».

– Вы меня извините, товарищ батальонный комиссар, я бы не стал сразу так разговаривать с новичком.

Это сказал Прокофьев, заместитель редактора. Батальонный комиссар Прокофьев пришел на фронт с поста редактора одной из московских областных газет. Рядом с Прокофьевым сидели и молча смотрели на меня Борис Кремнев, бывший правдист, Пантелеев, работавший до войны корреспондентом «Комсомольской правды». А секретарь редакции Смирнов имел большой опыт работы в «Пионерской правде». Я примерно представлял себе, какое впечатление произвели на редактора написанные мной

заметки по сравнению с теми материалами, которые вышли из-под пера этих маститых журналистов.

— Ладно, — уступил Карлов, — поручим Губареву взять шефство над новым товарищем. Но запомните, старший политрук, здесь не курсы по подготовке журналистов...

На этом «проработка» кончилась. После летучки Губарев пригласил меня в шалаш. Хотя был он моложе меня на много лет, разговаривал как взрослый с подростком. Тут же при мне переделал заметки, заставил переписать и отнести на машинку. А через день я получил новую командировку.

Наступательные бои в районе озера Селигер временно приостановились. Части дивизии, куда мне приходилось идти за материалом, заняли оборону, закрепились на занятых рубежах. Газеты писали о действиях разведчиков, о снайперах, истребляющих солдат и офицеров противника, об артиллеристах и минометчиках, уничтожающих огневые точки и живую силу неприятеля, о вылазках отдельных групп автоматчиков. Получив задание от своего непосредственного начальника Губарева, я несколько раз в мае и июне побывал в дивизии, ходил на передний край обороны, сидел в окопах с солдатами, по долгу политработника проводил беседы о последних новостях на фронтах Отечественной войны и каждый раз возвращался с блокнотом, исписанным множеством фактов. Но стоило мне написать заметку, корреспонденцию и отдать Губареву, и ему прочесть, как я через несколько минут замечал на его немного рябоватом лице кислую мину. Губарев ничего не говорил мне, а брал заметку, переделывал по-своему и велел переписывать. Видимо, он махнул на меня рукой, потерял надежду на то, что я когда-либо научусь самостоятельно писать корреспонденции и решил использовать в качестве поставщика фактов. Я это понимал и чувствовал, хотя время от времени под небольшими заметками в газете появлялась моя подпись. Часто, не узнавая свои заметки после переделки их Губаревым, я задумывался над формой подачи материалов в газету, вдумчиво читал статьи и кор-

респонденции, написанные квалифицированными журналистами. Иногда и мне самому казалось, что газетчика из меня не выйдет. Я себя готовил к тому, чтобы подойти к редактору, попросить откомандировать меня из редакции. Может быть, так бы и сделал, если бы не та встреча с Борисом Кремневым.

Первый урок журналистики

После одной из летучек, на которой Карлов учинил мне очередной разнос, меня подозвал Борис Кремнев и предложил прогуляться по лесу. Кремнев был квалифицированным журналистом. До июня 1941 года он работал в «Правде», а с начала войны — в одной из окружных военных газет. Его воинское звание было ниже, чем у меня. И возрастом Борис был моложе.

— Миши, ты не сердись, что называю тебя по имени и говорю на «ты»?

— Конечно, нет.

— Я так и думал, — сказал Кремнев.

В лесу было тихо, свежо, хотя и стоял летний солнечный день. Кремнев, худощавый, чернявый, шел рядом со мной не спеша. В одной руке у него был сухарик, а в другой хворост, которым то и дело ударял по голенищу своего очень просторного кирзового сапога. Ворот гимнастерки был расстегнут, а из-под пилотки торчали кучерявые черные волосы.

— Ты не обращай внимания, что я грызу сухари, — сказал Кремнев. — У Дедюры не завтракал. Боюсь есть кашу, колит мучает меня, брат, колит. Приходится довольствоваться сухарями и крепким чаем. Ничего не подлаешь.

Я посочувствовал Кремневу и посоветовал обратиться к врачу. Но его занимал сейчас не этот вопрос. Он предложил сесть на траву под деревом, задумчиво взглянул на меня и сказал:

— Ты знаешь, Миши, я хотел с тобой давно поговорить, но, видишь ли, ты старше меня и по возрасту, и по воинскому званию...

— К чему все это? — спросил я.

— Несколько раз слушал, — сказал Кремнев, — как Карлов тебя отчитывает на летучках. Да и Губарев не очень доволен твоей работой. Что, ты впервые в газете?

— Да.

— Никогда ничего не писал?

— Писал. На родном языке.

— Что, например.

— Стихи, пьесы...

— Ого! Оказывается, ты и поэт и драматург! Мы с тобой почти коллеги. Я окончил институт театрального искусства. Театральный критик.

— А я землеустроитель по образованию. Окончил институт в Москве.

— Учился в Москве? — переспросил Кремнев.

— Да.

Он завернул остаток сухаря в бумагу, положил в карман, потом вытащил из кармана кисет с табаком, закурил.

— Вот что я тебе скажу, Миши, — произнес Кремнев. — Я не верю Губареву, что из тебя не выйдет газетчика. Это чепуху он говорит. Писать ты будешь, и неплохо. Меня другое волнует — твоя неоперативность. Как ты организуешь работу во время командировки!

Я рассказал о первой своей командировке, о последних посещениях воинских подразделений, встречах в окопах и на огневых позициях.

— А как ты переправляешь в редакцию корреспонденции?

— Сам доставляю.

— Что?

Он удивился.

— А как же еще?

— Надо пользоваться телефоном, телеграфом. Наконец, пунктом сбора донесений. И еще одно. Ежедневно из

дивизий нам в редакцию приезжают за газетой, можно послать нарочным.

— Так можно? — спросил я.

Кремнев рассмеялся.

— Разве никто тебе не говорил? Губарев не подсказывал?

— Нет.

— Вот это да! Милый мой, для того, чтобы доставить в редакцию информацию в пять-десять или тридцать строк, вовсе не требуется двух дней. Там, в дивизии, есть телеграф, телефон, можно легко связаться с редакцией и продиктовать или передать по телеграфу. А крупные материалы можно отослать в пакете, как уже я тебе сказал. Ты сможешь завалить редакцию корреспонденциями.

— Легко сказать — можно завалить.

— Надо же еще уметь писать.

— Научись и писать. Если уж ты писал пьесы, то информации и корреспонденции как-нибудь напишешь.

— А я настроился уйти из редакции. Хочу подать рапорт, чтобы откомандировали меня. Пойду на политраб-ту.

— Преждевременное решение, — возразил Борис, — Не советую. Давай с тобой договоримся так: прежде чем сдавать материалы Губареву, покажи мне. Посмотрим вместе.

У меня как раз была с собой зарисовка, которую еще не показывал Губареву. Вытащил из сумки, отдал Кремневу. Он стал править, и я наглядно увидел почерк опытного журналиста.

— Ну как? — спросил Кремнев.

— Хорошо.

— И у тебя будет хорошо.

Начиная со мной урок журналистики, Борис рассказывал о жанрах, разобрал опубликованные в газете информацию, корреспонденцию, зарисовку и очерк.

— Каждый жанр требует к себе определенного подхода, — сказал он. — Но это еще не все. Автор должен располагать фактами, материалом. А впрочем, давай мы с

тобой пойдем в командировку вместе, совместно напишем корреспонденцию или еще какой-либо материал. Согласен?

— Я — да. Будет ли согласен Карлов?

— Попросим.

Мне оставалось только поблагодарить Кремнева и воспользоваться его помощью. Уже на следующий день, получив разрешение у редактора, мы с Кремневым направились в двести шестьдесят шестую дивизию. Отсюда мы послали несколько информации, одну корреспонденцию, которые без задержки были опубликованы в газете.

После этого я уже стал ходить сам и самостоятельно давать различные материалы. Правда, не все еще они были полноценные, но уже Карлов не стал сильно ругать меня.

Перелом

На фронте нашей армии шли бои местного значения. Части двести шестьдесят шестой дивизии, выбив противника из отдельных населенных пунктов, укрепились на новых рубежах. Теперь активизировали свои действия разведчики и снайперы. Находясь продолжительное время в частях дивизии, я писал корреспонденции и зарисовки об отдельных разведчиках и группах, совершающих ночные вылазки, о партийно-политической работе в подразделениях и обучении нового пополнения. Нередко приходилось и самому выступать перед бойцами, беседовать о событиях на фронтах Отечественной войны, о вестях, поступающих из тыла. После одной из таких бесед, которую я проводил непосредственно в окопе, начальник политотдела дивизии Вдовенко пригласил меня и сказал:

— Вы знаете, старший политрук, что командир дивизии Щекотский хотел наградить вас медалью «За боевые заслуги»? Он очень доволен вашей не только корреспондентской деятельностью. Мы считаем вас членом своего коллектива. Вы много работаете с бойцами. Но вот беда,

редактор вами недоволен. Он возражает против награждения.

Оказывается, накануне генерал Щекотский связался по телефону с Карловым, советовался по поводу моего награждения. «За какие заслуги?» — спросил тот. «Он много помогает нам как агитатор, политработник», — ответил Щекотекий. «Не его дело выступать агитатором, — возразил Карлов. — Пусть он проявит себя как журналист. Его работой мы недовольны. О награждении пока не может быть и речи».

На этом разговор прервался. А через день я получил телеграмму от Карлова. Он предлагал срочно дать критическую корреспонденцию о снайперском движении в дивизии. Я сначала не догадывался, что Карлов решил вызвать немилость ко мне со стороны командования дивизии. В этом я убедился потом. Но телеграмма Карлова меня озадачила. Можно сказать, что я немного растерялся. Заметил мою растерянность и Вдовенко, когда он узнал о телеграмме.

— Что вас смущает? — сказал он. — Недостатки в подготовке снайперов вы можете найти в любом полку. Сходите, посмотрите, изучите и напишите.

Я сходил в батальон, которым командовал майор Медведев. Здесь хуже, чем в других подразделениях, действовали снайперы, меньше всех на их счету было истребленных фашистов, слабо была поставлена работа по обучению отличных стрелков. Написал критическую корреспонденцию о снайперском движении в батальоне Медведева, передал в редакцию по телеграфу, а рукопись положил в карман. И каково же было мое удивление, когда через два дня я получил газету с пространной моей корреспонденцией, озаглавленной «Бездельники срывают снайперское движение!» Первая же строка начиналась словами: «В хозяйстве, которым командует товарищ Щекотский...» В корреспонденции было много обобщений, кем-то сделанных за меня, выставлены резкие слова в адрес командования соединения.

Читая свою корреспонденцию, я вспотел, хотя летний день был не жарким и густые ветки мощных деревьев защищали меня от солнца. «Как я покажусь на глаза генералу?» — подумал я и вдруг услышал за спиной его голос.

— Ну, поздравляю тебя, хлестко написал!

Я обернулся. Передо мной стоял высокий, стройный седой генерал и добродушно улыбался.

— Мы не против критики, — сказал Щекотский, — недостатков уйма. Но есть вещи, о которых не следует писать в газете. Ведь противник находится недалеко от нас. Кто знает, может быть, наша газета попадет к нему...

Что можно было сказать на это? Но оправдаться тоже я не мог. Не буду же говорить ему, что к моей корреспонденции сделаны дописки в редакции. Я ответил только молчанием. Чувствовал, что лицо у меня горит. Щекотский, очевидно, заметил это и сказал:

— Ну, ничего. Ты не унывай. Бывает.

В это время меня пригласили в блиндаж, в котором помещалась центральная телеграфная станция и вручили телеграмму от Карлова. Он предлагал перебраться на левый фланг армии, где располагался отдельный стрелковый полк, и написать положительную статью о том, как лучшие командиры, воюя, одновременно хорошо обучают бойцов. Срок был дан очень жесткий, ограниченный. Я попрощался с батальонным комиссаром Вдовенко, его заместителем, со всеми товарищами, с которыми подружился в этом соединении, и направился на левый фланг армии.

Через несколько дней, когда в газете появилась большая моя статья, озаглавленная «Так надо учить бойцов», Карлов отозвал меня в редакцию. Встретил он меня впервые приветливо, стал говорить со мной на «ты», предложил отдохнуть, а потом взяться за обработку доставленных из частей материалов. Меня удивило перевоплощение Карлова. Долго я не мог забыть его улыбающиеся серые глаза, необычную вежливость в разговоре. А еще больше поразила меня его речь, произнесенная утром следующего дня на летучке, в присутствии всех офицеров редакции.

— Вы когда-нибудь видели, товарищи, как растет хлопок? — спросил Карлов. — Сначала на ветках появляются бутончики. Они долго зреют, а потом сразу раскрываются и расцветают. Так вот, товарищи, старший политрук напоминает мне раскрывшийся бутончик...

Я почувствовал, как горят у меня уши и щеки, не осмеливался поднять голову, посмотреть на товарищей. С чего бы это вдруг? Никогда не ожидал этих слов от редактора. Секрет стал известен немного позже. Оказывается, после появления корреспонденции «Бездельники срывают снайперское движение!» в политотделе армии состоялось совещание. Там выступил батальонный комиссар Вдовенко с претензией к редакции, высказал мысль о том, что не следовало бы указывать фамилию Щекотского и делать некоторые обобщения. Выступивший в заключение начальник политотдела армии Шмелев, отчасти согласившись с Вдовенко, заявил, что выступление газеты в целом правильное, принципиальное, и выразил надежду, что Вдовенко и другие товарищи из дивизии правильно поймут критику, сделают из нее соответствующие выводы, а снайперское движение получит широкое развитие. После совещания Шмелев задержал Карлова, одобрительно отозвался о двух последних статьях, написанных мной.

— А вы хотели избавиться от него, — сказал он Карлову. — Вам бы поддержать его, подбодрить и помочь проявить свои способности. Кадры надо ценить.

Это было кульминационным пунктом в отношениях редактора ко мне. С тех пор я почувствовал, что являюсь нужным человеком в редакции и становлюсь как журналист на ноги.

Так я неожиданно для себя стал журналистом.

Знакомство с поэтом

В своих заметках я уже упоминал о некоторых журналистах, с которыми мне пришлось начать свою газетную деятельность на фронте.

В середине лета к нам прибыли новые товарищи. С одним из них мне пришлось пройти по дорогам войны до полной победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Это ныне известный советский поэт Юрий Левитанский.

Ему был тогда двадцать один год. Он приехал к нам в красноармейской форме (еще не имел офицерского звания), в кирзовых сапогах и пилотке, из-под которой выглядывал красивый чуб. Его приятное лицо, усики, крупные глаза придавали портретное сходство с Лермонтовым. Потом, когда мы поближе познакомились с Левитанским, я узнал, что он пишет стихи и довольно-таки неплохие. Но Левитанский не спешил обнародовать свои сочинения, не предлагал в газету, неохотно давал читать даже своим товарищам. Первым его сочинением, которое он не постеснялся прочесть нам, редакционным работникам, была песня о начальнике издательства Геннадии Цитроне и поваре редакционной столовой Иване Дедюре на мотив «Цыганского барона».

*Я Геннадий Цитрон,
Я в Дедюру влюблен,
Для меня, шутника,
Жизнь легка, жизнь легка.
Если ты без кальсон,
Если ты загрязнен,
Тебя выручит он,
Наш Геннадий Цитрон.*

Дело в том, что наш пищеблок не был лишен недостатков. А Цитрон, на которого были возложены обязанности снабженца, не всегда вовремя обеспечивал офицеров бельем, мылом и другими необходимыми в фронтовых условиях вещами. Левитанский решил, что одним из средств воздействия на Цитрона окажется песня, которая была подхвачена почти всем коллективом и частенько распевалась. Надо сказать, что это возымело действие на хозяй-

ственника, хотя Цитрон и сам попытался написать неудачную сатиру на Левитанского.

Сколько бы молодой поэт ни скромничал, вскоре в газете появилось его хорошее стихотворение «Совинформбюро», понравившееся читателям и замеченное членом Военного Совета армии генералом Гороховым.

Я помню, как на одном из вечеров генерал Горохов попросил Левитанского прочесть свои стихи и как здорово прозвучали в его устах строчки:

*Опять звучат знакомые слова:
«От Совинформбюро.
В последний час...»
В полночный час далекая Москва
Рассказывает Родине о нас.
И ты
у репродуктора,
в тиши
Увидишь вдруг,
волнение заглуша,
Как мы по целине ползем,
круша
Демянского плацдарма рубежи.
Наш путь не близок.
И еще не раз
Москва расскажет Родине о нас.*

Слушатели наградили поэта дружными аплодисментами. С тех пор, видимо, Левитанский осмелел, и все чаще стали появляться в газете его стихи.

Но не только в стихах был силен Левитанский. Обладавая чувством юмора, он в содружестве с Кремневым и прибывшим несколько позднее из гражданки Москвитиным давал подборки сатирических материалов, выступал с поэтическими очерками и зарисовками о боях, совершивших героические подвиги на фронте.

Вскоре Левитанский получил офицерское звание и оказался, пожалуй, одним из немногих работников редак-

ции, которые остались в коллективе до самого конца войны. Расстались мы с ним в Иркутске, после расформирования редакции. Там, в Иркутске, он демобилизовался, осел и в 1946 году выпустил первую книгу своих стихов «Солдатская дорога».

С Левитанским мы были хорошими друзьями, часто вместе бывали в командировках, давали корреспонденции из района боев. После возвращения из одной совместной командировки Левитанский сказал, что меня срочно вызывает редактор.

Как меня хотели сделать редактором узбекской газеты

— По вашему приказанию старший политрук...

Карлоов перебил меня и сказал:

— Жалко с тобой расставаться, но ничего не могу сделать...

Меня удивило заявление Карлова.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Отзывают тебя в распоряжение политуправления фронта. Зачем, мне не известно. Я пытался отстоять тебя, ничего не вышло.

И это говорил Карлов, тот самый Карлов, который в течение нескольких месяцев на всех летучках поносил меня. Недели две до этого я сам хотел избавиться от Карлова, чтобы не видеть больше его кислую мину, не слушать унижающие мое достоинство характеристики. А теперь?

Мне стало грустно. Ведь привык к коллективу. Тяжело было расставаться с Кремневым, Левитанским, Прокофьевым, Фибихом, даже Губаревым, который изменил ко мне отношение и считал меня своим верным помощником. Но приказ есть приказ, и я должен подчиниться ему.

Прощаясь со мной, Карлов сказал:

— Сходи в политотдел, получи документы. Если сможешь отпроситься, вернись. Будем рады.

А Кремнев заключил меня в свои объятия, напутствовал:

– Не унывай, старик, – Борис Кремнев, Юрий Левитанский и Яша Денисюк меня в шутку стали называть «могучим стариком». – Теперь у тебя есть опыт, не пропадешь.

В политотделе армии запечатали в пакет мое личное дело, вручили мне и приказали сразу же поехать в штаб фронта. Я попытался узнать причину моего откомандирования, но так ничего и не узнал.

– Там скажут, нам не известно, – сказали работники отдела кадров.

В политуправлении меня принял тот самый старший батальонный комиссар, который давал путевку в редакцию.

– Старый знакомый, – сказал он, – присаживайтесь.

Он взял у меня пакет, раскрыл его и стал перелистывать мое личное дело.

Я сидел молча, а тело мое дрожало. Что бы могло быть? Почему я оказался здесь? Эти вопросы волновали меня. Исподобья взглянув на начальника отдела кадров, я заметил, как он вырвал один лист из личного дела и отложил в сторону.

– Знаете, зачем вас вызвали? – улыбнулся он.

– Нет, товарищ старший батальонный комиссар.

– Так вот слушайте. На наш фронт прибыли национальные соединения из различных союзных республик. Мы думаем дублировать фронтовую газету на узбекский, казахский и другие языки. Надо комплектовать редакции национальных газет. Хотим предложить вам должность редактора узбекской газеты.

Сразу отлегло от сердца, и мне стало смешно.

– Что вы, товарищ старший батальонный комиссар, какой из меня редактор узбекской газеты, ведь я никогда и строчки не писал на этом языке,

Он открыл мою анкету и указал:

– Вот тут написано, что вы владеете узбекским языком.

— Слабо, — заметил я.

— Пусть слабо. Там будут литературные работники, переводчики...

— Вы меня извините, это немыслимо. Я даже читать не могу по-узбекски, не говоря о редактировании газеты.

Старший батальонный комиссар долго пытался уговорить меня, но я все же убедил его.

— Ну, ладно, — согласился он наконец, положив мое личное дело в пакет, — берите пакет и возвращайтесь в свою редакцию. А вот эту бумажку возьмите себе на память.

Он протянул мне вырванный из личного дела лист и улыбнулся. А у меня эта бумажка вызвала гнев. Это была характеристика, написанная на меня Карловым. Какие только эпитеты не использовал Карлов, чтобы показать мою неспособность работать в редакции.

— Может быть, мне не следует возвращаться в редакцию?

— Следует, — ответил он. — В деле есть новая характеристика. Теперь Карлов о вас другого мнения. Ну, в добрый путь!

Мы тепло попрощались со старшим батальонным комиссаром.

Мой новый коллега

Лето было на исходе. Дни постепенно становились все прохладнее, зачастили дожди. Возвратившись из штаба фронта, я не застал редакцию в лесу. Она снова разместилась в Лаптеве.

Карлов встретил меня радушно.

— Молодец, хорошо сделал, что возвратился, — сказал он.

Я посмотрел на его сияющие глаза, добродушную улыбку и совсем забыл о прошлом и даже о характеристике.

– Иди устраивайся, – сказал Карлов. – Творческие работники размещаются в соседнем доме. О работе потом поговорим.

В комнате, где разместились литературные сотрудники газеты, рядом с Кремневым стоял выше среднего роста, немного облысевший, несколько раскосый человек с одной шпалой на петлице, в мешковатом обмундировании и, как мне показалось, очень просторных сапогах.

– Старик, познакомься, – обратился ко мне Кремнев, – это наш новый спецкор, писатель Москвитин.

Я подал руку, назвав свою фамилию и воинское звание.

– А я всего лишь интендант третьего ранга, – произнес басовитым голосом Москвитин, схватив мою руку так, что мне стало больно.

А когда он узнал, что я родом из Дагестана, имею печатные произведения на родном языке, весело засмеялся и сказал:

– Ого, мы, оказывается, дважды коллеги и братья по перу. Только, видишь ли, я больше увлекаюсь сатирой.

Почему-то он сразу стал говорить со мной на «ты», хотя с Кремневым, можно сказать, старым другом, говорил на «вы» и теперь, и все время совместного пребывания на фронте. С Кремневым Москвитин был раньше знаком. В начале войны они работали в окружной газете Южно-Уральского военного округа – Кремнев как офицер, и Москвитин – вольнонаемным. Из-за физических недостатков он не был мобилизован в армию. После того как Кремнев выехал на фронт, решил поехать за своим другом Москвитин. Он подал заявление, добился, чтобы зачислили в армию, и приехал именно в ту редакцию, где служил Кремнев. Но почему эти близкие, хорошие друзья все время говорили на «вы», я так до сих пор и не знаю.

Не знаю, чем я покори́л Москвитина, с первых же дней совместной работы он стал ко мне относиться хорошо. А получая первую командировку на передовую, Москвитин попросил редактора, чтобы мы пошли с ним вместе.

— Это слишком будет жирно для нашего небольшого коллектива, — оказал Карлов.

Москвитин сказал, что он первый раз на фронте, плохо знает обстановку фронтовой жизни, и настоял на своем.

Вот мы с Москвитиным идем на передовую. Оба в красноармейских шинелях, с пистолетами «ТТ» на боку и простыми прорезиненными сумками за плечами. У Москвитина крупный шаг, я еле успеваю за ним. Из Лаптева мы вышли после обеда. Предстояло идти до штаба дивизии около десяти километров, а потом в полк, батальон, роту.

— Сегодня, видимо, до места мы не доберемся, — сказал Москвитин. — Придется переночевать в пути. Есть ли по дороге какая-либо деревушка?

— Есть, — ответил я.

Мне не раз уже приходилось идти этой дорогой, потому что армия долго находилась в обороне, занимая одни и те же рубежи.

— Тогда не будем торопиться, — сказал мой коллега и, заметив неподалеку большой густой кустарник, предложил: — Давай пока задержимся у кустарника, постреляем.

— Почему? — удивился я.

— Да потому, что мне надо научиться стрелять. В армии ведь не служил, пистолета в руке не держал. А вдруг придется встретиться с немцем. Он крикнет «Хенде хох!», а я буду поднимать руки? Нет, брат, дурных нема. Я должен научиться бить фашистов.

И он вынул из кобуры заряженный пистолет, направил на кусты и, не прицелившись, выпустил несколько пуль. При этом он так испугался, что опустил голову и закрыл глаза.

— Куда я попал, ты не заметил? — спросил он, подняв голову.

Мне было смешно.

— Николай, зачем зря переводить патроны, — произнес я. — Так не учатся стрелять.

Я ему сказал, что у нас при штабе армии с офицерами проводятся занятия, там и надо научиться стрелять.

— А я хочу самостоятельно заниматься, — улыбнулся Москвитин.

Забегая вперед, хочу сказать, что потом, через год, когда Москвитин ушел из нашей редакции, служил в другой армии, а я на фронтовой дороге встретил одного нашего общего знакомого, тот сообщил, что писатель Москвитин научился отлично стрелять. А сегодня, прекратив стрельбу, он пошел со мной по лесной дороге.

Лес был густой, тихий, безлюдный. Только изредка раздавались далекие звуки оружейных выстрелов.

— Подозрительная тишина, — оказал Москвитин. — А не может случиться так, что мы попадем в лапы каких-нибудь немецких лазутчиков?

— Кто его знает...

— Надо, брат, пистолеты держать наготове. В упор-то я смогу убить фашиста?

Правду сказать, мне и в голову не приходила эта мысль, хотя нередко самому приходилось ходить и днем и ночью одному по прифронтовым лесным дорогам. Уже было темно, когда мы дошли до небольшой деревушки. Постучали в один из крайних домов, и приветливая хозяйка впустила нас в хорошо натопленную избу.

— Хозяюшка, — сказал Москвитин, — наши военные есть в деревне?

— Есть, милоч.

— Тогда ничего. А то чего доброго...

Проснулись детишки, спавшие на печи. Москвитин вынул из сумки конфеты и печенье, угостил детей, а хозяйка поставила на стол чашку с молоком и очищенную от мундира вареную картошку.

— А у нас есть консервы, хлеб и колбаса, — произнес Москвитин.

После ужина одного из нас хозяйка уложила на лежанке около печки, а другого — на длинной скамейке, заправленной рядом. Утром, когда мы проснулись, я заметил, что Москвитин разговаривает неестественным голосом, чего-то у него не хватает во рту. Потом, когда он вынул из кармана протезы, завернутые в платок, и поло-

жил в рот, я узнал, что он был без зубов. На ночь после ужина всегда вынимал он изо рта протезы.

— А ты думал, что я уже не тот Москвитин, — улыбнулся Николай. — Нет, брат, я тот же, только ночью без зубов.

Москвитин долго еще шутил с детьми, расспрашивал хозяйку о жизни, о муже, который воюет где-то далеко от своих мест, потом, поблагодарив хозяйку, попрощавшись, мы продолжили свой путь.

— А я все же спал беспокойно, — говорил Москвитин, шагая впереди меня. — Кто его знает? Прифронтовая деревушка, темный лес, войска наши где-то впереди. Немцы-то не дремлют.

К обеду мы пришли в штаб дивизии, доложили начальнику политотдела о своем прибытии и, не теряя времени, решили добраться до передовой.

— Обедать-то мы забыли, — сказал Москвитян, когда мы уже были далеко от расположения штаба дивизии.

— В полку пообедаем.

— А это скоро будет?

— Может быть.

Лес остался позади. Мы шли по открытой местности. И вдруг на одном из холмиков задымила кухня.

— Что это? — спросил Москвитин.

— Видимо, кухня. Только какая?

— Нам все равно. Пойдем на кухню. А то у меня сосет под ложечкой.

— Надо сначала пойти в штаб полка, сдать аттестаты, стать на довольствие.

— Зачем такие формальности, — возмутился Николай, — Пойдем на кухню...

Около холма запахло борщом.

— У меня слюнки текут, — сказал Москвитин. — Как найти начальника?

Из землянки вышел небольшого роста лейтенант. Заметив, что мы по званию старше его, он взял руку под козырек и отчеканил:

— Командир хозвзвода, лейтенант...

Москвитин неуклюже приставил руку к виску.

— Интендант третьего ранга, корреспондент армейской газеты, писатель Москвитин.

Представил он и меня, назвав дагестанским писателем. Я почувствовал неловкость, а лейтенант вежливо пригласил нас в блиндаж.

— Я слушаю вас, товарищи писатели. Очень рад, что вы удостоили нас своим посещением.

— Мы, брат, везде бываем, — сказал Москвитин, — и в окопах, и на огневых позициях артиллеристов, и в штабах дивизий и полков. Мы пишем не только о храбрых пехотинцах и артиллеристах, но и о работниках хозяйственных взводов. В данном случае нас интересует ваш повар. Как, по-вашему, следует о нем написать очерк?

— Очень даже, — ответил лейтенант. — Мы будем благодарны вам.

— Тогда позовите повара и покажите результаты его труда. Так сказать, товар лицом...

Через несколько минут в землянку вошел светловолосый молодой сержант с двумя котелками горячей пищи. В одном котелке был борщ, а в другом гуляш. Лейтенант быстро нарезал хлеб, положил на столик.

— Присаживайтесь, поснедайте, товарищи писатели, — оказал он.

Москвитин бросил на меня взгляд и оказал:

— Не стесняйся, бери.

И сам с аппетитом стал есть.

— Вкусно, как в ресторане, — похвалил Николай, наевшись. — Я должен сказать, товарищ лейтенант, что у вас не повар, а чародей кулинарии.

— Рады стараться, товарищ писатель, — обрадовался лейтенант, услышав лестный отзыв о своем подчиненном.

Москвитин вытер губы, руки, вытащил из кармана блокнот.

— Иванов, значит, ваша фамилия, — обратился он к сержанту.

— Так точно, товарищ капитан.

Он не знал, что Москвитин интендант третьего ранга. Раз на петлице шпала, значит, подумал он, это капитан. Записав фамилию, имя сержанта, Москвитин спросил, состоит ли он в комсомоле, откуда родом.

Больше ничем Москвитин не поинтересовался. Когда мы попрощались с хозяевами кухни и отошли от холма, я спросил Москвитина.

— Николай, ты так мало узнал о поваре. Как же будешь писать очерк?

— Мало, говоришь? Почему мало? Я увидел человека, о ком буду писать. Фамилию, имя, место службы знаю. О том, как он работает, так сказать, выполняет служебный долг, говорит приготовленная им пища. Кухню я увидел, условия работы, обстановка — все это налицо.

В это время откуда-то раздался сильный выстрел, и неподалеку от нас разорвался снаряд. Перепуганный Москвитин тут же упал на землю, закрыв голову обеими руками.

— Вот обстановка! — произнес Николай, поднявшись и стряхивая с себя землю.

Потом, через пару дней, когда мы возвратились в редакцию и Москвитин написал очерк о поваре, я удивился способностям этого человека. В своем очерке он создал фон, описал ситуацию, дал портрет повара, воспроизвел в деталях процесс приготовления вкусной пищи в фронтовых условиях, трудности работы под огнем противника и т. д.

— Как, по-твоему, очерк получился? — улыбнулся Москвитин. — Так-то, брат.

Москвитин учит строить амбразуры

Мы на переднем крае обороны. Облысевшие холмы изрезаны траншеями и ходами сообщений. Связной красноармеец проводит нас от командира батальона к командиру роты. Молодой лейтенант приветливо встречает и приглашает в свой блиндаж.

— Нам хотелось бы побывать на огневых позициях ваших снайперов, — сказал Москвитин, — посмотреть, как они бьют фашистов.

— Сходим, — согласился лейтенант.

И мы пошли вслед за ним по ходу сообщения.

— Пригибайтесь, товарищи корреспонденты, — предупредил лейтенант. — Немцы рядом с нами, рукой подать. Они наблюдают.

Не успели мы сделать несколько шагов, как на том месте, где только что стоял я, прямым попаданием упала и разорвалась мина.

— Бьют! — крикнул, падая на дно траншеи, Москвитин.

— Это они заметили вас, — сказал лейтенант. — Вы выше всех.

— Завтра радио Геббельса передаст в эфир, что немецкие минометчики убили писателя Москвитина, — пошутил Николай, и все засмеялись.

Теперь он старался как можно больше нагибаться.

— Вот и наш снайпер, — показал лейтенант. Заметив нас, снайпер приподнялся и тут же стал наблюдать в амбразуру.

— Ну, как, товарищ, скучать не приходится? — опросил Москвитин снайпера.

— Лучше бы было, конечно, если бы пошли в наступление, — ответил красноармеец.

— Это, конечно, так. Доживем и до этого дня, — сказал Николай и попросил у лейтенанта бинокль.

Он подошел к амбразуре и стал наблюдать за немцами.

— Вижу немецкие каски, — воскликнул он.

В это время над траншеей прожужжала пуля, потом другая, третья. Москвитин упал на колени и крикнул:

— Окаянные, заметили. Завтра непременно радио Геббельса передаст об убийстве на фронте советского писателя Москвитина, и не один раз, а дважды...

Я исподлобья взглянул на лейтенанта и заметил веселую улыбку на его лице. А Николай, обратившись к снайперу, сказал:

— Вы знаете что? Немцам сейчас нетрудно убить и вас, и меня, если мы будем смотреть в амбразуру. А почему? Взгляните, амбразура-то большая, образно говоря, лошадь пройдет. Как, по-вашему, лейтенант, не лучше будет если амбразуру сделать поменьше. Да так, чтобы самому видеть фрица и чтобы он не мог попасть в тебя? Неправду говорю?

Лейтенант помедлил с ответом, потом безразлично произнес:

— Может быть, вы и правы.

— Это точно. Поверьте мне.

Где-то недалеко раздался звук орудийных выстрелов.

— Что это? — спросил Москвитин.

— Идет перестрелка. В обороне так часто бывает.

Лейтенант пригласил нас на ужин. Уже был вечер, наступили сумерки. Обратный путь мы совершили, не пригибаясь.

— Теперь не опасно, можете идти в рост, — сказал лейтенант.

За ужином, в блиндаже, Москвитин расспросил лейтенанта о бойцах роты, записал имена лучших снайперов и пулеметчиков, узнал, на чьем счету сколько убитых фашистов и уничтоженных огневых точек, записал в блокноте факты из боевой жизни, учебы, поведения бойцов, командиров и политработников.

— Может быть, нам удастся что-нибудь написать о вашей роте, — сказал Москвитин, пожимая на прощание руку лейтенанту.

— Может быть, дать сопровождающего? — спросил лейтенант.

— Нет, уж мы теперь люди, можно сказать, обстрелянные. Голыми руками нас не возьмешь...

И сам засмеялся. Было совсем темно, когда мы покинули расположение полка. Вдруг Москвитин остановился, взял меня за руку и сказал:

— Знаешь что, нам бы искупаться и белье сменить.

— Это уже мы сделаем в редакции. Потерпим до завтра.

— Завтра поздно будет. Надо сегодня. Не вернуться ли в полк.

— Нет. Тогда лучше попробовать в медсанбате. Это по пути. Кстати, там можно будет и переночевать. Только я просить белье не буду.

— Это не твоя забота, — махнул рукой Николай. — Ты только проводи меня к начальнику. Все остальное за мной.

Медсанбат находился в полуразрушенной деревушке, в лесу. Начальника медсанбата мы застали в его кабинете. Получив разрешение войти, Николай доложил за нас обоих:

— Военный корреспондент писатель Москвитин, военный корреспондент писатель Бахшиев.

Я почувствовал неловкость.

Начальник медсанбата, высокий пожилой врач с двумя шпалами на петлице, отодвинул тетрадь, в которой он делал какие-то записи, встал, протянул нам руку.

— Слушаю вас, товарищи писатели, — сказал он и предложил стулья.

Москвитин уселся на стуле, будто надолго, начал разговор издалека.

— Вы врач, человек образованный, — сказал он, — и, видимо, не первый день на фронте.

Тот молчал и вопросительно смотрел на Москвитина.

— Так вот, товарищ военврач, мне хотелось бы поговорить с вами по некоторым вопросам, возникшим у меня после посещения переднего края обороны...

— А именно?..

— К вам в медсанбат поступает немало раненых, хотя сейчас не ведется на нашем участке активных боевых действий.

— Предположим.

— Не скажете ли вы мне причину столь больших наших потерь?

У врача зашевелились густые брови. Он немного изменился в лице. Потом, с удивлением посмотрев на собеседника, сказал:

— Ваш вопрос следовало бы адресовать строевым командирам. Я лишь врач.

— Но вы не можете быть безразличны к этому вопросу. Ведь раненные бойцы попадают к вам.

— Ну, а вы можете объяснить причины потерь? — спросил в свою очередь врач.

— Да. Мы вот с товарищем побывали на переднем крае, ходили по траншеям, видели амбразуры, из которых наблюдают наши снайперы. Когда я посмотрел в амбразуру, со стороны немцев раздались три выстрела, один за другим. Хорошо, что я прилег. Видимо, враг решил, что убил меня. Геббельс завтра передаст по радио, что его снайпер убил писателя Москвитина.

Военврач, слушая Николая, нервничает. Видимо, он был очень занят, и мы оторвали его от дела.

— При чем тут я? — спросил наконец врач.

— Не вы, товарищ военврач, а амбразуры. Они слишком большие. Их надо делать поменьше.

— Ну да, — нервничает врач, — так вы поговорите с командирами дивизии.

Он взял недописанную тетрадь, давая знать, что занят неотложным делом.

— Чем я могу быть полезен? — спросил начальник медсанбата, стараясь избавиться от нас.

— Нам бы хотелось помыться, сменить белье, переночевать в тепле. Устали с дороги.

— Хорошо, — военврач легко вздохнул и вызвал ординарца.

Когда тот вошел, начальник приказал:

— Устройте товарищам писателям две пары нового белья, отведите, в баню. Потом накормите и уложите спать.

Москвитин встал, радостно улыбнулся начальнику и дружески пожал ему руку.

— Покорно благодарим. Никогда не забудем. А насчет амбразур все же рекомендую подумать.

Первые очерки

В одном из подразделений я познакомился с бойцом из Грузии. На щеке у него виднелся большой шрам — следы рукопашной схватки с фашистами. О молодом грузине хорошо отзывались командир роты и политрук, и я решил написать о нем. В беседе выяснилось, что у бойца осталась в Грузии старая мать, с которой сын ведет регулярную переписку. Храбрый воин писал матери патристические письма, расспрашивал о жизни в тылу, заверял мать, что с победой возвратится на родину.

Используя свое знакомство с Кавказом, бытом и нравами горцев, изучив боевой путь и героические поступки воина, я написал небольшой газетный очерк, озаглавленный «Шрам». Когда прочитал его мой непосредственный начальник Губарев, недовольно поморщился и вернул мне.

— Не пойдет, — сказал он.

Тогда я показал очерк прибывшему к нам корреспонденту фронтовой газеты «За Родину», и тот забрал его у меня. Через несколько дней меня вызвал к себе Карлов. У него на столе лежала газета «За Родину». Мне сразу бросился в глаза клишированный заголовок «Шрам», и я догадался, зачем вызвал редактор.

— Что же это ты, — выразил недовольство Карлов, — в свою газету не даешь, посылаешь в другую.

Я объяснил ему причину появления очерка во фронтовой газете.

— Значит, так. Ну, садись, поговорим, — предложил Карлов.

Он взял подшивку «Красной звезды», перелистал и сказал:

— Ты заметил, что «Красная звезда» печатает серию статей Ильи Эренбурга о воинах различных национальностей, сражающихся на фронтах Отечественной войны?

Да, я это знал. С осени 1942 года в «Красной звезде» стали появляться статьи Ильи Эренбурга, озаглавленные «Казахи», «Узбеки», «Башкиры», «Татары» и т.д. Карлов сказал, что на нашем Северо-Западном фронте

плечом к плечу с русскими воинами храбро защищают Советскую Родину сыны всех братских народов страны. Армейская печать призвана воспевать интернациональную дружбу, восхитывать воинов в духе братства и сплоченности.

— Я поручал, — сказал он, — одному из наших работников написать очерки о бойцах нерусской национальности. Он написал один очерк. Но мне не нравится. Может быть, возьмешься за это ты.

Это заявление редактора меня смутило. Как же это так? По крайней мере, я считал, что самым слабым журналистом в редакции являюсь я. Кто же мог хуже меня здесь написать очерк? Но Карлов так и не назвал фамилию товарища. Он предложил мне сходить в одну из дивизий, найти хорошего бойца из людей нерусской национальности, написать очерк.

— Отправляйся сегодня же. Погода хорошая, на дворе сухо.

Действительно, когда я вышел из Лаптева, было сухо, хотя и не тепло. Но стоило мне пройти километра три, как небо затянулось, опустилось над лесами и деревушками, а потом пошел снег. Я не прошел и полпути до дивизии, как стало темно. Дорога шла лесом. Мертвая тишина, царившая здесь, наводила на меня страх. Даже не слышно было одиночных далеких орудийных выстрелов. Но приказ есть приказ, и я должен был выполнить его и придти в часть.

Не знаю, сколько часов мне пришлось бы идти этой холодной ночью, если бы не случайная встреча с знакомым офицером разведроты у деревни по пути в дивизию.

— Ты к нам? — спросил он.

— Да.

Я сказал о цели своей командировки.

— Есть у нас интересный разведчик, башкир по национальности, Хафиз Мажитоов. Вчера ночью с группой он ходил к немцам за «языком». Бесшумно подкрался к вражескому ДОТУ, отлично справился с заданием.

Это было то, что мне нужно. Переночевав в деревушке, утром мы сходили в разведроту, где я и встретился

с Хафизом Мажитовым. Из беседы с ним я узнал, что дома, в Башкирии, у него жена и дочка. Малютка в письмах отцу рисует контуры своих пальчиков, просит его поскорее добить фашистов и возвращаться домой. О своих боевых подвигах Мажитов стеснялся рассказывать, зато подробно о том, как он храбро вел себя в ночном поединке с немцами, рассказали командир и бойцы роты.

Через несколько дней в газете был опубликован мой небольшой очерк «Хафиз Мажитов», за что Карлов меня похвалил. Но лучшей похвалой, которой я никогда не ожидал, явилось для меня другое. Не помню, кто из сослуживцев, развернув один из ноябрьских (1942 г.) номеров газеты «Красная звезда», сказал:

— Поздравляю тебя, старик, возьми почитай!

В газете была опубликована статья Ильи Эренбурга «Башкиры». В ней целый абзац был посвящен герою моего очерка Хафизу Мажитову. Дело в том, что Илья Эренбург держал тесную связь с нашей редакцией, как и со многими другими фронтовыми газетами, писал для нашей газеты статьи, получал и регулярно читал нашу газету. Меня до глубины души взволновало то, что он обратил внимание на мой скромный очерк и счел нужным что-то из него использовать для своей публицистической статьи.

Это меня окрылило, и я опубликовал в своей газете серию очерков о различных героях — бойцах нерусской национальности, о дружной многонациональной семье воинов-фронтовиков.

Клятва у знамени

Стоял холодный зимний день, деревня Лаптево, леса и поля, окружающие ее, аккуратно сбитые деревянные избы были укутаны снежным покрывалом. В хорошо натопленной избе, которую занимал отдел армейской жизни, собрались и делились впечатлениями возвратившиеся из командировки специальные корреспонденты и корреспонденты-организаторы. За столом сосредоточенно вычитывал

материал для очередного номера газеты начальник отдела армейской жизни Губарев. По натуре своей не всегда разговорчивый и несколько скучноватый, он исподлобья глядел на громко разговаривающего Москвитина, и его взгляд выражал недовольство. Москвитин и Кремнев любили острить. А сейчас их остроты почему-то раздражали Губарева. Мне показалось, что Губарев сейчас сделает замечание товарищам, но в это время дверь открылась, и в комнату вошел, впуская холодную струю воздуха, майор Карлов. (Теперь уже политработники получили новые звания и вместо знаков различия на петлицах носили погоны на плечах.) Ответив на приветствие офицеров, Карлов сказал:

— Садитесь, товарищи, сейчас расскажу вам новость. Мы все превратились в слух.

— Я знаю, что вам надоело жить в Лаптеве, — сказал Карлов. — Мне самому тоже надоело. Скоро мы отсюда снимемся. Войска нашего Северо-Западного фронта переходят в наступление.

Сообщение редактора вызвало радостное оживление. Карлов рассказал о задачах, которые будут решать войска нашей 53-й армии, дал задание всем корреспондентам и приказал сегодня же отправиться в дивизии и полки. Уже через час, пообедав и навешав на себя сумки и пистолеты, мы с Николаем шли по лыжне, кем-то проложенной после сильного снегопада. Москвитин, который был значительно выше меня ростом, шел быстро, а я все время отставал от него. Мое движение еще затрудняли большие валенки, которые я впервые носил.

— Здесь, брат, тебе не солнечный Дагестан, — сказал Москвитин, остановившись и подгоняя меня. — Надо привыкать к снегу и валенкам.

Он замедлил шаг, и мы, мирно беседуя, продолжали свой путь. Мертвая тишина царила в лесу.

— Тишина перед бурей, — заметил Москвитин. — Завтра будет кордебалет, и мы с тобой встретимся где-нибудь там, на западе...

Вскоре наши пути разошлись. Москвитин свернул на дорогу, которая вела к танковому полку, а я направился к пехотинцам.

Под вечер на лесной поляне выстроился стрелковый полк подполковника Фадеева. Перед строем было выдвинуто боевое знамя полка, которое держал бравый знаменосец с медалями на груди. К знамени подошел Фадеев, кратким вступительным словом открыв митинг, сказал:

— Слово имеет заместитель начальника политотдела дивизии подполковник Анцелович.

«Не тот ли Анцелович, — подумал я, — который до войны находился на руководящих постах в Москве, старый коммунист...» И действительно, у боевого знамени встал небольшого роста, но довольно-таки плотный пожилой человек и снял шапку-ушанку. На голове его еще сохранилась небольшая шевелюра, но она была белая, как лежавший вокруг снег. Выбросив руку вперед, Анцелович обратился к солдатам:

— Дорогие товарищи, сыны мои! Утром мы вступаем в бой. Я знаю, друзья мои, у многих из вас остались родственники по ту сторону фронта. Они здесь, совсем недалеко от нас. Они стонут под немецким сапогом. Я слышу их плач, я слышу крик их души. Слушайте и вы. Может быть, в тех селах, которые мы завтра освободим, есть ваши матери и жены, ваши дети и сестры. Они ждут вас. Они умоляют вас разбить захватчиков, отомстить им. «Спасайте нас, наши сыны! Богатыри, мы ждем вас!» Так поклянемся же, дорогие сыны мои, что не пожалеем сил, а если нужно, и жизни для спасения родных советских людей, для освобождения священной советской земли!..

Анцелович продолжал говорить, а у меня по телу будто ползали мурашки. Он говорил так горячо, вдохновенно, темпераментно, что у меня в горле собирался комок, а на глаза навертывались слезы. Много раз я слышал о пламенных агитаторах, но в этот день впервые пришлось послушать такого. Исподлобья разглядывая солдат, находившихся в строю, я не мог не заметить слез на глазах многих из них.

Но вот кончил говорить Анцелович. Потом опустился на колени перед знаменем полка, взял край святыни и, повторив слова «Клянемся, товарищи!», поцеловал его. Это был трогательный момент, трудно описуемый.

Потом заиграл духовой оркестр. Подразделения полка стали проходить мимо знамени строевым шагом. И вдруг один солдат с автоматом в руках вышел из строя, бросился на шею подполковнику Анцеловичу и стал целовать его седую голову, покрасневший большой лоб, повлажневшие глаза.

— Спасибо тебе, отец!

Я был изумлен этой сценой.

Ночью полк сосредоточился на переднем крае, солдаты заняли исходные рубежи для наступления. Мы провели ночь в лесу, под открытым небом, на снегу. В беседе с офицерами я узнал, что подполковник Анцелович тот самый старейший коммунист, который занимал руководящие посты в Москве, а в октябрьские дни 1941 года, когда гитлеровские полчища подошли вплотную к столице, старейший коммунист записался в ополченцы, сражался в качестве рядового в одной из Коммунистических дивизий, а потом был выдвинут на политическую работу. Вот, оказывается, каким был подполковник Анцелович.

Утром, когда кончилась артиллерийская подготовка и цепи стрелковых подразделений пошли в наступление, я увидел, как Анцелович, вынув пистолет из кобуры, побежал вперед, на врага.

— Товарищ подполковник, куда?! — крикнул один из штабных офицеров. — Вы же пожилой человек...

— Ну и что! — бросил он на ходу. — Моя жизнь дороже жизни этих молодых солдат? Я не болтун, а такой же солдат, как они.

И стал догонять наступающих бойцов. Больше я его не видел. Наступление успешно развивалось, хотя на поле боя оставалось много убитых и раненых наших воинов. Я шел за наступающими подразделениями от одного населенного пункта к другому, бывал то в одном, в другом полку, но Анцеловича больше не встречал.

Медаль «За отвагу» на груди Москвитина

Наши войска вели успешные наступательные бои. Вслед за наступающими двигались от одного населенного пункта к другому тыловые части. Давно снялась с места и редакция. В течение нескольких дней я отсылал корреспонденции с нарочными, передавал по телеграфу и телефону. Рядом со своими материалами на страницах газеты часто встречал очерки и зарисовки Москвитина, Кремнева, Фибиха и других корреспондентов. Москвитин находился где-то поблизости от меня и писал о танкистах, но мы с ним долго не виделись.. И вот неожиданная встреча. В селе, только что освобожденном нашими войсками, я наблюдал, как из одного полуразваленного домика выбежала навстречу нашим солдатам молодая женщина с ребенком на руках и радостно воскликнула:

— Наши родненькие! Наши спасители!

Высокий, здоровый солдат, тот, который целовал сегодого Анцеловича, взял у женщины ребенка, вынул из кармана несколько кусков сахара и отдал ему.

— Бери, ешь!

— Спасибо, родненький! — прослезилась женщина. Вдруг за моей спиной раздался знакомый басовитый голос:

— Миши!

Я обернулся. Москвитин крепко обнял меня.

— Николай, это ты?

— Да, пойдем со мной.

— Куда?

— В танковый полк.

— Зачем?

— Там мне будут вручать награду.

Я удивился. Почему вдруг корреспонденту газеты в танковом полку должны вручать награду? По дороге в полк Москвитин мне все разъяснил:

В тот день, когда началось наступление, в бой вступил танковый десант. Как только после артподготовки пехотинцы прорвали первую линию обороны немцев, обру-

шился на противника танковый десант. Вместе с десантниками сел на танк и Москвитин. Проехав несколько сот метров, он заметил, что на поле боя то там, то тут лежат отдельные бойцы стрелковых подразделений и прижимаются к земле. Спереди ведут огонь по нашим наступающим воинам немецкие минометчики. Заметив лежащих бойцов, Москвитин спрыгнул с танка и подбежал к одному из них.

— Что лежишь? — спросил он.

— Немцы бьют, — ответил тот.

— Бьют. А ты знаешь боевой устав пехоты? Что надо делать, когда противник ведет огонь из минометов?

Солдат молчит.

— Не знаешь, так знай: из-под минометного огня противника надо вырваться броском вперед. Осколки мин имеют свойства летать вперед. Если впереди тебя разорвалась мина, то не назад надо бежать и не лежать на месте, а стремительным броском вырваться вперед. Тогда ты обезопасишь себя. Понял?!

— Так точно, товарищ командир.

— Тогда действуй. Ну, вперед, вперед!

И солдат оторвался от земли. Потом Москвитин подошел ко второму, к третьему, к четвертому бойцу и стал поднимать их в наступление.

Тем временем танковый десант ушел далеко. Николаю уже не догнать его. Постоял он, подумал и побежал к окопам и блиндажам, из которых только что были выбиты немецкие офицеры и солдаты. В одном из блиндажей он обнаружил много апельсинов и лимонов.

— Вот так трофеи... — ахнул Николай. — Видимо, здесь жили офицеры. Умеют, окаянные, жить. На фронте как на курорте.

Москвитин набил свои карманы апельсинами и лимонами, вышел из блиндажа. И так как он уже отстал от наступающих десантников, решил разыскать командный пункт командира дивизии. Явившись к командиру дивизии, представился:

– Корреспондент армейской газеты писатель Москвитин.

Генерал с любопытством посмотрел на Москвитина, подошел к нему и протянул руку.

– Так, так, значит, это вы и есть тот Москвитин, который сегодня поднимал бойцов в наступление?

Москвитин удивился.

– Как вы узнали, товарищ генерал?

Тот широко улыбнулся, положил Москвитину на плечо руку и оказал:

– Видел в стереотрубу...

Оказывается, в тот момент, когда наши танки устремились вперед, командир дивизии, смотревший с командного пункта в стереотрубу, заметил высокого человека в солдатской шинели, который спрыгнул с танка и стал поднимать солдат. «Кто это?» – спросил он командира танкового полка Суздалова, который находился тут же. «Да это корреспондент газеты Москвитин», – ответил тот.

А теперь, тепло встретив прибывшего Москвитина, генерал сказал:

– Видел и все знаю о вас.

Тогда Москвитин вынул из карманов лимоны и апельсины, положил на стол перед генералом.

– Русская зима и субтропические культуры, – сказал Москвитин. – Оригинально. Не правда ли? Да еще какие апельсины! Итальянские. Думаю, что вы давно не ели итальянских лимонов, товарищ генерал...

– Да. Но где вы их достали?

Москвитин улыбнулся.

– В немецких блиндажах, трофейные, так сказать. Вы попробуйте, товарищ генерал. Не бойтесь. Я уже пробовал их. Не отравлены.

В это время к генералу вошел офицер штаба.

– Я, наверное, мешаю вам, товарищ генерал, – сказал Москвитин. – Разрешите идти?

– Да, можете. А за ваши действия будете отмечены наградой.

Через несколько дней командир танкового полка, куда был командирован Москвитин, сообщил ему радостную весть: генерал в приказ о награждении отличившихся в боях танкистов и десантников включил и писателя Москвитина.

— Вот так, брат, я и награжден медалью «За отвагу». Сегодня будут вручать награды. Пойдешь и ты со мной. Посмотришь, как твой друг получает медаль.

Я шел с Николаем и вспоминал недавние разговоры в редакции. Там зашла речь о представлении к наградам части творческих работников газеты. Говорили, что, предварительно рассматривая кандидатуры в политотделе, Карлов категорически возражал против награждения Москвитина. Карлов не взлюбил его почему-то с самого начала. Видимо, потому, что он был слишком прямой, любил много говорить, спорить, острить. А Карлов был человеком другого склада характера.

Будто прочитав мои мысли, Николай сказал:

— Миши, тебе не кажется, что Карлов получит инфаркт, узнав о моем награждении?

Я только улыбнулся. Вскоре мы пришли в лес, где расположился танковый полк после боя. На поляне выстроился весь личный состав. Командир полка приказал Москвитину тоже стать в строй. Здесь в торжественной обстановке командир полка зачитал приказ и, называя фамилии награжденных, стал навешивать им на грудь ордена и медали. Когда прозвучали слова о том, что корреспондент армейской газеты Николай Москвитин за отличное выполнение задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награждается медалью «За отвагу», Николай громко произнес:

— Служу Советскому Союзу!

Потом командир подошел к нему, пожал его руку и прикрепил медаль на его широкую грудь.

— Вот так, брат, — сказал Москвитин, когда мы попрощались с танкистами. — А теперь пойдем поищем, где находится АХО штаба нашей армии. Оно где-то здесь, недалеко, около командного пункта должно быть.

Наступили вечерние сумерки, когда мы нашли АХО. Вернее, сюда перебралась часть АХО для обслуживания находящихся на командном пункте людей. Основная часть штаба, политотдела и редакция с типографией оставались еще в тылу. Москвитин очень обрадовался, застав начальника АХО майора Плеушенко, которого в шутку здесь называли Плюшкиным.

— Поздравьте меня с наградой, — сказал Николай, войдя в землянку Плеушенко и выставив сверкающую серебром грудь.

— Ого, поздравляю! — Среднего роста, плотный, большеглазый Плеушенко пожал руку Москвитину и крепко обнял его. — Обмыть надо медаль, обмыть непременно.

— За этим я и пришел к вам.

— Немного водочки могу дать, — сказал Плеушенко.

— О-о, нет, брат, не пойдет. Водку мы и сами можем найти. Со мной коллега с Кавказа. Он водки не употребляет. Ему давай красного вина.

— Нема, — коротко ответил Плеушенко.

— Найдете. У вас есть резервы.

Плеушенко долго доказывал, что у него нет вина. А Москвитин и слушать его не хотел. После долгих споров на столе появилась бутылка «Кагора».

Утром, когда мы разыскали редакцию, Москвитин первым делом подошел к Карлову и доложил:

— Товарищ майор, разрешите доложить, что корреспондент Москвитин награжден медалью «За отвагу».

При этом он расстегнул шинель и показал свою грудь. Карлов изменился в лице и не сразу нашелся, что сказать. Потом, протянув руку и выдавив из себя улыбку, сказал:

— Ну, что ж, поздравляю.

Это была первая награда, полученная Москвитиным. Летом 1943 года он был откомандирован из нашей редакции, и я его не видел до конца войны. В январе 1946 года, находясь проездом в Москве, я зашел в парикмахерскую.

— Кого я вижу! — услышал я знакомый голос.

Передо мной стоял Москвитин в военной гимнастерке без погон. На груди его сверкало несколько орденов и медалей. Мы крепко обнялись и расцеловались.

Здесь я узнал, что Москвитин научился отлично стрелять из пистолета, хорошо показал себя на войне как писатель и воин, удостоился многих правительственных наград.

«Старый, а уже лейтенант»

Еще задолго до зимних наступательных боев к нам в редакцию прибыл из Москвы фотокорреспондент Александр Пархоменко. До этого фотографированием по совместительству занимался начальник издательства Геннадий Цитрон, который теперь целиком отдался хозяйственным делам. Пархоменко был по возрасту старше всех офицеров редакции, высокий, седой, немного сутулый, с кавалерийской походкой. По натуре своей Александр Васильевич был человек веселый. Хотя Пархоменко и был старше нас всех, но имел только звание лейтенанта. Однажды Юрий Левитанский в шутку сказал ему: «Такой старый, а уже лейтенант», на что Пархоменко ничуть не обиделся. Наоборот, он ответил: «Лейтенантские звездочки придают мне молодость».

Несмотря на свой пожилой возраст, Пархоменко был подвижным, оперативным, работоспособным. Он не только успевал своевременно бывать в действующих войсковых частях, фотографировать, но часто ездил в Москву, забирая с собой пачки снимков, заказывал клише и быстро возвращался на фронт (своей цинкографии наша армейская газета не имела).

С некоторых пор я заметил, что Пархоменко имеет большую популярность в армии. Его хорошо знали и принимали во всех частях, в штабах, к нему с уважением относились офицеры различных чинов и даже генералы. Как потом я узнал, он не только обеспечивал снимками газету,

но и бескорыстно удовлетворял просьбы многих солдат и командиров, которые рады были послать своим семьям личные фронтовые фотографии. Общаясь с высоким начальством, Пархоменко раньше других узнавал многие новости.

Весной 1943 года, когда войска Северо-Западного фронта окончательно разгромили немецко-фашистскую группировку в районе Старая Русса и заняли новые рубежи, редакция наша располагалась еще в лесу и мы ждали распоряжения для передислокации. После наступившей оттепели и таяния снегов поднялись подпочвенные воды, и землянка, в которой жили мы, начала затопляться водой. Помню, как, вооружившись ведрами и кастрюлями, Даниил Фибих, Николай Москвитин, Борис Кремнев и Владимир Губарев черпали воду из земляники, а прибежавший из штаба армии Пархоменко сказал:

— Напрасно трудитесь, товарищи. Сегодня отсюда снимаемся.

И действительно, в тот же день под вечер мы снялись с места, переехали в село, а через несколько дней своим ходом двинулись до ближайшей железнодорожной станции. А оттуда по железной дороге через Москву поехали в Воронежскую область, в распоряжение Степного фронта, где формировались новые части и соединения, обучались войска для предстоящих наступательных боев.

Воспользовавшись большой стоянкой эшелона на одной из станций окружной дороги в Москве, Пархоменко пригласил меня в город, к себе домой. Квартира у Пархоменко оказалась нетопленной, неубранной, безлюдной. Только здесь я узнал, что Александр Васильевич старый холостяк.

— Почему не женился? — спросил его я.

— Успеем еще, после победы, — шуткой ответил Пархоменко.

Насколько мне известно, он еще и после войны долго ходил в холостяках. Встретив его в 1948 году в Доме литераторов, где он работал фотографом, я вновь спросил о

его семейном положении, на что Пархоменко уклончиво ответил:

– Была у меня попытка жениться...

Александр Пархоменко оказался одним из немногих, которые остались в нашей редакции до конца войны.

Большие же изменения в составе редакции произошли в начале лета 1943 года, когда мы находились в составе Степного, будущего Второго Украинского фронта.

Об этих изменениях я и хочу коротко рассказать дальше.

Как Весеньев проспал сообщение Совинформбюро

Начало этим изменениям положила неприятная история с работником секретариата Весеньевым, которому почему-то здесь дали кличку Пан-дю-фас. Этот немолодой человек пришел к нам из гражданки в конце весны 1943 года, когда редакция располагалась недалеко от села Орехово Воронежской области. До этого Весеньев работал в одной из московских газет, имел обширные связи с журналистскими кругами, мог по много часов рассказывать всякого рода истории о разных писателях и журналистах, особенно много любил он рассказывать об Аверченко. Так как Весеньев в военном отношении был человеком неискушенным, а по летам своим не подходящим для частых командировок, редактор решил отдать его в распоряжение секретариата.

В обязанности Весеньева главным образом входил прием по радио последних известий и сообщений ТАСС, вычитка и засылка этих материалов в типографию для набора.

Газета наша была пятиразовая, и Весеньев обязан был каждый день аккуратно принимать последние известия и сдавать в типографию для опубликования в очередном номере.

В первое время Весеньев аккуратно выполнял возложенные на него обязанности, а секретарь редакции Смир-

нов даже доволен был, что имеет в секретариате такого опытного журналиста, хотя никто из нас так и не увидел ни одного запоминающегося материала, написанного им.

Однажды вечером, это было примерно в начале мая, Весеньев, сидя у приемника в ожидании последних известий, крепко заснул. Он проснулся поздно, когда сообщение Совинформбюро передавалось по общей сети. Спохватившись, он стал записывать, но успел набросать только первую часть, излагающую общее положение на фронтах. А боевые эпизоды, действия отдельных частей, подразделений, групп, совершивших героические подвиги на том или ином участке фронта, так и не успел записать Весеньев. Как же быть? Типография ждет материал для набора. К утру газета должна выйти.

Весеньев, не долго думая, садится за стол, сочиняет боевые эпизоды на столько строк, сколько места оставлено по макету секретарем. Он придумал и группу разведчиков, которая ходила «за языком», написал о каких-то артиллеристах и минометчиках, подавивших огневые точки противника на различных фронтах Отечественной войны, придумал даже фамилии отличившихся бойцов.

А утром, когда газета распространялась, читатели, прослушав радио и сопоставив сообщение Совинформбюро с тем, что написано в нашей газете, были удивлены. Это вызвало переполох в редакции. Не успел еще Карлов потребовать от Весеньева объяснения, как его вызвали в политотдел армии. Оттуда Карлов вернулся злой, мрачный, и в редакции состоялось экстренное собрание. Провинившийся Весеньев сидел с опущенной головой и не находил оправдания своему поступку.

В этот день Весеньев был отчислен из редакции и откомандирован.

Новый редактор

Теплое майское утро. В ложбинке, заросшей свежей травой, дымит редакционная кухня. Неподалеку за само-

дельными столиками под открытым небом мы едим приготовленную Дедюрой кашу. Москвитин и Левитанский, как всегда за завтраком, острят, пуская в адрес Цитрона и его боевого помощника Дедюры шутки. За моей спиной раздается голос Карлова.

— Позавтракаешь, зайдешь ко мне.

Быстро доедаю кашу, пью чай, бегу к редактору.

— Собирайся в командировку, — говорит он. — В нашу армию прибыло новое пополнение. Повсюду проходят занятия. Надо описать опыт лучших командиров, обучающих молодых солдат.

— Слушаюсь.

Вскоре оформляю свой аттестат, вооружаюсь блокнотами, карандашами, прощаюсь с товарищами. Три дня хожу по различным войсковым частям, присутствую на тактических занятиях, на стрельбищах, заполняю блокнот многочисленными фактами, примерами и возвращаюсь в редакцию.

— Карлов у себя? — спрашиваю встретившего меня Кремнева.

— Нет и не будет его больше, — отвечает он. Заметив мое удивление, Кремнев поясняет: — Пока ты путешествовал, у нас произошли большие изменения.

— Именно?

Оказывается, в редакцию приехал член Военного Совета армии Горохов, повел серьезный разговор с коллективом и сообщил, что Карлов уже не будет редактировать газету. Были откомандированы из редакции также Москвитин, Фибих, Цитрон, а заместитель редактора Прокофьев еще раньше был переведен в другую редакцию. И мне предстояло теперь познакомиться с прибывшими сюда товарищами.

— Ты иди сначала представься новому редактору, — посоветовал мне Кремнев. — Производит впечатление серьезного человека.

Когда я попросил разрешение и вошел в комнату редактора, он разговаривал с Губаревым, который теперь был выдвинут на должность заместителя.

— Вот он, наш воспитанник, если можно так выразиться, — сказал Губарев, указывая на меня.

Новый редактор, майор Котов, встал и протянул мне руку.

— Присаживайтесь, доложите, где были, чем можете обрадовать нас.

Я рассказал о занятиях, которые проходят в войсках, изложил кратко содержание предполагаемых корреспонденций, которые собираюсь написать. Котов выслушал меня, расспросил, кем я был на гражданке, потом, сухо попрощавшись со мной, предложил зайти к моему новому начальнику майору Елизаренко доложить о результатах командировки и сдать материал.

Признаться, первая встреча с Котовым у меня не вызвала особой радости. Показался он мне суровым, черствым человеком, и я даже оробел перед ним. «Не окажется ли он вторым Карловым?» — подумал я. В первые месяцы совместной работы у меня было с Котовым несколько стычек. Как-то я написал передовую статью об использовании минометов в наступательных боях. Прочитав ее, Котов бросил на стол и сказал.

— Плохо написал. Иди переделай. Посоветуйся с Елизаренко.

Меня не столько обидело то, что он забраковал передовую, сколько оскорбил тон его разговора. «Как мне не везет с редакторами», — подумал я и с тяжелым настроением ушел от него.

Постепенно мы изучили характер нового редактора, и если когда-либо он в резких тонах ругал нас за какую-либо неряшливость, то никто на него не обижался. Так мы и прошли с Котовым весь свой боевой путь до полной победы над фашистской Германией и милитаристской Японией.

Мой новый начальник Сергей Елизаренко

В противоположность Котову, приятной улыбкой встретил меня новый начальник отдела армейской жизни

Сергей Елизаренко. Он посадил меня рядом с собой, расспросил о моей жизни, работе, потом рассказал о себе. Хотя он тоже, как и Губарев, был кадровым офицером (до войны работал в окружной газете в Хабаровске), но ничем не выдавал своего превосходства в знании военного дела, был прост в обращении, вежлив, мягок и добродушен. Наблюдая за манерой его обращения, я заметил, что верхняя губа, несколько утолщенная, часто дергается, а глаза постоянно смеются. Среднего роста, немного сутуловатый, он никогда не расставался с планшеткой, висевшей у него на боку, ходил аккуратным, подтянутым, как подобает настоящему офицеру. Надо признаться, что этой подтянутости не хватало многим из нас. Хотя Елизаренко и не делал нам, своим подчиненным, замечаний из-за плохой выправки, его аккуратность постепенно переходила и к нам.

Бок о бок работая с Елизаренко до самого конца войны, я ни разу не заметил, чтоб он повысил голос, если даже кто-либо допускал неряшливость. Он умело находил ключ к сердцу каждого подчиненного, с тактом разбирал оплошность того или иного работника, после чего каждый из нас в душе был благодарен ему.

Елизаренко был всегда скромен. Не курил, ел мало. Дополнительный паек, выдаваемый офицерам в виде печенья, сливочного масла или консервированной колбасы, он почти всегда раздавал товарищам. Помню такой случай. В первые дни нашего знакомства мне предстояла командировка на несколько дней. Разъяснив мне цель командировки, подробно изложив задание, он открыл свой чемодан, выложил из него пачку любительского табака, печенье, сухари, конфеты.

— Положи в свою сумку, — сказал Елизаренко. — Пригодится тебе.

— Зачем, я же получаю.

— Это я знаю. Ты не к теще на блины идешь. Здесь фронт. Тебе предстоит дорога дальняя. Кто знает... Бери.

Так относился он и к другим работникам. Зато и к нему по-братски относились люди. Он быстро завоевал в

редакции любовь коллектива. И любое задание, исходящее от Елизаренко, каждый старался выполнять хорошо, в меру своих сил и способностей. Если даже иной корреспондент приносил материал недостаточно квалифицированный, Елизаренко не докладывал об этом, как это делал в первые дни моей работы в редакции Губарев. Елизаренко сажал рядом с собой работника, разбирал достоинства и недостатки корреспонденции, пытался вместе с автором переделать, придать материалу удобоваримый вид. При этом работник наглядно видел свою ошибку, учитывал ее, учился лучше писать. Так дружно работал с коллективом Елизаренко всю войну. Его хорошие качества как журналиста, коммуниста, человека были замечены руководством. После окончания войны Елизаренко был оставлен в Москве и в звании полковника занял пост заместителя редактора окружной газеты. А впоследствии он перешел на работу в редакцию журнала «Партийная жизнь».

Николай Патов, Николай Панюшкин и Николай Сюткин

Одновременно с Котовым и Елизаренко к нам пришли и другие товарищи. На должность специального корреспондента, которую обычно занимал писатель или поэт, был зачислен Николай Панюшкин, хотя им еще не было написано ни одной повести или поэмы. Панюшкин был молодой, выше среднего роста, блондин, с розовым красивым лицом, глаза серо-голубые. Он был простой, веселый, общительный. Часто бывал в войсках, писал неплохие корреспонденции и зарисовки, иногда очерки. Любил хорошо покушать, избегал спиртных напитков. Зато равнодушен был к молочным продуктам. Мог за один присест выпить три литра парного молока.

Прибыл в редакцию и другой Николай, занявший место Весеньева. В отличие от Николая Панюшкина Николай Сюткин был несколько замкнутым. Небольшого роста, плотный, он ходил в очках, разговаривал басом. В коман-

дировках бывал очень редко, поэтому и в газете выступал изредка.

Несколько позже, перед тем как начались наступательные бои в районе Курской дуги, редакция пополнилась еще одним Николаем. Это был майор Патов, низкого роста, сухопарый блондин с большой красивой шевелюрой. До этого он в газете не работал, а командовал стрелковым батальоном. Дело в том, что большинство журналистов нашей редакции пришло из гражданки. Руководство сочло нужным пополнить коллектив человеком, который хорошо знает военное дело. Ведь были случаи, когда на страницах газеты появлялись статьи, малограмотные в военном отношении. Правда, в целях повышения военных знаний журналистов время от времени с ними проводились занятия. Но наличие в редакции человека, сочетающего качества строевого командира и журналиста, было необходимо. Но, к сожалению, Патов, хотя и славился как хороший командир батальона, в журналистике был слаб. Он мог глубоко изучить положение в частях и подразделениях, собрать и привести многочисленные интересные факты, высказать в военном отношении очень грамотные мысли, но стоило взяться ему за перо, мучился, пыхтел и выдавливал из себя сорок-пятьдесят строк.

И стали в газете появляться одна за другой заметки Патова в тридцать, сорок, пятьдесят строк. Не случайно остряки из редакции стали в шутку называть Патова мастером короткого жанра.

— На то вы и опытные журналисты, чтоб помочь мне писать большие статьи, — говорил он. — У меня факты и военные знания, у вас журналистские способности. Соединим их вместе — и дело у нас пойдет.

Все это он говорил без злобы, без обиды, открыто и честно. После этого я заметил, что за подписью Патова стали появляться большие квалифицированные материалы. Из каждой командировки он возвращался с несколькими исписанными блокнотами, готовил черновые наброски, отдавал то Кремневу, то Елизаренко, то Панюшкину для окончательной доработки. В результате фамилия Патова

чаще любого другого корреспондента стала мелькать на страницах газеты. И это привело к тому, что в шутку стали называть Николая Патова ползучим псевдонимом.

— Пусть как хотят называют, — отвечал на это Патов, — но люди читают статьи Патова.

Шутки шутками, а с некоторых пор на статьи Патова стал обращать внимание член Военного Совета армии Горохов. И когда войска Второго Украинского фронта успешно развивали наступление и многие отличившиеся в боях воины были отмечены орденами и медалями, генерал Горохов сам предложил редактору в числе других журналистов представить к награде Патова.

— Я часто читаю выступления Патова, — сказал Горохов редактору. — Он у вас активный корреспондент.

А когда на его груди появился орден «Отечественной войны», он прежде всего пригласил отметить награду тех товарищей, которые помогали ему обрабатывать материалы.

Патов был простой, общительный человек, честно выполнял свой долг и постепенно учился писать квалифицированные статьи. Перед концом войны он стал писать стихи, а после войны, как мне передали потом сослуживцы, он стал пробовать свои силы в области детской литературы, писал детские рассказы.

Мои земляки

Кто был на фронте, тот хорошо знает, как приятно встретить за тысячи километров от родного дома знакомого человека или просто земляка. О такой встрече и я мечтал с первых дней пребывания на фронте. Но мне что-то не везло с этим, хотя по роду своей профессии я часто бывал в различных дивизиях, полках, батальонах, ротах, взводах и даже в отделениях. То ли на Северо-Западном фронте мало было южан, то ли просто они мне не попадались на глаза.

Но вот наша армия перебралась на юг. Второй Украинский фронт успешно развивал наступательные бои.

Здесь на фронтовых дорогах приходилось встречать людей со всей нашей необъятной страны. Интересные встречи были у меня и с моими земляками.

Сестра поэта

Наши войска, форсировав Днестр, развивали наступление на территории Молдавии. Редактор приказал мне поехать на правый берег Днестра, информировать о ходе боев. Солнечным весенним утром я подошел к переправе. Здесь было большое скопление людей, автотранспорта, танков, вооружения. Переправа была закрыта, саперы исправляли мост. На переправу налетели немецкие бомбардировщики, загрохотали наши зенитки.

Люди отбежали в укрытия. Пришлось и мне поискать безопасное место. Я ушел далеко от переправы, залег в ямке, за кустарником. Вскоре наши зенитчики отогнали фашистских стервятников. Я поднялся, чтоб идти к переправе. Около кустов, на берегу, раздался громкий девичий голос.

— Уйдите, как вам не стыдно!

Я оглянулся. Два рослых красноармейца преградили путь девушкам в военной форме.

Уйдите! — говорила одна из девушек. — Не то позову командира.

Увидев меня, красноармейцы отошли. Я посмотрел на девушку, которая кричала «уйдите», и она показалась мне южанкой. Совсем молодая, смуглая, круглолицая, с дагестанским акцентом.

— Вы случайно не из Дагестана? — спросил я.

— Да, — мило улыбнулась девушка.

— Если не секрет, из какого района, чья дочь?

— Я сестра Эффенди Капиева, может, слышали? Меня зовут Зейнаб.

Она чуть отвернулась и вытерла платком повлажневшие глаза.

— Что вы, почему плачете?

– Недавно я получила письмо, что Эффенди скончался. Во время операции желудка. У него язва была.

Она заплакала громко. Подруги стали успокаивать Зейнаб.

– Не надо, Зейнаб, ты же солдат. Будь мужественной...

Оказывается, Зейнаб служила в той же армии, в которой и я, являлась телефонисткой армейского полка связи. Мы шли на запад одними дорогами, останавливались в одних и тех же населенных пунктах, а друг друга не знали до этого весеннего утра 1944 года. Не виделись мы с Зейнаб и после этого дня. Шла война, войска были в движении, каждый был поглощен своими делами. А после войны и вовсе я не мог видеть Зейнаб, ибо остался служить в армии. Прошли годы. Я оказался в Махачкале, работаю в «Дагестанской правде». Однажды вечером, во время дежурства по газете, в начале 1965 года, смотрю публикуемый снимок. На снимке медицинская сестра и больной, принимающий серную ванну. Читаю: медсестра З. Капиева. Вспоминаю 1944 год, переправу у Днестра, молодую смуглую девушку в красноармейской форме. Сравниваю ее лицо с лицом медицинской сестры на снимке. Да, это она. Сомнений не может быть. Так, в канун двадцатилетия со дня победы над фашистской Германией я узнал, что живет, здравствует и трудится Зейнаб Капиева – участница Великой Отечественной войны.

Лейтенант из Дербента

Осенью 1944 года наша армия вела успешные наступательные бои на территории Венгрии. Я получил задание поехать в один из штурмовых полков, который располагался у небольшого городка Пюшпек-Ладань.

Стоял теплый солнечный день, когда я сошел с грузовика и остановился на одной из зеленых улиц. Здесь было тихо, как в лесу. Но вдруг эту тишину нарушили артиллерийские залпы и гул моторов.

Над городом появились вражеские бомбардировщики.

— Бахшиев! — вдруг раздался сзади меня звонкий голос.

Я обернулся. Передо мной стоял молодой офицер в форме лейтенанта.

— Кто вы? — спросил я.

Он улыбнулся.

— Не узнаете земляка?

А самолеты кружили над городом. Неподалеку уже разрывались бомбы.

— Пошли в укрытие, потом поговорим.

Я взял лейтенанта за руку и потащил за собой... Потом, когда кончилась бомбежка и мы вышли на улицу, я стал разглядывать лейтенанта.

— Значит, не узнаете? — повторил он.

— Нет.

— А я вас сразу узнал. Меня, может быть, вы и не знали. Я моложе вас. Работал комсоргом на Дербентском консервном комбинате. Зовут меня Мухтаром. Теймуров фамилия моя. А брата моего Абдуразака вы должны знать. В горисполкоме работает. В плановом отделе.

Когда он назвал имя Абдуразака, я сразу вспомнил того. Мы еще раз пожали друг другу руки и по-братски обнялись.

— Вы куда путь держите? — спросил Мухтар.

— В штурмовой полк.

— К нам, значит?

Оказалось, что Теймуров исполняет обязанности заместителя командира полка по политчасти. Он мне и нужен был.

— Идемте, будете моим гостем.

В полку Теймуров познакомил меня с командирами, рассказал о лучших воинах, отличившихся в боях. А воевали люди этого полка храбро, штурмовали самые трудные, укрепленные линии обороны противника. На счету полка было много освобожденных населенных пунктов, уничтоженных вражеских танков и самолетов, истребленных фашистов. Через день я тепло попрощался с Мухта-

ром, а через пару дней в газете появилась моя корреспонденция о воинах полка. Теперь я знал, что недалеко от меня, в составе нашей армии воюет полк, а в полку — мой земляк Теймуров. По мере возможности я старался посещать этот полк, писать и организовывать статьи самих командиров и бойцов. И вот во время одной из таких поездок я немало был удивлен, встретив Теймурова бледным, осунувшимся. Он поднял на меня глаза и, приложив палец к уху, сказал:

— Я ничего не слышу. Контужен, а командира полка убило,

...Бой был горячий. Немцы не сдавали позиций. Вражеский снаряд прямым попаданием разбил командный пункт. Командир полка погиб, Теймурова контузило.

— Ничего, — сказал Мухтар. — До свадьбы заживет...

С Теймурова я уже не терял связи. Всю войну до конца он шел рядом со мной. В начале 1945 года его назначили заместителем командира батальона связи по политчасти. Батальон этот, как и вся наша 53-я армия, потом перебазировался на Восток и в составе Забайкальского фронта воевал против японских милитаристов.

После окончания войны, когда я служил в Баку, Теймуров также был моим соседом, заместителем командира артиллерийского полка по политчасти...

Гаджи Буганов

Маленькое венгерское село окутали вечерние сумерки. На улице сыро, безлюдно, тихо. Моросит мелкий дождь. Откуда-то издали доносятся звуки одиноких орудийных выстрелов...

Это было в первых числах января 1945 года. Я стоял возле крытой автомашины, в которой размещался наборный цех типографии нашей газеты, рассматривая гранки очередного номера. Меня окликнул фотокорреспондент Александр Пархоменко.

— С тебя магарыч, — сказал он, — четверть дагестанского вина!

Я вопросительно взглянул на него. Пархоменко протянул мне только что отпечатанный им фотоснимок.

Со снимка смотрел молодой красивый офицер в форме капитана. На груди у него поблескивал орден Красного Знамени.

— Не узнаешь? — спросил Пархоменко.

— Нет.

— Ай-ай-ай, какой же ты дагестанец, не узнаешь своего земляка!

— Кто он? — спросил я.

— Гаджи Буганов, командир батальона штурмового полка. Совершил героический подвиг при форсировании реки Тиссы.

Гаджи Буганов. Нет, незнакомый мне человек. Я задумался. Значит, где-то здесь находится земляк, отличившийся в боях.

— Ну, что замолчал? — сказал Пархоменко. — Тебе надо очерк написать о нем.

Написать очерк. Как? Для того, чтобы написать о человеке, надо знать его, побывать на месте боев, поговорить с людьми... «Хорошо, — решил я, — поеду в полк к Буганову, встречусь с ним, познакомлюсь». Но прежде чем поехать к земляку, я зашел в штаб армии, познакомился с личным делом Буганова, его биографией.

Из личного дела я узнал, что Гаджи Буганов родился в ауле Ханар Лакского района. Отец его, Осман Абдурахманович, долгие годы, как и многие лакцы, в поисках заработка уезжал из родного аула в различные области страны, занимался отходничеством. Часто Осман брал с собой и семью. До шести лет Гаджи путешествовал вместе с отцом. В 1934 году юноша поступил в Дагестанский педагогический институт. Учился хорошо. Окончил успешно институт и с 1939 года стал преподавать в медицинском техникуме историю СССР.

В декабре 1939 года молодой коммунист Гаджи Буганов был призван в ряды Советской Армии. Служил в Куйбышеве, потом учился на курсах командного состава.

Великая Отечественная война застала Буганова под Москвой, где он преподавал на курсах командного состава.

Боевое крещение Гаджи получает, будучи командиром стрелкового взвода. Потом он командует ротой, защищая подступы к Москве, сражается под Новороссийском, под Орджоникидзе, участвует в жарких боях под Краснодаром, получает осколочное ранение.

Из личного дела Буганова я узнал богатую событиями боевую биографию воина-коммуниста. Он сражался в боях при формировании Днепра, участвовал в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки немцев, во взятии Кишинева, освобождении Румынии и Венгрии.

Читал я биографию Буганова — удивлялся. Долгий путь войны проходил где-то рядом со мной, и я не знал о его существовании. А теперь он находится совсем недалеко и отличился в боях при форсировании реки Тиссы. Я поспешил туда, где располагался штурмовой полк.

Ехал на попутной машине, по местам, где накануне шли жаркие бои. В степи, среди грязи, валялись то тут, то там трупы немецких вояк, искалеченные «тигры» и «пантеры», автомашины и орудия. Еще большее количество вражеских танков и обугленных фашистов лежало на западном берегу Тиссы.

— Здорово здесь досталось фрицам от штурмового батальона, — сказал ехавший со мной солдат. — Наши бойцы форсировали реку, заняли плацдарм, а против них обрушилась армада немецких танков. Но наши не дрогнули. Грудью встали. С восточного берега били противотанковые пушки, а с пяточка — гранатометчики, бойцы с противотанковыми гранатами.

Мы подъехали к полуразрушенному селу, где после боя отдыхали воины батальона Буганова.

— Вам кого, командира батальона? — спросил дежурный офицер. — Его не будет сегодня. Вызвали по срочному делу.

— Досадно, — сказал я.

— Вам очень нужен он? — спросил молодой офицер. Узнав о том, что я собираюсь писать о комбате Буганове, он сказал:

— Наш комбат скромный человек. О себе он вам ничего не расскажет. Лучше всего о нем расскажем мы. Если хотите писать, садитесь, пожалуйста, все подробности узнаете от нас.

И вот что рассказали мне бугановцы о своем командире, о боях при форсировании реки Тиссы.

— Наш батальон в составе штурмового полка, — сказал дежурный офицер, — получил приказ форсировать Тиссу и продолжать наступление. Накануне комбат собрал командиров подразделений и вывел к рекогносцировку местности. Надо было изучить противоположный берег реки, выбрать место для переправы.

Враг сидел на высотах, господствующих над окружающей местностью. Но это не смущало комбата. Не такие высоты он атаковал со своими бойцами. Его не пугали ни горы, ни быстрые реки, ни дремучие леса. Гаджи Османович родился и вырос в Дагестане. Он в свое время вел батальон через Трансильванские Альпы и Карпатские горы.

Теперь, изучая вражескую оборону, комбат хотел выбрать такое место для переправы, чтобы без лишних потерь форсировать реку, нанести врагу внезапный удар. Вскоре созрело решение.

— Переправляться будем здесь, — сказал комбат. — Первая рота высадится левее высоты, обойдет вражеские укрепления вон той лоштинкой и атакует противника с фланга...

Командиры рот и поддерживающих подразделений внимательно выслушали гвардии капитана и вернулись в расположение. Ночью на фронте было тихо, а утреннюю тишину нарушил гул артиллерийских залпов. Высокий бе-

рег реки, где проходили немецкие траншеи, покрылся дымом.

— Вперед! — раздался голос комбата. И лодки с бойцами, пулеметами и минометами отчалили от берега одна за другой. Многие бойцы плыли на плотках, сооруженных на месте. Вскоре отчалила от берега лодка, в которой сидел сам комбат.

Враг встретил советских бойцов свинцовым дождем. Но они стремились вперед, к цели. На середине реки командирскую лодку продырявил крупный осколок мины.

— Товарищ комбат, — крикнул гребец, — берегитесь!

— Вперед! — скомандовал Буганов.

— Беспокоюсь за вас, товарищ гвардии капитан, — проговорил боец, не оглядываясь назад.

— Смелей, смелей, Андрюша! — подбадривал солдата комбат.

Его лодка в числе первых причалила к вражескому берегу. Выпрыгнул он из лодки и, не теряя времени, стал управлять боем. Взвод за взводом, рота за ротой наши воины высаживались на берег и устремлялись на позиции немцев. Обойдя высоту с двух сторон, батальон обрушился на противника, завязал рукопашную схватку.

Бугановцы уничтожили десятки гитлеровцев. Многие не выдержали удара советских воинов и подняли руки вверх. Батальон овладел высотой, первым занял плацдарм на западном берегу реки.

Потеря этой высоты создавала для немцев большую угрозу. Гитлеровцы учли это и бросили против батальона танки, бронетранспортеры, артиллерию и большое количество пехоты.

— Отходить некуда, — сказал комбат. — Ни одного метра занятой земли не отдадим врагу!

Четыре раза фашисты бросались в контратаку. Комбат находился там, где было труднее всего. Он переползал от одного бойца к другому, воодушевлял их, вселял в них бодрость. В лощине стоял пулемет. Он на минуту перестал стрелять. Буганов поспешил к пулеметчику.

— Что случилось?

— Задержка, товарищ комбат.

Буганов осмотрел пулемет. Устранил задержку.

— Огонь! — скомандовал он.

Все воины батальона сражались мужественно, храбро. Батальон, отвлекая на себя внимание крупных сил врага, дал другим подразделениям возможность форсировать реку.

Когда подтянулись остальные батальоны, Буганов снова поднял своих бойцов в атаку. Прорвав вторую линию немецкой обороны, пошли вперед.

В этот день батальон истребил 109 гитлеровцев, взял в плен 300 солдат и офицеров неприятеля, захватил исправную артиллерийскую батарею, уничтожил 14 вражеских пулеметов, 3 бронемашины, 3 минометных и одну артиллерийскую батарею.

А ночью, после жаркого боя, батальон овладел селом. Гаджи Османович, усталый и потный, вошел в комнату, отведенную под командный пункт. Он сел на скамейку и задумчиво посмотрел в окно. Ординарец подошел к своему командиру:

— Может быть, немного отдохнете, товарищ комбат?

— Еще успею, — ответил Буганов, — отдыхай пока сам.

Буганов вспоминал картину сегодняшнего боя. Потом он начал дремать, а через несколько минут уснул, сидя на скамейке.

На рассвете комбат уже был в окопчике за селом. Рядом с ним — командиры рот. Комбат ставил новую боевую задачу.

...Этот рассказ сослуживца Буганова я аккуратно записал, и через несколько дней в газете «Родина зовет» была опубликована корреспонденция под заголовком «Комбат Буганов управляет боем».

Армия наша продолжала наступление, и мне по заданию редактора пришлось поехать в одну из дивизий. По мере продвижения наступающих частей меняла свое расположение и редакция. Она уже была в городе Балашдырмате, когда я вернулся из командировки. Первым меня встретил Пархоменко.

— Вот какая досада! — сказал он. — Час назад здесь был герой твоей корреспонденции Буганов. Искал тебя.

— Ну!

— Да. Узнал, что ты его земляк, и хотел увидеть тебя. Очень просил тебя найти его. Он теперь в авиадесантной дивизии начальником разведки. Непременно поезжай!

Но сразу поехать к Буганову я не смог. Армия с боями шла вперед, и мне приходилось выполнять специальные задания редактора: бывать в наступающих подразделениях, информировать читателей газеты о событиях в районе боев. Наши войска находились на подступах к чехословацкому городу Брно, когда представилась возможность съездить к Буганову.

Брно. Когда я сюда приехал, наши войска добивали последних сопротивляющихся фашистов и завершали полное освобождение города. Местные жители — чехи и словаки, старики и женщины с детьми — выходили из подвалов и с распростертыми объятиями бросались к советским солдатам и офицерам. Среди этих воинов были и сослуживцы Буганова. Разузнав, где штаб, я поспешил гуда, чтобы встретиться с Бугановым. Но и здесь меня постигла неудача.

— Буганов ранен и эвакуирован в тыловой госпиталь, — сказали мне в штабе.

Двойное огорчение. Во-первых, то, что Буганов ранен, во-вторых, опять не состоялась встреча. Так и не увидевшись с героем своей корреспонденции, я отправился на поиски редакции, которая тоже передвигалась вслед за наступающими соединениями.

— Ну, поздравил своего земляка? — спросил меня Пархоменко, размахивая свежим номером армейской газеты.

— С чем? Я его не застал ведь...

Александр Васильевич дал мне газету.

— Вот почитай, гордись своим земляком. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Я с жадностью прочитал Указ, и мое сердце наполнилось гордостью за земляка.

– Заверни газету, – сказал Пархоменко, – положи в пакет и пошли в свой родной Дагестан.

Я так и сделал. Но встретиться на фронте с Бугановым так и не довелось.

...Прошло семнадцать лет. Это было на махачкалинском пляже. Стоял жаркий августовский день. Пляж был переполнен отдыхающими. Я выкупался, оделся и собрался было уходить и вдруг вижу: пристально смотрит на меня стройный, красивый, спортивного телосложения мужчина с полотенцем в руках. «Он или не он?» – подумал я. Потом, когда он улыбнулся, я сказал:

– Буганов!

И когда он узнал, кто я, мы обнялись как старые близкие друзья. Я узнал, что Буганов уже полковник, служит в Харькове, преподает в военном училище. А сейчас приехал на отдых в свой родной Дагестан.

Яша Денисюк

В начале своих заметок я упомянул имя корреспондента Яши Денисюка. Но о нём стоит сказать немного больше. Пришёл он в армию ещё до войны рядовым красноармейцем, служил в танковой части, писал заметки в дивизионную газету. В 1942 году я застал его в редакции газеты «Родина зовёт» в должности корреспондента отдела армейской жизни, в чине лейтенанта.

С Денисюком мы не сразу подружились. Вначале он держал себя особняком, характер его мне был непонятен. Говорили, что он вырос сиротой, много пережил в детстве, воспитывался в детском доме. Часто в разговоре употреблял своеобразные слова, характерные для одесситов, распевал «Шаланды полные кефали» из фильма «Два бойца». Потом я узнал, что Денисюк является одесситом.

Внешне Денисюк отличался от других корреспондентов тем, что носил форму танкиста, имел отличную офицерскую выправку, был худощавым, подтянутым, ходил с планшеткой на боку. Писал Денисюк в военном отноше-

нии грамотно, за что первый наш начальник Губарев хвалил его.

Но потом, пройдя с Денисюком тысячи километров по дорогам войны, мы изучили его характер, привыкли к нему и стали хорошими друзьями. В то же время мы стали замечать, что Яша иногда, рассказывая о своих командировках в части и соединения, любит приукрашивать события, старается удивить своих слушателей.

Однажды во время наступательных боев нашей армии на Украине Денисюк находился около артиллеристов, прокладывающих огнём путь стрелковым подразделениям. И вдруг на этом участке немцы предприняли контратаку с помощью танков. После того, как контратака была отбита, наши войска заняли намеченные рубежи и Денисюк возвратился из командировки в редакцию, его окружили офицеры редакции, стали расспрашивать о событиях в войсках.

— О, что там было, — сказал Денисюк, размахивая руками. — Когда немцы контратаковали, я находился около противотанковой пушки. Артиллеристы били прямой наводкой по танкам, которые ползли на нас, стреляя на ходу. Впереди бабахнул снаряд, и осколок угодил в наводчика. Его заменил командир орудия. Но раздался еще выстрел, и он упал, тяжело раненный. А танки напирали. Что оставалось делать? Я заменил наводчика и стал прямой наводкой бить по вражеской броне...

За спиной Денисюка стоял и внимательно слушал его начальник издательства (заменивший Цитрона) Мкртычев. Последние слова Денисюка вызвали на его лице широкую улыбку.

— Вай-вай, что я слышу, — воскликнул Мкртычев... — Ты, дорогой Яша, говоришь, прямо как пишут в газетах.

Все засмеялись, а Денисюк чуть побагровел.

— Не веришь, как хочешь, — сказал он.

Яков Денисюк оказался одним из немногих, которые остались в редакции до конца войны и писали боевые корреспонденции о подвигах советских воинов. После войны я его не встречал. Теперь часто читаю его информации на

четвертой странице «Правды» из Киева. Возвратившись после войны на родную Украину, он продолжал журналистскую деятельность, работая корреспондентом «Правды».

На реке Ля-о-Хе

В конце лета 1945 года войска Забайкальского фронта вели наступательные бои, сокрушая квантунскую армию. Советские воины теперь уже освобождали китайский народ из-под ига японских милитаристов. Наша редакция, переброшенная с запада на восток, сначала дислоцировалась в монгольском городе Чойбалсане, потом вместе с войсковыми соединениями двигалась к китайской границе по безводной пустыне под палящими лучами солнца. На пути стояли монгольские города Арад-ж-ара-гананда-Хид, Тамцак-Булак, река Халхин-гол, хребет Малый Хинган...

Вскоре стрелковые соединения во взаимодействии с танковыми частями прорвали оборону японцев и продолжили победоносные наступательные бои за освобождение китайской территории. Мы еле успевали за наступающими войсками. Надо было на ходу добывать материал для статей, на ходу выпускать газету и не отставать от наступающих.

Шаг за шагом продвигаясь на восток, мы подошли к реке Ля-о-Хе. Стоял солнечный осенний день. Никогда, пожалуй, на берегах этой широкой, быстрой, но мелкой реки не было такого скопления людей. Мост неподалеку был разрушен. Войска переправлялись вброд. Преодолевали водную преграду и машины, хотя дно было мягкое, песчаное.

Редактор газеты Котов, собрав накоротке творческих работников, заявил:

— Как видите, товарищи, моста нет. Будем переправляться вброд. Но учтите, дно реки мягкое. С водителями я поговорю особо.

У редакции к концу войны было пять машин. В двух трехтонных стояли плоскопечатные машины. Можно ска-

зять, у нас было два печатных цеха. Одна грузовая машина была занята наборным цехом, другая — столовой, в которой орудовал все тот же Иван Дедюра. Была еще и легковая машина. К каждой машине был прикреплен офицер.

— Помни, — предупредил меня Котов, — в своей машине первым будешь переправляться. Смотрите чтобы все было аккуратно.

Я сидел в кабине крытой трехтонной машины. А в кузове — плоскпечатная машина со сверстанной, но еще не отпечатанной газетой. В этом номере публиковался договор о дружбе, взаимной помощи, послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Китаем. Вот почему Котов предупредил меня о высокой ответственности при форсировании реки. О, если бы все зависело от нас! Кто мог знать, что произойдет через пять минут с нашим печатным цехом! Отъехав от берега несколько метров, шофер со страхом поглядел на меня.

— Товарищ майор, — сказал он, — машина садится...

Я и сам почувствовал, что вместе с машиной опускаюсь в землю. Меня охватило какое-то непонятное чувство.

— Вылезайте из кабины! — крикнул шофер и сам прыгнул в воду.

Несколько секунд, и я оказался по колено в воде. Не успели мы с шофером опомниться, как на глазах у нас тяжелая машина стала погружаться в воду. Оставшиеся еще на берегу наши коллеги подняли тревогу, но не успели организовать помощь. Песчаный грунт засосал машину. Прошло несколько минут, и наш печатный цех оказался похороненным на дне Ля-о-Хе.

Благо, у редакции была вторая плоскпечатная машина. Переправившись на восточный берег Ля-о-Хе с помощью стоявшей там артиллерийской части (артиллеристы перекинули тросы, прицепили ремнями машины и своими грузовиками вытянули их на другую сторону), наборщики снова набрали материалы газеты, и мы на ходу выпустили

номер с договором о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Китаем.

Кто знает, может быть, пройдут годы, изменит русло Ля-о-Хе, и археологи при раскопках обнаружат плоскочастную машину и заключенный в ней набор неопечатанного номера газеты.

Командующий

Я не рассказывал о командующем армией генерале Манагарове, который, несмотря на огромную занятость боевыми операциями, большое внимание уделял газете. В первые годы войны, когда наша 53-я армия воевала на Северо-Западном фронте, командующим у нас был другой генерал. Манагарова же впервые я увидел летом 1943 года, перед тем как наши войска окончательно освободили Харьков и стали победоносно продвигаться на запад.

Это было в лесу под Харьковом. Здесь сосредоточились стрелковые дивизии для наступления. Накануне редактор приказал мне поехать в одну из дивизий.

— Вы приехали кстати, — сказал мне инструктор политотдела дивизии. — У нас находится генерал Манагаров. Он будет встречаться с личным составом полков.

Мы вышли на поляну. Перед строем частей и подразделений рядом с командиром дивизии стоял среднего роста генерал пожилого возраста. Это и был наш командующий генерал Манагаров. Он подходил к каждому бойцу, спрашивал, давно ли воюет, имеет ли ранения, награды, за какие бои... И, если кто-либо из бойцов давно воюет, имеет ранения, заслуги, но не получил награду, то тут же принимал решение о награждении бойца, насколько это было в его власти.

Обходя строй одного из батальонов, генерал обратил внимание на пожилого сержанта с длинными черными усами. Задержался около него, пристально посмотрел, что-то вспоминая. Потом, когда сержант назвал свою фамилию, напомнил о том, что еще во время первой мировой

войны был фельдфебелем такого-то эскадрона, такого-то кавалерийского полка, генерал бросился к нему, обнял его, поцеловал, называя по имени и отчеству. Оказалось, что в то время Манагаров служил солдатом в том самом эскадроне.

— Ну, а в эту войну в каких боях участвовал? — спросил генерал.

— Был пулеметчиком, ранен под Сталинградом.

— Награду получил?

— Не успел.

Через несколько дней, когда наши войска успешно развивали наступление, освобождая землю Украины, я часто видел бывшего фельдфебеля в форме советского кавалериста с одной звездочкой на погоне. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Он был награжден орденом «Красная Звезда», назначен командиром конного взвода и часто ездил на линейке вместе с командующим.

Манагаров встречался с бойцами не только перед наступательными боями. Его часто могли видеть солдаты на огневых позициях, на командных пунктах командиров частей, в медсанбатах и госпиталях. Он навещал раненых, подолгу сидел у их коек, интересовался их состоянием, оказывал необходимую помощь.

В одном из госпиталей произошла такая встреча. Генерал после многодневных боев на территории Венгрии решил навестить раненых. На койке рядом с товарищами лежал после операции сержант Слесарев — бывший рабочий Махачкалинского морского порта. Одна его нога была ампутирована. Как только Слесарев заметил вошедшего в палату генерала, вытянул руки по швам и произнес:

— Здравия желаю, товарищ генерал!

Манагаров подсел к Слесареву, расспросил его, откуда родом, где работал до войны, в каких боях участвовал. Узнав о боевом пути воина из Махачкалы, о его подвигах и ранениях, тут же наградил его орденом, пожелал ему быстрого выздоровления и счастливой встречи с семьей.

Прощаясь с генералом, Слесарев прослезился. Он был тронут вниманием, оказанным ему.

Часто перед наступательными боями командующий звонил нашему редактору, чтобы тот послал к нему корреспондентов, едущих в районы боев. Собрав нас, Манагаров раскладывал карту на столе, знакомил с задачами, которые будут решать войска, советовал, на что обратить внимание в своих корреспонденциях и статьях. Работники штаба говорили, что свой рабочий день командующий начинал с чтения нашей газеты. В этом мы сами убедились. Каждый день, когда это было возможно, он звонил редактору, высказывал свои замечания по газете, давал указания. Такое отношение командующего к своей газете воодушевляло нас, удешевляло нашу энергию.

Командовал Манагаров нашей армией до полной победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Расстались мы с ним в 1946 году в Иркутске, когда наша армия была расформирована.

Но какова была мой радость, когда через несколько лет стал сотрудничать в другой армейской газете, где командующим снова оказался генерал Манагаров. Это уже было в дни мирной жизни и учебы. Но редакция уже была другая, и коллеги мои по газете тоже все новые.

Давно я уволился из армии. Но мне кажется, что и генерал Манагаров, и мои коллеги по редакции Даниил Фибих (Лучанинов), Сергей Елизаренко, Борис Кремнев, Юрий Левитанский, Николай Москвитин, Яша Денисюк и другие товарищи как будто и теперь находятся рядом со мной.

* * *

Мои встречи на фронте начались с знакомства с писателем Фибихом, которого летом тысяча девятьсот сорок третьего года отозвали из редакции и по чьему-то навету репрессировали. О судьбе его работники редакции долго не знали. Потом, после войны, мне рассказывал Кремнев, что Фибих живет где-то под Москвой, Встречаться же с Фибихом мне не приходилось.

И только в начале 1965 года, будучи на втором съезде писателей РСФСР, я узнал, что Даниил Фиби́х жив, здоров, является членом Союза писателей и продолжает писать книги.

Я проходил мимо небольшого дома по ул. Щусева. У подъезда стоял высокий мужчина с посеребрившейся шевелюрой. Его серые умные глаза разглядывали меня.

– Послушайте, вы не Миши?

Я узнал Фиби́ха.

– Дорогой, сколько лет!

Он бросился ко мне, крепко обнял. Еще две минуты, и мы уже сидели за обеденным столом. Ни Даниил Владимирович, ни его супруга не пили спиртного, но ради гостя он несколько глотков выпил. Здесь я узнал все подробности его незаконного ареста, переживаний и реабилитации. Несмотря на пережитое, Даниил Владимирович настроен бодро, работает плодотворно, получает пенсию. Он мне подарил выпущенную недавно Госполитиздатом свою документальную повесть о защитниках Москвы в первый год Великой Отечественной войны. Я был очень рад, что мой фронтовой товарищ продолжает, несмотря на свой преклонный возраст, нести боевую вахту на благородном поприще коммунистического воспитания советских людей.

– Мой дом, – сказал, прощаясь, Даниил Владимирович, – твой дом. Приедешь в Москву, милости просим.

Бывая в Москве, я часто встречал Бориса Кремнева, Александра Пархоменко. Живут в Москве и работают Сергей Елизаренко, Юрий Левитанский и другие товарищи, с которыми я прошагал многие тысячи километров по дорогам войны. Ничего не мог я только узнать о судьбе первого своего редактора Карлова.

ОГЛАВЛЕНИЕ

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ

Роман

Глава первая. Свадебный вечер.....	6
Глава вторая. У стен Нарын-Калы.....	48
Глава третья. Солдат партии.....	139

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Рассказы

В родном ауле.....	198
Вы нам не нужны.....	205
Песни горянки.....	211
Молодожены.....	218
Мать.....	225
Шекер.....	232
Встреча.....	240
Маржанат.....	246
Заира.....	252
Накануне весны.....	259
Жалоба не состоялась.....	265
Умаханум.....	270
Хадижат.....	276
Знамя.....	282
Инструктор райкома.....	287
Калым.....	293
Ценный подарок.....	300
Старый друг.....	307
Доброе сердце.....	314
Гюльбоор.....	320
Женщина из аула Кули.....	325
Русская сестра.....	330
Наша Ханум.....	336

ФРОНТОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Очерки

Фронтовые встречи.....	344
------------------------	-----

Миши Бахшиев

Михаил Юсупович Бахшиев

У СТЕН НАРЫН-КАЛЫ

Редактор и корректор *Ф. Бахшиев*

Художник *Р. Джамамедов*

Художественный редактор *М. Левченко*

Технический редактор *В. Гаджиева*

Лицензия ИД 05334 от 10.07.01.

Сдано в набор 10.11.09. Подписано в печать 22.12.09.

Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Academia».

Печать офсетная. Усл. п.л.24,0. Уч.-изд.л.22,0. Тираж 500 экз.

Заказ №19. Цена свободная.

ГУ «Дагестанское книжное издательство» Министерства по
национальной политике, информации и внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Пушкина, 6

Типография Дагестанского научного центра
Российской академии наук 367015 Махачкала,
5-й жилгородок, корпус 10

